

ФЕДОР ГОРЬ-КУБАНСКИЙ

Сказание об
**ОРЛАХ ЗЕМЛИ
РОДНОЙ**

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В 7-ми ЧАСТЯХ



ИЗДАНИЕ АВТОРА

1977

Fedor Gord-Kubansky

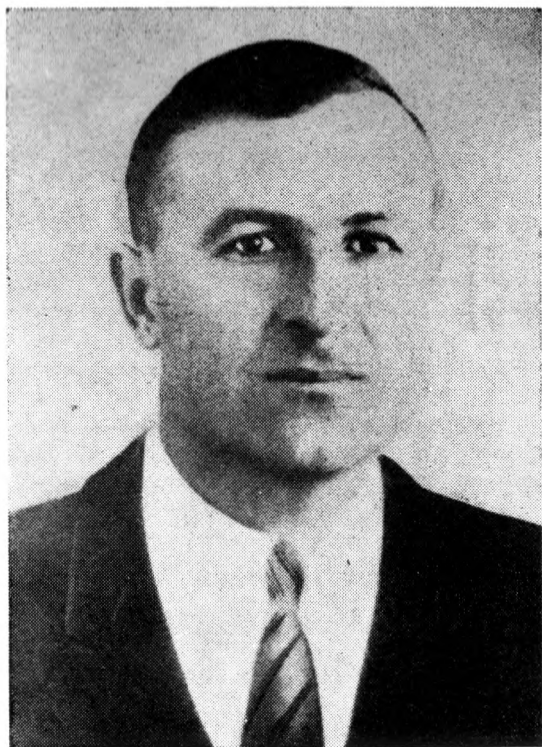
**A STORY OF EAGLES OF
THE NATIVE LAND NOVEL**

NOVEL

Imprenta "Dorrego", Dorrego 1102, Buenos Aires

T. E. 54 - 4644

ФЕДОР ГОРЬ-КУБАНСКИЙ



**Сказание об
ОРЛАХ ЗЕМЛИ
РОДНОЙ**

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В 7-ми ЧАСТЯХ

ИЗДАНИЕ АВТОРА

1977

JACKSON, New Jersey, U.S.A.

**Все права сохранены за автором
Reservados todos los derechos por autor.**

Copyright 1977 by the author

" S E M B R A D O R "
BUENOS AIRES, ARGENTINA
1 9 7 7

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

С главными «героями» трилогии я расстался в романе «СТЕПИ ПРИВОЛЬНЫЕ — КРОВЬЮ ЗАЛИТЫЕ». Хотел было больше с ними не встречаться, но не вышло: прошло несколько лет и они (герои) «сами» про себя напомнили. И напомнили самым неестественным образом.

Однажды, поздно ночью, лежал я на кровати в спальне моей квартиры и читал какую-то старинную книгу. Когда сон стал меня одолевать, я выключил свет и сразу же собрался уйти в царство Морфея, но глянув в открытое окно, задержал свой взгляд на показавшуюся из-за тучи Луну, которая то скрывалась за облаками, то опять появлялась на чистом небосводе и, как бы украдкой, заглядывала ко мне. В моей голове вмиг всплыло то, что в годы нашей юности бывало с многими из нас, когда при немом свидетельстве одной лишь Луны, парубки и дивчата в час ночной уединялись в июньской степи привольной и под трель соловьиную и «пидпидьомканье» перепелов, любовно шептались до «зари».

Мне стало грустно от воспоминания тех невозвратных лет, я сердито отвернулся от окна и закрыл глаза...

— Дорогой станичник, Федор Иванович! Как же ты посмел забыть про меня так скоро? — вдруг раздался в комнате, как будто бы знакомый голос.

Я вздрогнул. Гляжу, а за кроватью стоит... Петр Тарасович Княшко и в упор на меня смотрит...

— Ты еще с детства знал меня и многие годы не забывал, — продолжал он. — В нашей станице вместе с тобой мы гуляли с парубками и дивчатами, со мной ты много ходил среди безбрежного моря полей пшеницы и ячменя по привольной степи Кубанской, вместе слушали «концерты» жаворонка в небе голубом и перекличку перепелов на полях и лугах; ты не забывал меня и на фронте Турецком и на войне Гражданской, а теперь, что ж, совсем забыл и больше вспомнить не хочешь? Нехорошо так, станичник, нехорошо! Еще рановато тебе расставаться со мной навсегда...

— Эх, дядя Федя, ты и про меня не хочешь больше вспоминать, — послышался нежный и как-будто тоже знакомый женский голос.

Широко раскрыв глаза, я заметил, что рядом с Петром стоит и его Даша, глядит на меня и с укором говорит:

— Ты знал меня с малых лет, в своих песнях воспел мою чистую девичью любовь к Петрусью, и на свадьбе нашей был, и после свадьбы навещал, а теперь так безжалостно вдруг забыл. Как же так можно? Ты должен нас навестить еще раз, хоть на короткое время! И я, и Петрусь, и все кто с нами находятся, будем очень рады. Пройдись с нами вместе еще раз по житейской тропе. И с нами, и с детьми нашими...

— А меня в чужую страну отправил и успокоился? Не слишком ли скоро вдумал забыть меня, станичник? — послышался с другой стороны комнаты голос Никифора Кияшко. — Нашего брата за границей очутилось тысячи, десятки тысяч, но ты про всех нас забыл и еще не спел ни одной песни. И про бедную мою Наталочку забыл, и наших детей не хочешь знать. Грешно так делать, станичник, вспомни еще раз про всех! Спой еще хоть одну песню и про нас, скитальцах на чужбине сущих. .

И вдруг представилось еще более невероятное: где-то в конце моей комнаты послышалось приглушенное тихое ржание. Я присмотрелся и заметил, что в углу комнаты, в полутьме, как бы в тумане стоит Гнедой. Широко раздувая ноздри он топал копытом, и хотя не говорил ничего, но по большим выпуклым глазам, я понял и его укор:

«И про меня ты еще не все рассказал...»

Вдруг, в полуоткрытые двери комнаты, не вбежала, а просто, как птица, впрхнула Гашка мило глянула на меня и залепетала на «вы»:

— Здравствуйте, дядя Федя! Вы много пели чудесных песен о Гашке Кияшко, пели о гордой и вольной казачке земли Кубанской. Помните меня, или, может, тоже забыли? Мои девичьи будни вы часто сопровождали интимными недоразумениями, тормозили мое сердце, но чаще облагораживали, а в конце концов соединили меня с тем, о ком я много лет мечтала. Спасибо вам! Но совсем выкинуть меня из головы и забыть, этого вам и история не простит. Вспомните меня еще раз! И мы, и дети наши ждут от вас новых песен...

— Да как же возможно нас забыть? — сказал Николай Шевченко, оказавшийся рядом с Гашкой. — Помните, станичник, как в ночь под Ивана Купалы меня и Петра вы водили грешить в коноплю Кислого, потом отправили меня в Закавказье, позже до Колчака, забросили даже на дальний север до самоедов, потом благополучно вернули в край родной, а теперь что ж, совсем не хотите про меня вспомнить? Про нас вы пели и грустные и веселые песни, а вот про детей наших ничегошенько еще не спели. Спойте

еще хоть одну песню, пусть грустную, но спойте! И о нас и о детях наших...

— И меня посмел забыть? — где-то в сторонке протянула Присья. — Давно ли мы вместе были в станице нашей, а теперь возгордился и не хочешь вспомнить? И дал имя мне самое простое, свел меня с городовиком, потом опять свел с Довбней, прислал до чужих детей, а теперь, значит, не нужна стала? Вспомни про меня еще раз, хоть одним словом...

— Гы-гы-гы! Ха-ха-ха! — загоготала вдруг рядом со мной Оксана Кислого, вышедшая замуж за Токарева, а позже за канеловца Мищенко. — Ты всегда выставлял меня только для забавы другим, особенно Петрусю Кияшко, назвал «Дурносмихом». Шо ж теперь то забыл про Дурносмиха? Я попрежнему хочу еще жартовать, громко смеяться, хочу ласкать и мужа и... Петра. Ха-ха-ха! Я не такая монашка, как ты рисовал других дивчат. Спой еще одну песенку про Оксану Дурносмиха! Гы-гы-гы! Ха-ха-ха!

И она исчезла в ночном полумраке полуоткрытой двери, но эхо от ее громкого хохота еще несколько раз повторилось в проходе второго этажа, где находилась моя спальня.

С минуту было тихо и опять...

— Шо ж вы, добрый певец степен наших, про самого простого казака-хлебороба так сказать, забыли совсем? — начал и свои упреки, откуда-то появившийся, Софрон Капитонович Падалка. — Вы, станичник, раньше всегда наделяли и меня «двойняшками»: и телятами, и ягнятами, и детьми, писали шо у меня все должно всегда «двоняться», малевали меня, вроде недотепой, а я кое-что разумею добре, хоть и по-своему. Вот вы отрелись от людей наших, по всему свету раскиданных и больше про них не хотите вспоминать, а это большой грех. Я хотя и малограмотный, но читал и Евангелие отцовское и там находил такие слова:

«Кто говорит, что Бога любит, а брата своего ненавидит — ложь есть! И это сущая правда. Чтобы угодно было и Богу и людям, надо честно и всю жизнь любить своего брата, то-есть свой народ. Если же человек только молится, хотя бы и очень усердно, а брата своего, ближнего своего, людей своих забывает и ничем им не творит доброго, то такое моление никому не нужно. Вот такое мое, малограмотного недотепы, разумение. И я очень гневаюсь на вас, шо вы забыли своих братьев и сестер, забыли всех людей своего родного Края. Грешно забывать! Хоть один раз еще вспомните про бедного Софрона Капитоныча, про его Варьку и про нас всех! Заспывайте еще раз про орлов Земли родной, бо песня ваша еще не допета...

И Падалка схватил за руку свою жену Варю, тоже стоявшую рядом с ним, потянул ее назад в двери, не дав ей сказать ни слова

Гляжу, а сверху противоположной стены, почти у самого потолка, как бы в туманной мгле «плывут» знакомые и незнакомые лица: Тарас Охримович, Ольга Ивановна, Трофим Костенко со своей Василисой Григорьевной, стареющий вдовец Василий Шевченко. Следом за ними, в таком же тумане, показались: Гриша Кияшко, Коля — сын Катерины, Миша — сын Петра и Даши и их дочь Клава, маленькая Катя — дочь Гашки и Николая Шевченко и много других, и детей и взрослых. И все в один голос монотонно повторяли:

— Бросил нас на распутье и забыл? Мы хотим идти по тропе нашей жизни и дальше под звуки твоих песен. Ты еще должен петь о нас, и о старых и молодых! Ведь твоя песня еще не допета...

Мне, наконец, такие упреки надоели, я изо-всей силы крикнул и... проснулся.

— Фу, ты, навождение, прости Господи, — проговорил я вслух, включил свет и глянул вниз. На полу лежала книга А. Толстого — «Князь Серебряный» — которую я читал и задремав, выпустил из рук. Она была открыта на той странице, где описано, как мертвецы приходили ночью к Ивану Грозному и осуждающе и с укоризной приветствовали его.

«Ага, вот почему привиделось мне такое навождение, — подумал я, поднимая книгу. — Правда к Грозному приходили покойники, которых он казнил и осуждали его за их невинную казнь. Ко мне же пожаловали «герои» моей трилогии, которых я всех оставил живыми, приходили их дети и внуки, которых я даже не знал, но все они осуждали меня за полное молчание о их дальнейшей судьбе.

Днем я почти забыл о странном сновидении, но на следующую ночь опять повторилось появление моих «героев», и в еще большем числе разных лиц, хотя в этот раз, перед сном, я и в руки не брал «Князя Серебряного», а на Луну и вовсе не глядел. На третью ночь, тот же кошмар. И все повторяли одно и то же:

— Еще спой о нас, до конца исполни свою недопетую песнь, иначе покоя тебе не дадим!.

Что делать? Не внять этой просьбе и своим отказом обидеть близких мне по духу людей, — не в моей натуре. И после этих дней я начал петь длинную, еще не допетую песнь свою про орлов Земли родной, особенно про орлов Кубанских, и о всех других людях нашей Родины, «во Отечестве и Рассеянии сухих».

Песнь моя будет новая и, возможно, «кое-кому» не очень понравится, но, говорят, из песни слов не выкинешь... Я буду петь на прежний лад, чтобы правдиво закончить песнь свою, не озираясь: ни вправо, ни влево...

ФЕДОР ГОРЬ-КУБАНСКИЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I.

«Ты, Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш Богатырь,
Многоводная, раздольная
Разлилась ты вдоль и вширь...

О тебе здесь вспоминаючи,
Дружно песню мы споем,
Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом...

И тебе, как дань покорную
От прославленных знамен,
Шлем тебе, Кубань родимая
До сырой земли поклон...»

(Из Кубанской войсковой песни)

На палубе парохода, только что покинувшего Новороссийск, стоял Никифор Кияшко и грустно глядел на отдалявшийся берег. Сквозь туманную дымку он не мог видеть, как его верный четвероногий друг Гнедой, одиноко оставшись на берегу, глядел на синие волны моря и... плакал.

Да! Именно, плакал! Некоторые думают, что плакать могут только люди. О, нет! Плакать могут и животные, особенно строевые казачьи кони над павшим в бою седоком своим, или когда его хозяин-казак неожиданно покидал коня. Разумеется, что "плач" животных нельзя понимать в прямом смысле слова, но все же это был плач.

Но Гнедой плакал почти по-человечески. Из больших состарившихся глаз его, на землю падали крупные слезы, голова часто приподнималась, из почти беззубого рта изредка слышалось слабое жалобное ржание и тогда он еще пристальней глядел на морские волны и на уже далеко отплывший от берега пароход с его хозяином.

Даже тогда, когда парохода уже совсем не стало

видно, Гнедой еще долго стоял на берегу не двигаясь, понуро опустив голову, словно о чем-то глубоко задумавшись.

О чем тогда думал Гнедой? Этого, пожалуй, никто никогда не узнает, но судя по его скорбному виду он, наверное, так думал о сотнике Кияшко:

"О, мой дорогой и любимый орел земли Кубанской! Много лет послушно носил я тебя на спине своей, ни разу не подвел тебя, не изменил тебе. Зачем же теперь ты оставил меня? Чем я обидел тебя? Скакал я с тобой по горам Турецким и Персидским в те годы, когда вместе с другими нашими воинами, ты сражался за Отечество, за Родину свою, за край родной. Потом носил я тебя под Манычем, по Кубанским и Донским степям, под Царицыным; в тех боях вместе с тобой проливал я и свою лошадиную кровь. Не моим умом можно понять, почему тогда на земле родной бушевала братоубийственная война, не мое это дело: я был верным и всегда послушным твоим другом. Почему же теперь ты оставил меня одного, вдали от родной станицы? Зачем изменил мне, бросил меня на берегу, на произвол судьбы, и уплываешь сам не зная куда? .

Не видел Гнедой, что и у его хозяина, Никифора Тарасовича, на пароходе все дальше и дальше отдалявшегося от берега, тоже катились по щекам крупные слезы, а в голове сверлили мысли, вероятно сходные с мыслями его четвероногого друга.

Но вот Гнедой поднял голову, оглянулся и насторожился. Два каких-то человека в полувойенной форме подходили к нему.

— Конь этот еще добрый, господин есаул, — сказал один из них. — Надо обязательно взять его себе, а то в нашей формирующейся армии генерала Фостикова почти совсем нет коней.

— Что ж, если можешь, бери, хорунжий Рябокоть, — сказал есаул. — Мы все, кто в Туапсе не сдался большевикам, остались, как бродяги в горах. И корабля для эвакуации нам не досталось, и без коней все остались, а казак без коня, что поп без креста.

— Возле Туапсе я, господин есаул, совсем не был, а со своей частью бежал к Новороссийску следом за Деникиным, но все равно нам не повезло: не смогли многие поспеть на пароход, — сказал Рябокоть и медленно стал подходить к Гнедому.

Повернув голову к подходившему и угадав его намерение, Гнедой вдруг резко сорвался с места и наметом помчался прочь, оставив не солоно хлебавши обоих фостиковцев . . .

Вскоре остались позади городские строения, показались небольшие горы, с редкими деревьями по склонам, а Гнедой все бежал и бежал без оглядки. Перескочил через полотно железной дороги продолжая бежать напрямик. Остановился только тогда, когда наткнулся на труп строевого коня, лежавшего с простреленной головой. Рядом с конем лежал казак в форме и тут же на земле валялся револьвер.

Не трудно было догадаться, почему конь и казак распрощались здесь с жизнью: не попав на транспорт эвакуировавшихся из Новороссийска, казак отъехал от города в глухое предгорье, и, не желая бросать коня на произвол судьбы, застрелил и коня, и себя. Таких картин полных драматизма наблюдалось тогда много у побережья Черного моря: и у Новороссийска, и у Туапсе, и в других местах. Со своим боевым конем казакам расставаться было тяжелее, чем со своей женой, чем с собственной жизнью. Обреченность, одиночество в горах вблизи врага, ежеминутный страх грядущего часа правды, не вопреки здравому рассудку, казак в критический момент решил так: "Вместе воевали, вместе закончим и свой путь земной, но на родной Кубанской земле!"

И такие отчаявшиеся казаки пристреливали и коней своих, и себя.

Гнедой подошел ближе к трупам коня и казака, понюхал обоих, обошел кругом них, потом повернулся от них в сторону и подойдя к необитаемому шалашу с низкой соломенной крышей, стал зубами выдергивать солону и жадно есть. Он был голоден: почти сутки ничего не ел, да и путь от порта пробежал немалый и теперь чувствовал потребность в любой пище, хотя бы даже и соломенной.

Спокойно жевал он эту, пожелтевшую на шалаше, солону около часа и никто ему не мешал. Немного утолив свой голод, Гнедой отошел от шалаша немного в сторону, наткнулся на ручеек, струившийся с горного склона, жадно напился чистой воды и, причмокнув от удовольствия, задумался. Через несколько минут он поднял голову в сторону моря и еще раз жалобно заржал. Потом повернулся и, по инстинкту, пошел на северо-во-

сток, направившись, вероятно, к своей родной станице, до которой было около трехсот километров.

Шел Гнедой в родную сторону не оглядываясь. О, если бы он мог рассказать, как напрямик — через леса, поля и реки — пробирался он к тому двору, где родился и вырос! Не мог он рассказать про свой тяжелый путь от Новороссийска до реки Сосыка, что впадает в Ею, на границе с Донской областью. Если бы он рассказал, как возле станицы Крымской его пытались поймать и "бело-зеленые", и "красно-зеленые", и "фостиковцы" и еще какие-то вооруженные люди, стреляли по нем, ранили в ногу, но не поймали; как возле Славянской он чуть не утонул в Протоке; как позже он угодил в болотистые плавни, возле Копанской, и еле оттуда выбрался; как на полях, лугах и узких степных дорогах зачастую подростки травили его собаками, а иногда подбегали и били его батогами и палками... И много тяжелых, даже для животного, страданий перенес Гнедой, но не отклонился от раз избранного пути, а шел и шел, еле передвигая израненные и облепленные репьями и колючками ноги. Не мог он рассказать все это языком, а если бы рассказал, то любое, самое жестокое и черствое сердце людское, содрогнулось бы от жалости к бедному животному.

И вот, осенью 1920 года Гнедой добрался в родную станицу, подошел к воротам родного двора Тараса Кияшко и слабо заржал.

Стоявший во дворе Петр сразу узнал его. На его крик вся семья Тараса Охримовича подбежала к воротам, впустила коня во двор и стала обнимать за шею, как самого дорогого гостя. Потом накормили его, почистили, обмыли и на второй день взяли с собой в степь, на свой земельный надел, чтобы он заслуженно отдохнул и оправился от истощения. Но, увы, старания Кияшко оказались напрасными: через день, глубоко вдохнув усталой грудью родной воздух, Гнедой испустил свой последний вздох.

Труп Гнедого закопали возле "коша" на своей земле, со слезами и причитаниями всей семьи Кияшко...*)

*) См. 3-ю книгу трилогии — «СТЕПИ ПРИВОЛЬНЫЕ КРОВЬЮ ЗАЛИТЫЕ», часть 6-я.

ГЛАВА 2.

Вскоре после прибытия из Новороссийска в Крым, Никифор Кияшко был назначен командиром сотни Запорожского полка, которым тогда командовал полковник Золотаревский. Полк этот в Крыму был сформирован из остатков 1-го и 2-го Запорожских полков и других небольших групп кубанцев, сумевших эвакуироваться с побережья Черного моря у Новороссийска и Туапсе. Вскоре Командиром Запорожского полка стал полковник Рудько.

Вахмистру Евдокиму Усу, станичнику Никифора, удалось добыть в Крыму два хороших строевых коня и одного он передал своему командиру сотни. Никифор был рад, что конь был гнедой масти, но все же Таврическому скакуну далеко было до его доморощенного Гнедога, оставленного на берегу возле Новороссийска.

В марте 1920 года, командующим остатками Белой армии, сгруппировавшейся в Крыму, стал генерал барон Врангель...

Евдоким Ус, встретившись однажды наедине с Никифором, сказал:

— Как-то не совсем логично получилось, господин сотник; нашим главнокомандующим стал бывший каратель на Кубани!

— О каком карателе ты говоришь, станичник? — спросил Никифор.

— Еще спрашиваешь, "о каком!" Разве забыл, как в восемнадцатом и девятнадцатом годах барон Врангель расстреливал на Кубани не только тысячи пленных красноармейцев, но и мирных жителей, если они хоть косвенно общались с большевиками или пленными? Однажды он приказал расстрелять даже возниц, которые везли пленных на своих подводах! *)

— Что ж, под горячую руку всякое бывало: наших тоже не щадили красные. Но на Кубани Врангель был только начальником дивизии, позже стал командующим Кавказской армии, а теперь он главнокомандующий Русской армии, а не Добровольческой, как было у Деникина. Будем надеяться, что теперь тех жестокостей, что были на Кубани, не будет.

*) См. брошюру полк. Ф. И. Елисеева — «В ХРАМ ВОЙСКО-ВОИ СЛАВЫ».

— От перестановки слагаемых, сумма не изменяется, — заметил Ус. — Армия названа Русской, а командует ею швед-барон и ему нашей крови ничуть не жалко. В Кубанской казачьей форме ходил, когда был командующим Кавказской, вернее Кубанской армией, а вместе с нижегородским мужиком Покровским вешал в Екатеринодаре членов Кубанской Рады, одетых в черески. И теперь он опять нами командует.

— Что ж мы можем поделатъ, дорогой станичник? Впрочем, ты думаешь что только один Врангель такой, а другие генералы святые?

— Не святые, конечно, но все же свои и со своими воинами обращались по-человечески. Например: бывший войсковой атаман Филимонов, Букретов, Науменко, Шкур, Бабиев, Павличенко...

— Я не про этих, — перебил его Никифор, — хотя у некоторых, перечисленных тобою генералов, человечность тоже не всегда проявлялась. Забыл разве про здешнего генерала Слащева? По своей жестокости он ничуть не отстает от действий Петра Врангеля, обрусевшего внука шведского барона.

— О, да! — согласился Ус. — Всем известно: где появляется Слащев, там виселицы не бездействуют. Никаких следствий или полевых судов этот вешатель не признает. Если его штабисты докладывают ему о ком либо подозрительном и рекомендуют провести следствие, то он и слушать не желает.

— Какое следствие? Какой суд? Повесить! — других ответов у Слащева нет. *)

— Вот такая необдуманная расправа с пленными и всеми подозрительными и погубила все Белое дело. Подумать только: дошли до Орла, а через несколько месяцев очутились в Новороссийске, а из Новороссийска бежали сюда вот.

— А куда же мы будем бежать из Крыма? — усмехнулся Евдоким Ус.

— Не знаю. Впрочем, отсюда бежать мы, как будто, не собираемся. Ведем ведь успешное наступление на север, бо почти все силы красных завязли в войне с Польшей.

— И война с Польшей не помешает успеху красных,

*) Г. Раковский — В СТАНЕ БЕЛЫХ. (Бывший журналист Белой армии)

если и при Врангеле в нашей армии будет твориться то, что творилось при Деникине: расправы с пленными, порка крестьян и пьяные оргии в штабах.

— Хотя мне и не следовало бы об этом говорить, но я согласен с тобой, — сказал Никифор. — Когда наши войска покатались от Орла на юг и были уже где-то возле Касторной, то командующий дивизией генерал Губин чуть не разжаловал полковника Елисеева (командира 2-го Хоперского полка) за то, что тот, захватив в плен батальон красных, никого из пленных не расстрелял.

"Вы должны были их всех расстрелять!" — брызжа слюной, шипел Губин и почти выгнал из своей квартиры полковника Елисеева. *) Если такие кровавые действия творили деникинские генералы, намереваясь освободить Россию от большевиков, то ничего нет удивительного в том, что мы теперь очутились на этом единственном, еще не занятом красными, клочке Русской земли. Трагедия белой борьбы в том, что некоторые бывшие деникинские, а теперь врангелевские генералы до сих пор не хотят понять главную причину своего поражения в Центрально-черноземной части России. И Слащев, и сам главком Врангель и некоторые другие генералы и в Таврии идут тем же скользким путем, которым шли при главкоме Деникине в девятнадцатом году от Ростова до Орла: виселицы, расстрелы, возвращение помещиков в свои имения, порка крестьян, расправы с инакомыслящими, грабежи, разврат и пьяные оргии штабных чиновников в тылу и на фронте, и т. д. И, мне кажется, что из нашей Крымской затеи под командой Врангеля, тоже ничего не получится. Только лишние жертвы наших воинов и страдания невинных мирных жителей...

Евдоким Ус сочувственно глянул на Никифора и ничего не ответив на такую откровенность своего командира, опустив голову, молча направился в свою сотню...

ГЛАВА 3.

В январе 1920 года в Крыму вспыхнуло офицерское выступление против тылового разврата в армии Врангеля, так называемое "Орловское Движение". (По имени возглавителя этого Движения).

*) Полк. Ф. И. Елисеев. «С ХОПЕРЦАМИ ОТ ВОРОНЕЖА И ДО КУБАНИ». Брошюра № 3.

Капитан Николай Орлов постоянно жил в Симферополе, по улице Толстого № 19, и был известным в городе спортсменом. Выше среднего роста, крепкого телосложения, он отличался большой физической силой. Возможно поэтому его и выбрали начальником отряда и всего Движения. Большинство его единомышленников были тоже жителями Симферополя и его окрестностей.

По свидетельству оставшихся в живых участников этого Движения и по рассказам жены капитана Орлова, Елены Сергеевны, вышедшей впоследствии замуж в Крыму за Юдина-Румянцева, события эти происходили примерно так:

Прибыв с фронта в Симферополь на праздник Рождества, молодые воины, многие из которых имели уже офицерские чины, были крайне возмущены непрерывным пьянством и расхлябанностью царившими в штабе генерала Шатилова. Почти все чины штаба каждый день проводили время в пьяных и развратных оргиях, ничуть не заботясь о воинах, находящихся на фронте. И не только прибывшие с фронта солдаты и офицеры, но весь город был возмущен развратом и пьянством тыловых штабных учреждений. Жители Симферополя группами приходили к молодым офицерам-фронтовикам и просили их "обуздать" забывших честь и совесть штабистов, окруживших себя спекулянтами, проститутками и другими темными личностями; чиновники штабов обижали мирное население и расхищали военное имущество...

Слыша такое от мирных жителей и лично убедившись в аморальных поступках, военная молодежь решила нарушить все военные правила, законы и дисциплину, и открыто выступить против безобразий в тылу армии.

В один из дней января, на рассвете, примерно в пять часов утра, группа молодых "орловцев" ворвалась в Петербургскую гостиницу, арестовала находившийся там почти весь штаб Шатилова, погрузила всех пьяных штабистов, вместе с проститутками, на повозки извозчиков и отвезла на гауптвахту, поставив там свой караул. Затем поручила своему начальнику капитану Орлову, сообщить об этом событии в Джанкой, генералу Слащеву.

Орлов послал в Джанкой телеграмму и вскоре получил ответ:

"Поймаю — повешу... Слащев".

Получив такой ответ, все "орловцы", около тысячи

человек, пошли на Марковскую улицу и открыли цейхгауз, где хранились тысячи новых белых овчинных полушубков, в то время, как на фронте многие мерзли в старых шинелях. Там же в цейхгаузе они все оделись в одинаковую форму, забрали все пулеметы и другое оружие, какое только нашлось в городе, и на следующий день в восемь часов утра военным строем пошли по улице Пушкинской. Потом по улице Воронцовой они вышли из города и двинулись в направлении перевала на Алушту и Ялту и остановились в лесистых горах. Там достать их было трудно. Родственники орловцев и симпатизировавшие им жители Крыма постоянно поддерживали их продуктами питания и одеждой . . .

Через короткое время генерал Врангель, якобы, обещал им прощение, если они выступят на Перекоп, займут часть линии фронта и в боях искупят свою вину. Хотя и с недоверием, но орловцы все же послушались Врангеля, спустились с гор и направились было на фронт. Одновременно Орлов послал в штаб Слащева своего адъютанта, капитана Дубинина, с донесением о движении отряда.

Генерал Слащев не только не принял Дубинина, но приказал повесить его на вокзале в Джанкое и неделю не снимать. Узнав об этом, отряд Орлова сразу же повернул обратно в горы и до Перекопа даже не дошел. За отрядом послали вдогонку части Дикой дивизии, но безуспешно . . .

После занятия Крыма Красной армией, связи родственников с орловцами прекратились и последние, не имея ни продовольствия ни обмундирования, очутились в очень тяжелом положении. Пришел январь 1921 года и в горах наступили сильные холода. Вскоре к ним явились советские представители, предложили всем выйти из леса, спуститься с гор и безбоязненно явиться в город, обещая свободу и неприкосновенность. Хотя капитан Николай Орлов и его брат Борис отнеслись к этому обещанию недоверчиво и уговаривали других с возвращением немного повременить, но не могли никого больше удержать и приняли предложение советских уполномоченных.

Все орловцы со своим командиром вышли из леса, спустились с гор, и в Симферополе, по-военному построились на Дворянской улице, против женской гимназии, где помещался Особый отдел Красной армии.

В штаб Особого отдела вызвали только Николая Орлова и его брата Бориса, но назад они не вернулись. Все ж остальным "орловцам" предложили разойтись по своим домам и никого из них тогда не тронули...

Так закончилось бесполезное "Белое Орловское движение" в Крыму в 1920 году, против белых штабистов Врангеля...

Еще немного о генерале Слащеве и ему подобных, которые вынудили молодых воинов нарушить воинский устав.

После эвакуации Врангелевской армии из Крыма в Константинополь, генерал Слащев из Турции добровольно вернулся в Советскую Россию, чтобы по его словам, "отдать свой опыт и военные знания новой Русской армии и еще послужить Родине..." Его приняли и он вскоре стал преподавателем военного дела в Москве, обучая молодых командиров Красной армии, но... недолго. Через короткое время, на улице в Москве, среди белого дня, его застрелил один рабочий, отомстив за своего отца повешенного Слащевым на севере Таврии...

Хотя за границей изредка и появлялись "слащавые" статьи о Слащеве, на самом деле о смерти его никто не пожалел: ни на Родине, ни в белых эмигрантских кругах, а в ненаписанную историю он вошел, как "Генерал-вешатель".

Это одна из мрачных страниц Крымской эпопеи Врангеля, о которой намекали в предыдущей главе Кияшко и Ус, но о чем официальная печать и Запада и Востока почему-то умалчивает...

ГЛАВА 4.

В августе 1920 года из Крыма на Кубань готовился десант под командой генерала Улагая. Для десанта было назначено три дивизии: генерала Бабиева, Казанова и Шифнер-Маркевича, плюс особая бригада генерала Науменко и несколько отдельных воинских подразделений и вспомогательных частей.

Никифор с большим подъемом отозвался о десанте на Кубань и его сотня была включена в бригаду Науменко.

В назначенный день его сотня подошла к берегу и остановилась недалеко от той баржи, на которую дол-

жна была грузиться. В ожидании погрузки, казаки стояли "вольно", переговаривались, не отдаляясь особенно, переходили с места на место. К Никифору "вольно" подошел Евдоким Ус и вроде, как бы довольным тоном, сказал:

— Что ж это, господин сотник, похоже, что мы направляемся домой?

— На Кубань, значит домой, а другое место нам и не нужно, — сказал Никифор. — Скоро опять увидим родные станицы, но перед этим нам, наверное придется и пострелять.

— И эти тоже направляются стрелять? — и Ус жестом показал на группу нарядно одетых женщин, прибывших к другой, недалеко стоящей барже. Возле них находились горы чемоданов, шкафов, зеркал и даже клеток с живыми канарейками. На их баржу уже начали грузиться атаманы станиц Таманского и Екатеринодарского отделов, их помощники, писари, купцы, попы с попадьями, недавно бежавшие с Кубани от красных. Одновременно на эту баржу грузили канцелярские принадлежности и церковную утварь, но военного снаряжения там не было видно. И, казалось, что это готовилась не боевая десантная операция, а люди просто собирались поехать на ярмарку или в гости к родственникам.

— Боюсь, что из нашего десанта ничего не выйдет, — глянув в сторону грузившейся штатской публики, тихонько сказал Никифор. — Похоже, что мы не воинский десант, а группа обыкновенных переселенцев. Эти мирные обыватели думают, что на Кубанском берегу никаких препятствий не будет; все пойдет, как по-маслу. Как бы наши атаманы со своими писарями и купцы с канарейками не оказались на дне Керченского пролива или в недалекой Протоке...

— Даже вы так думаете, господин сотник? — удивился Ус. — Но ведь штабисты главкома Врангеля и кавказец Улагай думают пройти триумфальным маршем по всей Кубани, веря донесениям, что все их там ждут и все для них приготовлено!

— Каким донесениям? Что приготовлено?

— Точно не знаю: возможно это пропагандная утка из штаба генерала Улагая, а может рыбацьи разведчики донесли, но среди нас ширится упорный слух, что "там" нас ждут. Между Славянской и Гривенской где-то скрыто действует против красных большой отряд есау-

ла Скакуна, который недавно через лазутчика доносил, что все население Кубани с нетерпением ждет возвращения "наших" и всех белых воинов будет встречать "хлеб-солью" и колокольным звоном. В пределах Черноморья до самой Крымской орудует "Передвижная армия" генерала Фостикова, или как ее именуют теперь "Армия Возрождения". Она заняла, якобы, все лесные склоны и дороги на левобережье Кубани, от Крымской и до Майкопа. Слышно, что у Фостикова собралось уже до семи тысяч казаков и офицеров и, не только тех, которые не сдались красным возле Туапсе, вместе со всей Кубанской армией, но и беспрерывно прибывают к нему и добровольцы со всех станиц.

— И ты, станичник, веришь всем этим слухам?

Ус пожал плечами и ничего не ответил.

— Я давно знаю про все то, что ты сейчас торочишь мне, — продолжал Никифор, — но, откровенно говоря, мало верю этим слухам. Я не надеюсь и на планируемый успех десанта Улагая и, тем не менее, с радостью буду участвовать в нашей военной операции. И... знаешь, почему?

Последнее Никифор сказал полушепотом, вплотную подошел к Усу и пристально поглядел ему в глаза.

— Говори сотник, говори откровенно! — тоже полушепотом сказал Евдоким. — Хотя я и не офицер, но свой станичник, и можешь доверять мне, как самому себе.

— Знаю тебя давно и верю тебе больше, чем кому другому, — почти шопотом сказал Никифор. — Так вот что я думаю: если нам удастся благополучно высадиться за проливом на Кубанской стороне, то какой бы не был исход нашего десанта, никуда я из своего Края больше не пойду. Допустим, что операция десанта Улагая окажется удачной и мы дойдем до Старо-Минской. Так вот: мой военный поход в моей станице и закончится. Ни шагу дальше! Если же наш десант потерпит поражение, и я случайно останусь живым — с улагаевцами тоже не пойду. Скроюсь в камышах или плавнях наших речек, потом проберусь в родную станицу и приду в свой дом. Увижу родных и близких, а затем добровольно явлюсь новому начальству в станице и что хотят, то пусть и делают со мной. Думаю, что строго меня не накажут. Недавно нам стало известно, что из пятидесяти тысяч казаков и офицеров, сдавшихся красным возле

Туапсе и Сочи, задержали только часть старших офицеров и куда-то их отправили, а остальных всех распустили по домам в свои станицы и они живут теперь со своими семьями.

— Ну, спасибо, Никифор Тарасович! — просиявший улыбкой, сказал Ус. — Ты сказал сейчас то, о чем я часто до этого думал сам, но, откровенно говоря, боялся тебе и заикнуться; ведь я только вахмистр, а ты сотник. Решено: идем на Кубань и оттуда больше никуда...

На стоявшую рядом третью баржу шла погрузка каких-то больших ящиков. Близко от них два грузчика несли еще один такой ящик. Вдруг один из грузчиков споткнулся, ящик выскользнул из рук и упал на мостовую. Одновременно с ударом о камни, раздался оглушительный взрыв и вся набережная окуталась едким дымом. Ящик-то был с артиллерийскими снарядами. Оба грузчика были убиты и тела их изуродованы до неузнаваемости. Погибла и одна женщина, в момент взрыва находившаяся поблизости и ранено десятка два военных и невоенных людей.

Пострадали и оба староминчанина. Евдоким Ус был тяжело ранен в плечо, в нижнюю часть позвоночника и в ногу, и его, в бессознательном состоянии, отправили в военный лазарет. Никифору один осколок снаряда угодил в плечо, а другой — в ягодицу. Хотя обе его раны были сравнительно легкими и опасности для жизни не представляли, из строя он все же выбыл и тоже был помещен в лазарет.

Так и не пришлось, ни Усу, ни Никифору Кияшко участвовать в десанте Улагая на Кубанской стороне, и вожделенным мечтам их не суждено было осуществиться, хотя, быть может, это и сохранило им жизнь.

Как известно, десантная группа генерала Улагаева, высадившаяся у Очуева, на реке Протоке, и двигавшаяся к станице Гривенской, как и группа высадившаяся в станице Приморско-Ахтарской в августе 1920 года — потерпели неудачу. Вначале обе улагаевские группы имели успех и продвинулись до Тимошевской, а на северо-востоке до Брюховецкой, но вскоре были остановлены войсками красных.

Никакого отряда есаула Скакуна, о котором говорили в Крыму, улагаевцы на Кубани не нашли, а с небольшими, разрозненными, отрядами генерала Фостико-

ва объединиться не смогли. Из мирных казаков почти никто к ним не присоединился, "хлебом-солью" встречали только в двух, трех местах, а колокольный звон раздавался в тех станицах, которые временно занимали белые. Через несколько дней такой же звон был при встрече... красных.

Замаскированно прибывшие из Екатеринодара сухопутным порядком и по воде на баржах красные отряды Ковтюха и Кондры с комиссаром Фурманом, разгромили главную группу улагаевцев в станице Гривенской, после чего остатки десанта спешно эвакуировались обратно в Крым.

С улагаевцами ушли в Крым и некоторые молодые казаки, до этого мирно жившие в своих станицах, — непримиримые с советской властью. Ушли и многие дезертиры Красной армии, девятнадцатилетние призывники, не желавшие служить красным, и в ожидании "наших" скрывавшиеся до этого в камышах и плавнях Приазовских лиманов.

Неудачно и трагически закончилась десантная операция Врангеля в двадцатом году на Кубани и ее не мог провести даже храбрый генерал Улагаев...

ГЛАВА 5.

Сформированные в Крыму три армии генерала Врангеля, вначале провели успешные боевые операции на многих участках фронта. Заняв всю Таврию войска белых вскоре продвинулись на север до Днепра и Донецкого бассейна.

Способности военачальника Врангель несомненно имел, о чем свидетельствуют его успехи на Царицынском фронте в девятнадцатом году. И в Крыму организовал он ход боевых действий неплохо. Но эти первые успехи Крымской эпопеи Врангеля объяснялись еще и тем, что главные силы Красной армии в то время находились на Западе в войне с Польшей. С войсками Врангеля на юге России вели военные действия только Латышская дивизия, 4-я и 42-я Кавказские дивизии красных, и только в конце августа 13-я советская армия и начала усиленное наступление на Перекоп и Гаплинку.

Боевые операции войск Врангеля успешно поддер-

живала и авиация, под командованием Кубанского генерала В. М. Ткачева.

Хотя фронт белых держался еще крепко и о поражении Врангель и думать не хотел, красное командование отлично знало, что долго он не продержится.

Попадавшие в плен красноармейцы, уверенно повторяли слова своего командования:

— Некоторую опасность для нас представляет только Польша, — говорили они, — а после Польши, Врангеля наши раздавят, как муху...

Так почти и произошло. Как только с Польшей был заключен мир, Первая конная армия Буденного и другие красноармейские части были направлены против Русской армии Врангеля в Крым.

Свежих пополнений почти не было, а личный состав войск Врангеля таял не по дням, а по часам. Большие потери в личном составе наблюдались не только среди рядовых и младших офицеров, но и среди старшего и высшего командования белых войск.

Возле села Шолохово, 30 сентября был убит лучший врангелевский офицер, начальник 1-ой Кубанской дивизии, генерал Николай Бабиев. Назначенный на его место генерал Иван Павличенко, недолго продержался: у Перекопа он получил 24-е по счету тяжелое ранение и на английском миноносце отправлен был в Константинополь.

Ранен был и выбыл из строя командир Конного корпуса генерал Вячеслав Науменко.

Участь Врангеля окончательно была решена у Перекопа. После страшного Перекопского побоища, где обе стороны оставили на поле боя горы трупов, красные прорвали фронт и нанесли непоправимое поражение белым. Последние начали общее отступление на всех фронтах Таврии. Все тыловые учреждения белых, воинские и гражданские, а вместе с ними и аристократическая знать старого Крыма, спешно двинулись к ближайшим портам Черного моря.

К концу октября 1920 года, потерявшие боеспособность войска барона Врангеля были прижаты красными к побережью, где в портах Севастополя, Евпатории и Ялты стояли наготове сотни кораблей, заблаговременно присланных Англией и Францией, для ожидаемой эвакуации остатков армий старой России...

**
*

Понури́в головы, к порту шли и кубанцы Запорожского полка, второй раз за последний год оставив своих коней, добытых уже в Таврии и собираясь уходить в неизвестность на чужих кораблях. Пе́шим порядком вел остатки своей сотни и Никифор, где правофланговым шел недавно выписавшийся из лазарета Евдоким Ус.

Впереди них, на перекрестке узкой улицы, показались два фаэтона, в одном из которых сидел какой-то генерал с богатой разодетой дамой и денщиком, а в другом — два известных купца со своими купчихами. Сотня приостановилась, пропуская фаэтоны. Никифор оглянулся и встретился глазами с Евдокимом Усом, в упор глядевшим на него.

— Вахмистр Ус, ко мне! — приказал громко Никифор и когда тот подошел, он отвел его немного в сторону и тихо спросил:

— Станичник! Ты хочешь что-то сказать мне? По глазам вижу!

— Так точно, Никифор Тарасович, хочу вот что сказать: я не желаю грузиться на чужой пароход и плыть в неизвестность, а хочу остаться на родной земле, — полушепотом отчеканил Ус.

— Нельзя, Евдоким Тихонович, рискованно, — сказал Никифор. — Ты думаешь мне хочется покидать берега Крыма и плыть к чорту на кулички? Как бы не так! Но... ничего мы сейчас не можем поделать, надо плыть. Надо думать и то, что красные сейчас так страшно озлоблены против нас за наше сопротивление, что в первые дни в Крыму будут рубить и стрелять всех оставшихся белых и ты — не исключение. Второе еще то, что ты только вышел из лазарета, ранение твое не зажило хорошо, идешь в строю с трудом. Я все вижу. Кому ты такой будешь тут нужен? На кораблях же с нами будут и наши доктора, продолжат твое лечение, союзники дадут продовольствие, и т. д. Но, главное, вот что послушай меня: поедем за море вместе, посмотрим на другие страны, немножко обождем, а потом, если ничего непредвиденного не произойдет, верь мне, я... вместе с тобой вернусь на Родину. Понятно? Все!..

Резко повернувшись, Никифор быстро вернулся в голову своей сотни, а Ус молча тоже пошел на свое место и вся сотня продолжала идти к морю.

Понури́в голову молча ехал на коне и полковник

Рудько, а следом пешим порядком шли остатки сотен его Запорожского полка. Не слышно было среди казаков-черноморцев ни залихватских песен, ни остроумных анекдотов, с присущим им юмором. Шли молча, как на закланье.

Вдруг в ближнем переулке неожиданно показалась полурота армейских солдат, под командой молодого поручика. Они повернули в ту же сторону, что и запорожцы и во весь голос орали песню:

"...Играй же музыка, играй победу,

Мы победили и враг бежит, бежит, бежит..."

— Что вы горланите, поручик? — подъехав к полуроте, сурово спросил полковник Рудько.

Полурота приостановилась, поручик подбежал к Рудько, взял под козырек и четко спросил:

— Чего изволите, ваше высокоблагородие?

— Во-первых, поручик, в казачьих частях теперь при обращении перед офицерским чином прибавляют слово "господин" и больше ничего. Во-вторых, что это за неуместное и глупое пение?

Поручик понял замечание полковника, вероятно, в том смысле, что его солдаты тихо поют, и подбежав к полуроте, крикнул:

— Пойте живее, громче!

И его солдаты еще громче стали выкрикивать: "Мы победили, и враг бежит, бежит..."

— Прекратить! — зычно крикнул Рудько.

Поручик бегом вернулся к полковнику и вытянувшись в струнку, четко спросил:

— Чего изволите, ваше высоко... господин полковник? Разве слабо поют?

— Дурак! Сейчас же прекратить это пение! Да и до песен ли нам сейчас вообще? И уместно ли нам эту песню петь сегодня? Дурак! Иди!

Поручик хотел что-то ответить на публичное оскорбление офицера, но заметив гневный взгляд полковника, молча сконфуженно вернулся к своим солдатам, и песня о "победе", прекратилась.

— Вот же безмозглые салдафоны, — заметил Ус своему соседу в ряду. — ихний поручик тоже безмозглый служака-тупица. Да ведь такая песня сегодня — просто насмешка для нас всех врангелевцев. Где тот враг, что "бежит, бежит?" Мы бежим к морю и эта песня подходит теперь больше красным, а не нам!

— Наш батько Рудько вполне справедливо назвал этого поручика дураком, — сказал шагавший за Усом его станичник Дмитренко. — Красные победили и бежим от них мы, а не "враг бежит, бежит..."

15 (2) ноября 1920 года, отступившие к морю войска Врангеля и большое число, обосновавшейся было в Крыму российской знати, всего около ста пятидесяти тысяч человек, погрузились на 126 различного рода кораблей и покинули берега Крыма.

Вечерело. Тихо спускалась ночь на всем Черном море. Тускнели и умирали редкие огни родного берега. Никифор Кияшко и другие кубанцы Запорожского полка стояли на палубе парохода и молча глядели в ту сторону, где на родном берегу потух последний огонек.

Хотя Крымский полуостров и не был для них родной Кубанской землей, но все же это была Россия.

"Прощай Родина! Придет ли желанный час и увидим ли мы тебя когда-нибудь, ступим ли когда-либо своими ногами на поля любимого края, Края привольных степей Кубанских? Куда и зачем мы плывем? Кому мы нужны будем на чужбине?"

Так думал каждый казак, каждый воин из остатков Русской армии барона Врангеля, но все молчали, словно немые. Горло каждого стянуло спазмой, тяжелый камень в груди давил все сильнее и сильнее. А военный корабль шел и шел, и был уже далеко, далеко от родных берегов...

ГЛАВА 6.

На многочисленном морском транспорте союзников, генерал Врангель, с эвакуированным из Крыма войском и аристократией старой Руси, прибыл в Константинополь.

Некоторое время среди всего личного состава армии соблюдались воинская дисциплина и порядок. Но вскоре часть рядовых воинов и офицеров стали нарушать воинский порядок и самовольно уходить из своих подразделений. Некоторым из них в индивидуальном порядке удалось эмигрировать в разные страны еще из Константинополя: Францию, Болгарию, Чехословакию, Англию и даже в Соединенные Штаты Америки.

Немного было и таких, что уйдя из воинских частей,

осели в Константинополе или других ближайших городах Турции, эмигрировать никуда не захотели, а так там и остались на постоянное жительство.

Находились и такие, что оставаться под начальством Врангеля не хотели, жить в Турции или эмигрировать в чужие страны тоже не желали, а раздобыв примитивные лодки-суденышки, наподобие старых запорожских "байдарок", тайно покинули на них чужие берега и поплыли по Черному морю на север и северо-восток, решив вернуться к покинутым родным берегам. Удалось ли таким смельчакам перебраться на байдарках через Черное море, и что потом с ними было, никому неизвестно.

Некоторые молодые казаки и младшие офицеры, разумеется, втайне от старшего командования, продавали туркам свое огнестрельное мелкокалиберное оружие, а затем на вырученные деньги проводили ночи с "милыми" европейскими женщинами, в Европейской части Константинополя.

Но все же большинство личного состава прибывшей из Крыма армии Врангеля, по-прежнему сохранило воинскую дисциплину и полностью подчинялось приказам своего командования.

В Константинополе долго войска Врангеля не оставались. На тех же кораблях союзников из Босфорского пролива они направились дальше на юго-запад. Небольшое число казаков, а в основном армейские, не-казачьи воинские подразделения были высажены и размещены в Галлиполи. Основная же сила кубанцев, более восемнадцати тысяч казаков, а с ними и небольшое число донцов, прибыв в Эгейское море, вынуждены были высадиться на диком и безлюдном острове Лемнос. Им дали примитивные палатки, так как там не было никакого жилья.

Несмотря на ничтожное и непостоянное продовольственное снабжение и дикий пустынный остров, командование и там не забывало проводить постоянную военную муштровку.

На рассвете каждого дня, горнист играл "Зарю", казаки выбегали из палаток, быстро строились по своим подразделениям и начинали маршировать по песчаному и каменистому грунту острова. Военная муштровка продолжалась почти от зари до зари ежедневно и перерывы делались лишь для принятия пищи, или для вы-

слушивания очередных пропагандных речей старшего командования.

— Нам забывать военное дело ни в коем случае нельзя; современные военные знания нам скоро пригодятся, — ораторствовали старшие офицеры среди казаков. — Советская власть в России не сегодня-завтра провалится в тартарары и мы во всеоружии тактических воинских знаний, двинемся освобождать край родной от большевиков и всех других наших врагов...

Казаки слушали и почти никак не реагировали на слова старшего офицера. Они хорошо видели, что все нижние чины ютились в простых палатках, укрепленных на голой каменистой почве, из каменных расщелин которых часто выползали ядовитые скорпионы, а иногда внутрь такого палаточного "жилья" залезали и ядовитые змеи, "соседство" с которыми было не из приятных. В то же время генералы и другие старшие офицеры жили в хорошо оборудованных внутри больших и удобных палатках, с покрытым досками и застланном коврами полом, с мебелью, кроватями и все необходимое у них было в достатке.

Франция обещала снабжать продуктами питания всех прибывших на Лемнос, но это мизерное снабжение было не регулярным, а вскоре и почти совсем прекратилось. Среди рядовых воинов на Лемносе начался настоящий голод.

В поисках чего-либо съедобного, казаки подходили к берегу моря, раздевшись бросались в воду и руками старались поймать черепаху или краба, но такое "счастье" мало кому удавалось: зачастую "ловцы" оставляли свой "промысел" с пустыми руками. Некоторые находили на дне морском, вблизи берега, какие-то мягкие и вряд ли съедобные корни и водоросли, жевали их сырыми, чтобы хоть немного утолить голод.

Иногда, по приказу главного командования, измученные голодом и муштровкой войска, строили в каре и какой-нибудь генерал говорил очередную воинскую речь:

— Потерпите еще немного братцы, — говорил он. — Долго мы здесь не останемся, ибо союзники знают, чего мы хотим. На своих военных кораблях, союзники уже сосредоточили в Черном и Балтийском морях крупные воинские силы и серьезно готовятся к скорой ликвидации Совдепии. Не сегодня-завтра все мы выступим,

вместе с союзниками на север и освободим от большевиков край казачий и всю Россию. Не унывайте, бодритесь! Скоро все мы будем на земле родной...

Вначале многие кубанцы действительно бодрились и не очень унывали, верили оптимистическим высказываниям своих генералов и старались даже поддерживать тот порядок в Кубанском войске, который был у них недавно в Кубанском Крае. И для этого решили и за рубежом своей страны иметь своего Войскового атамана.

Так как прежний войсковой атаман генерал Букретов, который был избран на Кубани 31 декабря 1919 года, после капитуляции Кубанской армии возле Туапсе отказался от должности атамана, то возник вопрос о выборах нового атамана. Было выдвинуто два или три кандидата. Большинством в несколько голосов, Кубанским Войсковым атаманом был избран генерал-майор Вячеслав Григорьевич Науменко, кстати в это время находившийся не на Лемносе, а в Сербии.

Не только Кубанцы, но и донцы и терцы заграницей имели своих войсковых атаманов и свои казачьи "правительства", эвакуированные с родной земли в последний год.

В январе 1921 года, три казачьих войсковых атаманов и их правительства, собравшись в Константинополе сформировали Объединенный Совет Дона, Кубани и Терека, подписав официальный договор, в котором говорилось:

«Перед лицом тяжелых испытаний, выпавших на долю Казачества, полагая, что только в тесном единении может быть найден достойный для него выход, атаманов и правительств Дона, Кубани и Терека, выполняя давнишние чаяния своих народов, неоднократно выраженные в постановлениях войсковых кругов и Рады, заключили настоящее соглашение:

1. Дон, Кубань и Терек, сохраняя неприкосновенными свои конституции, по вопросам внешних сношений, военным, финансово-экономическим и обще-политическим действуют объединенно.

Примечание: впредь до возвращения в свои края, заботы об устройстве беженцев составляют также предмет объединенных действий.

2. Все вопросы, указанные в пункте 1-ом, разрешаются в Объединенном Совете Дона, Кубани и Терека, в состав коего входят войсковые атаманов и председатели правительств.

3. Все сношения, исходящие от Объединенного Совета Дона,

Кубани и Терека, производится одним из атаманов по уполномочию Совета.

4. Развитие настоящего соглашения производится путем дополнительных частных соглашений.

5. Настоящее соглашение имеет быть внесено на утверждение Больших войсковых Кругов и Краевой Рады, но вступает в силу тотчас по его подписании.

Учинено в трех экземплярах в г. Константинополе 14/1/ января, 1921 года.

Донской Войсковой атаман генерал-лейтенант **Богаевский**
Председатель Донского правительства генерал-майор **Апостолов**
Кубанский Войсковой атаман генерал-майор **Науменко**
Председатель Кубанского правительства **Д. Скобцов**
Терский Войсковой атаман генерал-лейтенант **Вдовенко**
Председатель Терского правительства **Е. Букановский** . . . »

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СОВЕТ ДОНА, КУБАНИ И ТЕРЕКА (1921 г.)



- Слева: Кубанский Войсковой Атаман Генерал-Майор **В. Г. Науменко.**
Посередине: Донской Войсковой Атаман Генерал-Лейтенант **А. П. Богаевский.**
Справа: Терский Войсковой Атаман Генерал-Лейтенант **Г. А. Вдовенко.**

Такой Ебъединенный Совет трех казачьих войск имел бы некоторое значение двумя годами раньше, на своей родной земле, когда Дон, Кубань и Терек еще не были заняты красными войсками, но договор в Константинополе явился слишком запоздалым явлением в Казачьей истории. *)

ГЛАВА 7.

Положение казаков на острове Лемнос все время ухудшалось. Снабжение продуктами питания становилось все хуже и хуже, и голод стал достигать угрожающих размеров, появились разные болезни, возникшие на почве недоедания и специфических условий. Смерть все чаще и чаще косила вольных и невольных изгнанников. В северной стороне от военного лагеря, за короткое время выросло на этом пустынном острове большое кладбище, в чужую каменистую почву которого были зарыты многие кубанцы, донцы и другие воины, эвакуированные из Крыма.

Однажды Лемнос посетил сам барон Врангель. Еще не совсем ослабевшие и бодрящиеся казаки были собраны по своим воинским подразделениям и построены в каре.

Войдя на средину и поднявшись на специально сооруженный для него помост, бывший главнокомандующий Русской армии в Крыму произнес горячую воинственную речь. Он старался заверить всех, что триумфального возвращения на Родину осталось ждать уже недолго, ибо большевизм, мол, доживает в России последние дни.

И показав в северную сторону рукой, он закончил: --- Верьте мне, скоро все мы будем "там"!

*) Сформированный в Константинополе в январе 1921 года «Объединенный Совет Дона, Кубани и Терека» проявлял свою заграничную, хотя и с трениями, деятельность почти двадцать лет. Формально числился он даже и после Второй мировой войны, хотя к этому времени эвакуированных из Крыма Донцов, Кубанцев и Терцев почти не оставалось в живых. Распущен и упразднен Совет не был, хотя после 1945 года собирался только два раза, т. к. из лиц подписавших договор в Константинополе оставался в живых только генерал Науменко. Последние годы об этом Совете за границей ничего не стало слышно. **Ф. К.**

Несомненно, своим жестом и словами Врангель имел в виду Россию, лежавшую на север от Лемноса, но по злому совпадению в той самой стороне острова, куда он показал, как раз находилось Лемносское кладбище.

— Барон сказал правду, все мы скоро будем "там", — с усмешкой шепнул Ус стоявшему рядом станичнику Хайло. —

— Тсс! Не говори так даже шопотом, — сказал Хайло. — Не кладбище имел ввиду генерал Врангель, а нашу родную страну, которая находится от нас тоже на севере. Хотя... ты тоже сказал правду.

Без всякого энтузиазма и криков "ура" слушали казаки опротивевшие воинские речи генералов, и после речи Врангеля расходились с полным безразличием к его многообещающим высказываниям и выразительным жестам...



Представитель Американского Красного Креста на о. Лемносе, капитан Мак Непь. 1921 г.

Однажды Никифор прошел подальше от своей палатки, сел на большой голый камень и долго сидел неподвижно на одном месте, о чем-то задумавшись. Вскоре к нему подошли его станичники: Ус, Хайло, Корогод и Цесарский.

— Чего так сидишь здесь один, Никифор Тарасович, призадумавшись? — сказал Евдоким Ус просто, без формальных обращений. — Не прогневись, что называю тебя не по чину и должностному положению.

— Меня и не надо величать ни по чину, ни по должностному положению, — ответил Никифор с каким-то раздражением. — Не хочу, чтобы вы называли меня "господином" или "благородием"! Разве когда-то в родной станице я не так же крутил хвосты коням, как и вы, и не так ходил в поле за плугом? Наоборот, мне нравится, когда вы обращаетесь ко мне, как равный к равному: я не из "благородных".

— Мы это знаем, спасибо, станичник! Я хотел только спросить твоего совета: как можно дальше так жить, что нам надо делать?

Никифор ответил не сразу. Он продолжал молча сидеть, то пальцами теребил по колену, то ковырял в песке носком сапога, потом, как бы нехотя, сказал:

— Ничего нам не надо делать, будем по-прежнему здесь находиться и ждать, а вот чего ждать... я и сам не знаю. Много дней наши орлы сражались на Родине за край родной, думали только о победе и ни о чем больше, а теперь вот очутились на диком чужом острове, сидим у моря и ждем... погоды.

— Но те, что победили и вынудили нас бежать сюда, разве они не были орлами Земли родной? Разве они не за Родину сражались?

— Не знаю... Несомненно орлы были не только среди "белых", но и среди "красных", иначе мы сейчас были бы на Родине, а не на Лемносе. Кстати, скажи: что в сущности это за слово "Родина"?

— Вот те и на! — удивился Ус. — Сам сказал сейчас, что "орлы" были и у "белых" и у "красных" и что все сражались за Родину, а теперь спрашиваешь! Если сказать коротко, то Родина или Отечество — это край родной, где ты родился и вырос, и где живут и теперь такие же ОРЛЫ ЗЕМЛИ РОДНОЙ, как и мы с тобой. Другой Родины никогда не может быть!

— Такие, говоришь? — и Никифор криво усмех-

нулся. — Там остались и живут только орлы красные, или перекрасившиеся. Разумеется, я говорю не о птицах. Они, те оставшиеся там орлы, сражались тоже за свою землю родную, но против нас и победили нас, а вот за что же мы сражались, разве не за край родной?

— Надо было сражаться за Веру, Царя и Отечество, вот тогда бы победа была за нами, — со скрытой иронией заметил Михаил Хайло. — Откровенно говоря, победители то нас не выгоняли с Родины, а мы сами ушли.

— То правда, Михаил Иванович, но я хочу сказать другое, — сказал опять Ус. — Никто в минувшую войну за Царя не сражался, то так трубила только официальная печать.

— Согласен, что за одного человека, пусть даже и Царя, мало кто хотел сражаться, иначе он не отрекся бы. Те же, что кричали "мрем за царя" — сидели в глухом тылу и пороку даже не нюхали. Но ведь за Веру и Отечество серьезно сражались наши воины?

— И такое верно только отчасти, — продолжал Ус. — Мы, православные, на всех перекрестках трубили, чтобы все сражались за веру православную, но ведь в бывшей Российской империи почти половина населения была других вероисповеданий! Чего ради, например, мусульманин, буддист, католик, лютеранин, еврей и другие должны сражаться за православную веру а не за свою? Ведь для любого верующего своя религия несомненно ближе, чем чужая. Не надо забывать и того, что политическая авантюра власть имущих ставилась всегда выше всяких религий. Возьмем, например, Болгарию. В этой стране царь был тоже православный и народ православный, а в минувшую войну они воевали против такой же православной России, против нас, православных. Они были в союзе с католико-лютеранской Германией и с мусульманской Турцией! Так за какую же веру сражались православные болгары?

— Из этого следует, что от старого лозунга "за Веру, Царя и Отечество", осталось только одно: Отечество, — сказал все время молчавший казак Корогод. — Каждый воин любой страны воевал серьезно только за Отечество, или за Родину, как теперь чаще говорят. Присовокуплялись к этому монархи и вера правящих классов, для возбуждения патриотических чувств, но не всегда удачно: последняя война тому живой пример.

— А вот Михаил Иванович говорит же, что надо было сражаться нам и теперь за Веру, Царя и Отечество, — заметил Цесарский.

— А какой вере он помогал, когда перед войной был в Персии инструктором мусульманских солдат? — вопросом ответил Корогод. — Он был там на хорошем счету у самого шаха Персидского, особенно у его многочисленных жен-шахинь, особенно когда шаха не было в Тегеране. Правда, Михаил Иванович?

— Та... был такой грех, — замямвшись сказал Хайло, — но ты же не очень размазывай о подробностях, я тебе по дружески рассказывал.

— Ладно, не буду! Хотя и трудно умолчать, как ты подкупал евнухов и много раз лазил в окно к третьей жене шаха, как ее...

— Перестань! — строго крикнул Хайло. — Говори лучше о том, о чем начал: об Отечестве!

— Слушаюсь! Закончу об отечестве, — усмехнулся Корогод. — Так вот, всякий воин, покинувший свое Отечество послушав шведа Врангеля, не может честно гордиться, что он ОРЕЛ ЗЕМЛИ РОДНОЙ, а погибнет на чужбине, как "швед под Полтавой".

— Сказанье старины глубокой, — опять вмешался в разговор Никифор. — Откуда ты, станичник, взял, что Врангель швед? Имя и отчество его Петр Николаевич, чисто русское, православное. И причем здесь Полтава?

— Осмелюсь поправить вас, Никифор Тарасович, — сказал Корогод. — Во-первых не "сказанье", а "преданье старины глубокой", так написано у Пушкина. Сказание про нас будет написано позже, наверное после нас. Так вот: отец Врангеля действительно уже был оформлен православным и зачислен на службу русскому царю, как русский, но предки то его откуда? Немецко-шведские бароны и православными никогда не были! Вот кем были предки нашего последнего командующего! И в его крови несомненно сохранилась ненависть немцев и шведов ко всем русским, иначе он так жестоко не расправлялся бы с нашим братом.

— С кем же из нас он так жестоко расправлялся?

— А виселицы и расстрелы на Кубани, виновных и невиновных, чьих это рук дело? Не Врангеля ли и его верного соратника Покровского?

— Ты что-то уж слишком хватил, станичник, — и

Никифор привстав, в упор глянул в лицо Корогоду. — К чему это? И что ты этим хотел доказать?

— Доказывать ничего я не собирался, но вы и сами это знаете, а сказал то, что всегда думал. Не будем об этом больше говорить! Мы, четыре твоих станичника, пришли сказать тебе вот что: мы решили вернуться на Родину, что всем и предлагает уполномоченный французского правительства. Довольно здесь томиться и страдать!

— Ох, вот, ты к чему рассуоливаешь! Что ж, все ясно, гражданин Корогод, можете хоть сегодня все возвращаться!

— О нет, господин сотник, меня не считай, — сказал Цесарский, — я вовсе не собираюсь возвращаться в совдепию. А ты, станичник, господин или гражданин Корогод, говори только о себе, а про других не трепись! Я тебе ничего не говорил о возвращении.

— Да тебе то что: состоишь в войсковом хоре, вас, песенников, наши генералы часто приглашают в штабные палатки на свои пирушки, щедро угощают, меньше гоняют на военную муштровку, а мы вот все голодаем и скоро пропадем...

— Постойте, станичники, зачем ругаться? — сказал Ус. — Каждый решает так, как ему заблагорассудится. Я, например, тоже хочу вернуться на Родину, но своего желания никому не навязываю. Нам на днях стало известно, что к Лемносу уже идет большой советский пароход. В канцелярии французский представитель производит регистрацию всех желающих покинуть это гиблое место и вернуться на Родину, чтобы не пропасть, "как швед под Полтавой", как правильно и выразился станичник Корогод.

— Неладное брожение ваших умов, — нахмурившись, сказал Никифор. — Нет, станичники, я не одобряю вашего решения: немного надо еще обождать.

— Ждать будем до тех пор, пока все будем на том месте, куда жестом показывал Врангель? На кладбище Лемноса? Нет, Никифор Тарасович, ждать нам больше нечего! Ты же сам говорил мне о возвращении дважды: когда мы собирались плыть на Кубань с десантом Улагая, и когда подошли к берегу для эвакуации, там, в Крыму. Помнишь?

— Помню! С десантом Улагая я собирался быть участником операции на Кубани, а потом обещал из родно-

го края никуда не двигаться. И если бы тогда не вывел нас из строя взорвавшийся со снарядами ящик, так бы все и было. И второй раз, когда в Крыму шли к берегу эвакуироваться, тоже говорил, не отрицаю, но... надо еще повременить. Впрочем, поступайте, как хотите: никаких препятствий чинить не буду. Если благополучно доберетесь в родную станицу, передайте от меня поклон всем моим родным и близким, расскажите правду про нашу судьбу!

Потом глянув в сторону Хайло, Никифор добавил:

— Михаил Иванович! И ты собираешься на Родину? Ты же кавалер четырех Георгиевских крестов и медалей! Не вырежут ли большевики на твоей коже четыре креста, как делают красные матросы с нашими офицерами?

— Георгиевские кресты я заслужил не у Деникина и не у Врангеля, а на Кавказском фронте в боевых операциях с турками, — резко ответил Хайло. Потом понизив голос до полусшепота, добавил:

— Что ж я эти кресты буду там на Родине кому-то показывать? Я их спрячу в надежном месте, или даже оставлю здесь.

— Смотри, Михаил Иванович, то твое личное дело и вмешиваться в твои личные намерения я не желаю. Про кресты я только напомнил тебе, как станичнику.

— Покорно благодарю, господин сотник!

После этого все четыре староминчанина оставили Никифора и пошли назад, но Цесарский сразу же отделился и один пошел к своей палатке, а трое "возвращенцев" пошли в другом направлении.

Никифор опять сел на камень, но через минуту встал и пристально стал глядеть в сторону удалявшихся от него трех станичников. Потом махнув над головой рукою, как бы отгоняя назойливую муху, быстро пошел за ними, крикнув несколько раз:

— Стойте, обождите!

Трое кандидатов на возвращение остановились и с удивлением смотрели на приближавшегося к ним сотника.

— Без меня одни не уходите, я тоже с вами!

— В нашу палатку с нами, или..., — поинтересовался Ус.

— И в палатку вашу и... совсем с вами, — волну-

ясь, сказал Никифор. — С вами вместе на привольные степи Кубанские!

Корогод и Ус радостно обняли и поцеловали своего Сотника Кияшко. Все вместе пошли дальше и вскоре скрылись в одной большой палатке...

ГЛАВА 8.

Через несколько дней после "интимной" беседы староминчан, к Лемносу подошло два больших парохода: один французский, а другой советский. С пароходов сошли советские и французские представители, подъехавшие на катере к берегу, и направились к большой палатке штаба кубанцев. По сигналу штабного горниста все чины казачьих войск построились со своими воинскими подразделениями на учебном плацу лагеря, образовав неровный, но широкий полукруг. На средину полукруга подошли советские и французские представители, вместе с некоторыми казачьими генералами.

На специальный помост поднялся советский представитель и с горячей речью обратился к казакам и офицерам о немедленном возвращении на Родину, гарантируя свободу и неприкосновенность личности.

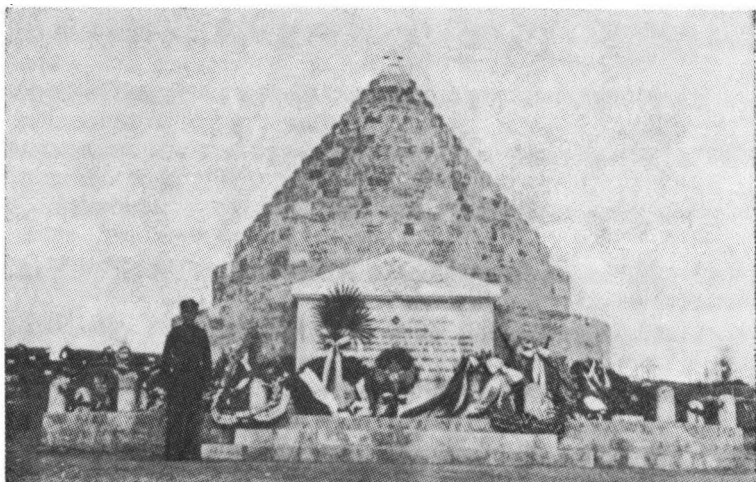
— Советское правительство — добавил он, — прощает вам ваше заблуждение и пребывание в Белой армии и каждый казак и офицер имеет возможность свободно вернуться в свой край родной, вернуться к своей семье жить мирно и спокойно не боясь никаких репрессий за прежнюю деятельность. Для возвращенцев и прибыл наш советский пароход и предоставлен вам совершенно бесплатно...

Представитель Франции, повторив слова советского представителя, сказал:

— В виду того, что вам представляется свободная возможность вернуться на родину, вряд ли французское правительство будет снабжать вас в дальнейшем продуктами питания.

И вдруг на помост поднялся генерал Науменко, только за несколько дней до этого прибывший на Лемнос и сказал следующее:

— Родные Кубанцы! Я, вами избранный Кубанский Войсковой Атаман, со всей ответственностью хочу пре-



ПАМЯТНИК В ГАЛЛИПОЛИ
ВОИНАМ АРМИИ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ

дупредить вас о грозящей всем вам опасности в советской России. Я призываю вас не слушать и не верить обещаниям советского комиссара и от возвращения на родину категорически отказаться. Знаю, и сочувствую вам, что все вы измучились и истомились здесь, соскучились по своим семьям, родным станицам и тяжело переживаете свое невольное скитание на чужой земле. Не меньше вас и я с болью в сердце переживаю разлуку с родным Кубанским краем, но вы, избрав меня Войсковым атаманом, тем самым доверили мне и свою судьбу. Положение здесь тяжелое, жить в таких условиях дальше невозможно. Я все время думал и старался об улучшении вашей судьбы. И сейчас мои старания увенчались успехом: Сербское Королевское правительство согласилось принять вас в свою страну и обеспечить всем нормальное человеческое существование. В этом же месяце вас всех перевезут из Лемноса в Сербию, где вы забудете и о голоде, и о скуке, ибо там живет славянский народ, наш народ православный. Да и в Сербии вы долго не будете: очень скоро мы все вернемся не на советскую родину, а в наш родной, освобожденный от Совдепии край Кубанский. Послушайте меня, родные кубанцы и все находящиеся здесь казаки других войск: потерпите

еще немного дней, откажитесь от возвращения на Родину и все оставайтеcь на месте . . .

И заволновалось море голов казачьих, задумались измученные душой и телом орлы степей привольных. Кому больше верить? Красному комиссару, с войсками которого они недавно дрались; французу, замучившему их голодным пайком, или своему казаку — Кубанскому — атаману?

— Может батько-атаман и правду сказал? — слышалось от многих.

Начались горячие споры в рядах казаков, угрожающие выкрики в сторону рядов возвращенцев, а кое-где доходило и до кулачной потасовки. Вскоре из сотен записавшихся к возвращению на Родину, стоявших отдельно в левых рядах, некоторые произвольно стали перебегать на правую сторону, в строй остающихся на острове.

— Господин сотник! Станичник, Никифор Тарасович! Чего же ты там продолжаешь стоять? Зачем позоришь нашу станицу? Иди к нам!

Никифор глянул в ту сторону, откуда неслись по его адресу эти выкрики и заметил там многих своих станичников, с которыми проводил вместе тяжелую страдную пору на полях Гражданской войны и потом с ними же и эвакуировался из Крыма. Там стояли его одностаничники-староминчане: сосед Георгий Бондарь, Цесарский, Денис Кривич, Петр Кошель, Иван Скубак, Радченко, Ганжула, Мороз, Кожушний, Павел Булатецкий, Иларион и Гавриил Кононенковы, два брата Фоменко, Петр и Григорий, Пятак, Шавлач, Николай Дмитренко, Георгий Романенко и другие. Возле него же находились только Корогод, Евдоким Ус и Хайло.

Недолго колебался Никифор. Не сказав ни слова стоявшим рядом с ним станичникам-возвращенцам, он молча вышел из их шеренги и быстро направился в сторону большинства.

— Куда же ты пошел, Никифор Тарасович? — крикнул Ус, но Никифор даже не оглянулся на его выкрик. Подошел к оставшимся на острове и стал в их ряд, чему последние были весьма довольны.

— Михаил Иванович! — закричали Хайлу из тех же рядов. — А ты чего там стоишь? Тебе же дали хорунжего, мы сами сегодня видели приказ, а ты продолжа-

ешь стоять с возвращенцами и даже не знаешь, что уже офицером стал!

— Шо ж, может батько-атаман и правду сказал, — буркнул про себя Михайло Хайло и вдруг резко сорвался с места и бегом пустился к тем рядам, где уже стоял Никифор Кияшко.

Почему Хайло так вдруг сразу переменял свое решение о возвращении, трудно сказать. Возможно он не хотел отставать от своего уважаемого станичника Кияшко, возможно на него подействовали слова генерала Науменко, но вероятнее всего он решил остаться потому, что ему якобы присвоили чин хорунжего, а за чинами и на Лемносе и позже в других местах все очень гонялись. Из староминчан только Евдоким Ус, Корогод и еще два казака не оставили левых рядов и вместе с другими возвращенцами сели на советский пароход и на второй день отплыли на Родину...

Что касается улучшения жизненных условий оставшихся на Лемносе казаков, то в обещаниях генерала Науменко была доля правды. Через два месяца после его выступления на Лемносе с призывом не возвращаться в Совдепию, почти все кубанцы, в составе Кубанской



КАЗАЧЬЕ КЛАДБИЩЕ НА О. Л Е М Н О С Е 1921 г.
И ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ ПРАХ ОРЛОВ ЗЕМЛИ КАЗАЧЬЕЙ

казацкой дивизии генерала Виктора Зборовского и в других воинских частях, оставили дикий остров Лемнос и прибыли в Сербию. И только там они утолили голод и оправились от тяжелых испытаний последнего года, выпавших на их долю.

Вслед за дивизией Зборовского, вскоре удалось покинуть пагубный остров и остальным кубанцам, а также и донцам, после эвакуации из Крыма оказавшимся на Лемносе вместе с кубанцами.

Большинство казаков сразу же крепко обосновалось на жительство в Сербии, но часть переехала в Чехословакию, Францию, Болгарию и другие Европейские страны. И только единицы сумели перебраться за океан.

И все без исключения считали, что находятся они в чужих странах временно, что "скоро-скоро" советская власть падет, в России восстановятся старые дореволюционные порядки и они триумфальным маршем вернутся в свои родные станицы и будут жить по старинке...

ГЛАВА 9.

Прибывшие из Лемноса в Сербию казаки, хотя по прежнему формально и числились в своих воинских подразделениях, входящих в основном в дивизию генерала Зборовского, но сразу же вынуждены были начать работать на разных строительствах, или на постройке шоссе-ных и железных дорог, которых в старой Сербии было мало. Эта работа давала казакам необходимые средства к существованию.

Немного позже некоторые казаки и офицеры стали служить в пограничной страже, а некоторые даже в личном конвое короля Югославии Александра.

Из певцов бывшего Запорожского полка был организован Кубанский казачий хор, во главе с талантливым регентом полковником Рудько, при помощнике Михаиле Хайло. Хор давал концерты не только в городах Югославии, но часто совершал турне и по другим странам Европы и всегда с большим успехом.

Приказом Войскового атамана генерала Науменко, все прибывшие из Лемноса кубанцы были произведены в офицерские чины, а все офицеры — получили повышение в чинах, и вскоре рядовых казаков в эмиграции почти не осталось. Были повышены в чинах и те, кото-

рые на Лемносе собирались возвращаться на Родину, но в последний момент отказались. Например: Хайло на Лемносе был вахмистром, а в Сербии стал хорунжим, а Никифор Кияшко из сотника был произведен в чин есаула. Однако все без исключения, — и произведенные из урядников в офицеры и те, что были офицерами еще в Белой армии в России, — почти все долбили кирками и лопатами каменистую почву на строительстве шоссежных и железных дорог, чтобы заработать на жизнь. Те кто не работал на строительстве, мыли посуду в ресторанах или подметали и убрали мусор на улицах, а некоторые пошли простыми батраками в крестьянские хозяйства. Некоторые, имевшие музыкальные способности, поступали в джазовые бродячие оркестры, иные обслуживали ночные бары, публичные дома и тому подобные заведения.

Кроме прибывших из Лемноса, в Югославию оказалось много, бежавших от новой власти в России, лиц с бывшим привилегированным положением: князей, графов, баронов, купцов и из сословия дворян вообще. Эти и в эмиграции почти нигде не работали, но жили лучше тяжело работавших казаков...

Дабы войсковой штаб и другие войсковые организации могли функционировать безболезненно, все имеющие работу казаки должны были ежемесячно производить установленные отчисления от своего заработка и вносить в кассу войскового атамана.

Все обосновавшиеся в Югославии казаки и казачьи офицеры были сравнительно молодого возраста и многие вскоре стали жениться на молодых сербках или хорватках, и даже те, которые оставили на Родине своих законных жен...

Никифор Кияшко жил в Белграде и помещался в одной комнате со своим станичником Николаем Дмитренко. Он не только категорически отказывался жениться на сербке или другой чужестранке, но не хотел даже и мимолетно встречаться с белградскими девушками, или овдовевшими молодыми красавицами. Он всегда помнил свою законную жену Наталку, так непредвиденно оставленную на Родине. Написал ей письмо из Белграда и с нетерпением ждал ответа.

— Почему ты, станичник, не женишься? — однажды спросил его Николай Дмитренко. — Разве не видишь, как сербияночки увиваются за нашим братом, да

и на тебя частенько поглядывают с вожделием, а ты — ноль внимания. Так нельзя! Я, правда, тоже еще не женился тут, но "развлечься" с какой-нибудь приглянувшейся "милосердной" сербияночкой редко отказываюсь, а ты — как монах! К чему это монашество в нашем возрасте? Все равно жизнь пропащая и своих баб на Кубани мы никогда больше не увидим. "Что с воза упало, то пропало".

— Возраст мой, Николай Макарович, уже немалый, тридцать три годика стукнуло, — сказал Никифор. — И в таком возрасте бегать за чужими бабами, как мы когда-то семнадцатилетними бегали за своими родными дивчатами, не хочу. Монах же с меня, как с козла пономарь. Ты сам видел, как я хлещу чайными стаканами ихнюю "ракию" и сливовицу и очей не зажмуриваю. Доброе зелье, не хуже нашей горилки. Дербалызнешь стакан, другой, в голове туман пойдет и хоть на время забудешь тяжелую долю свою и огорчения.

— Какие это огорчения? Разве тебя здесь кто обижает?

— Речь идет не об одном мне, а о многих лемносовцах. Скрытый обман есть!

— Какой обман, от кого?

— Ты шо, Николай Макарович, малый ребенок? Ничего не видишь и не понимаешь, — сердито сказал Никифор. — Зачем так горячо наши генералы уговаривали казаков еще на Лемносе, чтобы не возвращались на Родину?

— Боялись, чтобы на Родине не пострадали казаки, — неуверенно сказал Дмитренко.

— Нет не это! Чтобы побольше сохранить возле себя работяг и чтобы отчислениями от своего заработка мы здесь содержали их и их семьи. Не мы ли, работающие казаки и даже офицеры, вышедшие из простых казаков, кормим и поим их, потому что бывшим "белоручкам" добывать киркой кусок хлеба, видите ли... несподручно.

— Это, пожалуй, правда, Никифор Тарасович. И знаете почему? Потому что казаками и раньше и теперь верховодят разные русские белоручки, князья, графы, бароны и прочая дворянская "голубая" кровь, а мы, всеподданнейше и покорно, всегда подставляли им свой зад. Почему командующими у нас были всегда русские, а не казаки?

— Позволь, а мы то кто же, разве не русские?

— Конечно, нет! Мы жили в Российской империи, но мы особый народ, во все века жили на своей, щедро политой кровью наших предков казачьей земле, а не на русской: только Москва и Петербург всегда самочинно распоряжались нами.

— Ты что-то начал талдычить непонятное, Николай Макарович, растолкуй мне точнее свои новые понятия, ведь ты грамотнее меня.

— Что же здесь непонятное? — вопросом ответил Дмитренко. — Раньше я тоже заблуждался, а теперь все ясно мне. Недавно я получил интересное письмо из Праги, в котором говорится, что там организована отдельная казачья группа и в своей казачьей газете документально доказала, что казаки отдельная от российских народов нация и будет постоянно бороться за свою государственную независимость. И я приветствую их борьбу за самостийность. Хозяевами на казачьей земле должны быть казаки, а не другой кто-то.

О казачьем самоустройстве можно говорить только на Казачьей земле, а не в Белграде или Праге, где все это бесполезно.

— Хотя наша Казачья Земля находится там, на нашей Родине, а не в Белграде и Праге, но говорить о своем народе можно на всяком месте. В Югославии нас несколько тысяч, но всех казаков тут считают обыкновенным рабочим быдлом, как сербы и хорваты, так и белая российская знать.

— Я еще не слышал от своих станичников подобных высказываний, — усмехнулся Никифор. — Ты, шо, Мыколай Макарович, тоже самостийник? И кто тебя из Праги так надуумил?

— В Праге есть видные казачьи деятели из наших черноморцев, а меня как хочешь так и считай, но я казак и другим именем называться не хочу.

— Вот как! Кто же в Праге такие "видные деятели"?

— Ты старший меня казачий офицер и не знаешь? — удивился Дмитренко. — В Праге организовались в независимую казачью организацию такие видные деятели Кубанской Краевой рады, как Игнат Билый, Пухальский, Макаренко...

— Какой это Макаренко, не тот что в нашей станице был учителем?

— Тот самый! Петр Леонтиевич Макаренко! Он долго учительствовал в Старо-Минской, потом был видным деятелем Кубанской Рады. В ноябре девятнадцатого года, по распоряжению Деникина, Покровский разгромил Раду. Священника Алексея Кулабухова повесил, а двенадцать членов Рады, в том числе и Петра Макаренко выслали за границу. Теперь он в Праге и как образованнейший казак Кубанской Рады, начал писать правдивую историю о трагедии Казачества при Деникине и Врангеле. И я всецело на его стороне.

— Да, тогда наломали дровишек в Екатеринограде не мало, — согласился Никифор. — И, главное, пошатнувшееся положение на фронте, на что надеялся Деникин при разгроме Рады, исправить уже не удалось.

— Вот именно! И теперь если казакам еще раз придется идти воевать, то они будут сражаться только за государственную независимость Казачества, за свой Край казачий и ни за что другое. Послушай, Никифор Тарасович! Даже и тут нас продолжают обманывать: тысячи наших орлов земли родной работают на чужбине, как волы и едва сводят концы с концами, а их еще и обязывают отдавать свои скромные трудовые заработки то в кассу Войскового атамана, то в разные "Фонды Освобождения", то в Заграничную церковную епархию, чтобы здесь и дальше безбедно жила российская дворянская знать, ходом истории выброшенная из новой России...

— Ты как настоящий оратор из Совдепии, хотя кое в чем и прав. Вот и теперь наши генералы, князья и даже православные архиереи выступили с очередным призывом:

"Братья во Христе, воины православные! Недолго осталось вам жить на чужбине! Еще два-три месяца и мы все вместе, пойдем на освобожденную от большевизма святую Русь, где все опять будет по старому. Вся Кубань, Дон, Терек и вся Россия сейчас объаты поголовным восстанием против советской власти и многие земли Отечества уже освобождены от коммунистов. Не забывайте, что недавно сказал великий английский премьер-министр Ллойд Джордж: "Советская власть в России, что полевой цветок, когда захотим, тогда и сорвем его". И этот красный цветок будет сорван в ближайшие месяцы. Потерпите еще немного! Жертвуйте в "Фонд Освобождения Родины"! Рука дающего не оску-

деет. Ваша материальная помощь явится таким же оружием, как и огнестрельное на поле брани. Жертвуйте!.. и т. д. и т. п.

— Здорово ты запомнил слова этого призыва, — сказал Дмитренко. — Я слышал о такой прокламации, но не обратил на нее должного внимания и не запомнил. Видишь, с какой хитринкой стали обращаться теперь к нашему брату! Не призывают бороться за Веру, Царя и Отечество, как было раньше, а только за Родину. Что ж, подход правильный, только слишком запоздалый. Мы то воевали за Отечество, но разве Кубанская бригада красного комбрига Кочубея, казачья армия кубанца Сорокина, Таманская группа Ковтюха, конница Жлобы, конная армия Буденного и другие отряды, в которых было больше половины казаков, разве они воевали не за Отечество? Не важно за какое Отечество, красное или белое, но за свое Отечество, или, как теперь говорят за Родину. Они тоже храбро сражались, иначе не победили бы нас, и остались на Родине. А мы где очутились? За какую же Родину призывают нас сражаться теперь?

— Ясно призывают нас бороться за такое Отечество, которое было до революции, — сказал Никифор. — Но меня удивляет другое: о каких добровольных пожертвованиях может идти речь, когда нам приказали в обязательном порядке вносить десять динар в месяц в "Фонд освобождения Родины"!

— Как, "кто"! Наш батько-атаман, генерал Науменко.

Никифор достал из ящика стола лист с печатным текстом и сказал:

— Вот послушай, что наш Войсковой атаман приказывает, — и стал читать:

"... Я призываю вас, Кубанцы, вносить средства для работы по освобождению Родины, в свою Кубанскую организацию. Эти средства будут расходоваться нами, атаманами, исключительно на дело помощи и освобождения наших братьев, взывающих к нам и верящих, что мы им поможем. А посему приказываю:

1. Всем Кубанцам, находящимся за рубежом, где бы они ни находились, делать ежемесячные взносы в "Фонд Освобождения Родины".

2. Размер ежемесячного обязательного взноса устанавливаю для казаков, проживающих в Югославии 10

(десять) динар...*) и т. д.. Подпись: "Генерал-Майор В. Науменко". Видишь, не пожертвование, а "обязательный взнос", вот что!

— Я о таком приказе еще и не слышал, — сказал Дмитренко.

— Приказ только недавно издан и его не все еще прочитали, но как его будут исполнять все казаки, не знаю. Вот все кричат об Отечестве или о Родине, но не все точно даже разбираются в этом слове. Ты, Мыкола, грамотней меня, твой брат Александр Макарович, говорят, учительствует и теперь в нашей станции, скажи пожалуйста: Шо то за волшебное слово "Родина", с чем его едят?

Слыша выражение "с чем его едят", Дмитренко улыбнулся и немного помолчав сказал:

— Точно растолковать это слово и я затрудняюсь. Оно, это слово, трудно объяснимое; его надо чувствовать всем нутром своим. По моему, Родина или Отечество — это родная страна, где ты родился и вырос, где родились и жили твои родители, где говорят на родном языке и, где ты свой, а не чужой человек. Как человек не может дважды родиться, так и второй родины не может быть. Родина для всякого может быть только одна, хотя некоторые наши приспособленцы иногда мямлят о Югославии, как о "второй" родине. И великое значение слова Родина вовсе не зависит от социального и государственного строя. В страшную феодальную эпоху в 1812 году, русские крепостные крестьяне храбро защищали свою родину от французов Наполеона, хотя и жили они у помещиков на положении бесправного скота и их обменивали на щенков. И в Мировую войну солдаты и казаки сражались с немцами и турками не за царя, как тогда трубили придворные писатели и карьеристы, некоторые за Веру, но в основном и целом все сражались за Отечество. В миновавшую Гражданскую войну красные точно знали, за что сражались, а мы за что?

— Что! Разве мы сражались не за свою Родину, не за край родной?

*) Приказ Кубанского войскового атамана генерала В. Науменко № 12, от 20 июня 1930 года, опубликован в Югославии в Кубанском Календаре за 1931 год...

Ф. К.

— Так нам говорили и так мы думали, но если резать правду-матушку, то мы участвовали в заговоре мертвецов и помогли интервентам-извечным врагам нашим, помогли оккупировать нашу Родину...

Никифор строго глянул на говорившего и тот замолчал. Минуту оба глядели враждебно друг на друга, потом Дмитренко сказал:

— Ты не гневись, Никифор Тарасович, ведь я сказал правду. Лучше всего оставим наш разговор о родине и войнах, а вернемся к тому, о чем я тебя первый раз спросил: почему не женишься, а своей холодностью обижаешь "горячих" сербияночек?

— И о сербиянках отставим разговор, — сердито сказал Никифор. — Ты можешь ими тешиться сколько хочешь, а я не хочу. Моя законная жена, Наталочка, осталась без меня на родной земле, быть может, день и ночь плачет, бедняжка, с утра до вечера сквозь слезы глядит за ворота, надеется увидеть своего ненаглядного голубка, а в это время я буду тут развлекаться с друзьями? А сынок мой, Гриша, наверное и школу уже закончил, ведь ему уже теперь тринадцать миновало. А малютка Клава? О, нет! Ни о какой другой не хочу и думать...

— Жениться то, конечно, и не обязательно, но подурчиться с какой-нибудь сербиянкой, просто так без всяких обещаний и фигелей-мигелей, чтобы развеять скуку, разве это уж такой большой грех? Ты же еще совсем молод и здоров!

— Какой там "совсем молод", я же сказал тебе, что уже за тридцать перевалило! Без всяких "фигелей-мигелей", как ты сказал, чтобы развеять скуку, оно конечно...

В этот момент в дверь их комнаты раздался стук. Никифор открыл дверь и хозяйка дома вручила ему квадратный толстый конверт с его именем. Глянув на обратный адрес, получитель радостно вздрогнул: письмо пришло из его родной станицы. Вмиг открыв конверт, он молча начал читать. Когда дочитал до конца, его лицо вдруг омрачилось. Он скомкал письмо в руке, потом расправил и опять начал читать. И вдруг заплакал, как ребенок.

— Никифор Тарасович, что с тобой? Слишком печальные вести? Дай-ка мне, я тоже хочу прочитать и хоть бумагу понюхать с родной земли.

Не поднимая головы, Никифор молча протянул ему письмо.

Прочитав письмо с большим вниманием, Дмитренко глубоко вздохнул и сказал:

— Что ж, вполне естественно, война! Одни погибают, другие калеками стают, третьи остаются жить невредимыми. Так на всех войнах бывает. Но вести с Родины не так для тебя уж и трагичны. Правда, малый братик твой трагически погиб, а остальные в семье все живы и здоровы, и живут в своем доме. И Наталья твоя с детьми живет, и Петро с семьей, и родители...

— А конь мой, верный мой Гнедой! Вот кто вызвал мои слезы, — и Никифор молча достал из под кровати бутылку "ракии" (водки).

— Верно, Гнедой твой достоин боевой награды, хотя и посмертной. Хотя это не человек, а животное-конь, но он несомненно "человечнее" некоторых людей, если так можно выразиться...

— Вот как в нашей жизни получается: мой конь и то пробрался на родную землю, чтобы умереть на привольной степи Кубанской. *) И про этого четвероногого друга моего, я всегда буду помнить. Мы же, вероятно, околеем на чужбине далекой, вдали от степей родных, и наши родные даже не будут знать, где тлеют кости дорогих им **ОРЛОВ ЗЕМЛИ РОДНОЙ**. Вот какой ждет нас конец на этом свете, дорогой Николай Макарович!..

Никифор нервно схватил на столе большой чайный стакан, молча налил полно ракии и залпом выпил, даже не поморщившись. Потом он опять налил доверху стакан той же ракией и молча протянул своему станичнику. Повернувшись к открытому окну, он стал печально и безразлично глядеть на огни чужого города, на ночной Белград.

Безотказно взяв стакан, Дмитренко несколько секунд повременил и потом тоже осушил его до дна, крикнул от мнимого удовольствия и что-то промямлил про себя. Заложив обе руки за голову, он стал медленно молча шагать из угла в угол по комнате, о чем-то напряженно думая...

*) О кончине Гнедого в своей родной станице, надо смотреть третью книгу трилогии — «СТЕПИ ПРИВОЛЬНЫЕ — КРОВЬЮ ЗАЛИТЫЕ», часть 6-я.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 1.

Передовой отряд Красной армии вступил в станицу Старо-Минскую в конце февраля 1920 года. Дня два в станице перед этим не было никакой власти: белые спешно отступили, а красные еще не пришли.

Стояла ранняя весенняя оттепель. Был тихий и безоблачный день и солнце уже клонилось к закату, когда от Канеловского бугра на восточной стороне станицы показался небольшой отряд всадников, рысью приближавшихся к гужевому мосту через речку Сосыка, возле которого стояли уже хаты хлеборобов. Станица ждала этого. Сразу же во всех трех церквах "ударил в набат" (звон тревоги) и из дверей правления станицы на крыльцо вышла группа старых казаков с традиционным "хлебом-солью", для встречи отряда.

Впереди красноармейского отряда ехал местный казак, Аким Иванович Бирюк, примкнувший к большевистской партии на Западном фронте в семнадцатом году, самовольно прибыл с фронта домой, а при приближении белых весной восемнадцатого года, с отрядом красногвардейцев покинул станицу. В этом же отряде красных ехали и другие местные казаки: Демид Бондарь, Яценко, Савченко, Огиенко, Кривонос, Дрючко, братья Неженец, Иван и Гавриил и другие. (Братьев Неженец ушло из станицы с красногвардейцами четыре. Под Манычем двое были убиты, а двое вернулись с отрядом Бирюка).

— Максым Мытровыч, ты глянь: та тож наши казаки з красными прыйихалы! — сказал старый Федот Великий соседу Максиму Таран, держа в дрожавших руках металлический поднос с "хлебом-солью".

— Наши они, то наши, — вздохнул Таран, — но сколько они наших же казаков уложили на фронте за последний год: целое кладбище выросло в ограде Христо-Рождественской церкви из наших убиенных воинов. Свои казаки, своих же станичников и убивали!

— А кто виноват? Наши рядовые казаки только головы свои ложили на фронте, а науськивали их друг на друга старые генералы, думали повернуть все по старому, а вышел пшик: победили большевики и вот пришли теперь и в нашу станицу, как победители...

Красноармейский отряд остановился на улице Красной, напротив крыльца правления станицы, на котором стояла группа старых казаков. Церковные колокола смолкли. Бирюк пытливо поглядел на стоявших стариков и не слезая с коня, громко сказал:

— Здравствуйте, станичники!

— Здравия жел... здравствуй, Яким Иванович! — вразброд ответили старики, приподнимая с головы свои шапки.

— Слышал я, что два года тому назад беляков генерала Покровского вы встречали более людно и торжественно: и почетный караул выставили, и вся улица перед этим зданием была запружена народом, а почему же сейчас кроме десятка стариков никого нет?

— Боятся, Яким Иванович, боятся, — сказал Федот Великий. — Нечего греха таить, почти вся станица грешна перед вами.

Знаю. Не надо было грешить! Но, по моему, не вся станица грешна. Поглядите: не ваши ли орлы-станичники находятся в этом отряде Красной армии? — и Бирюк плеткой показал на десяток казаков-станичников, сидевших на конях в его красноармейском отряде. — Да и ваш комиссар, Яков Фоменко, разве не ваш казак-хлебороб? Кстати, где он сейчас?

— Бог его знает, где он сейчас, может в станице, а может и нет. Возможно он тоже боится вас? После того, как молодчики Покровского всыпали ему десятка три шомполов, его мобилизовали в пластунский батальон и он служил у белых. Говорят, был даже командиром сотни в Одиннадцатом батальоне, но потом почти со всей сотней дезертировал с фронта...

— Якову Ивановичу бояться не надо! Пусть смело приходит и опять становится комиссаром станицы. Он один из первых казаков в станице признал советскую власть, еще осенью семнадцатого года. Хотя и любит иногда выпить, но он умный и честный казак.

Наступила минутная пауза. Воспользовавшись этим, Федот Великий с подносом в руках подошел к Бирюку, и сказал:

— Покорно просим, Яким Иванович, примите нашу хлеб-соль, яко победитель и первый из новой власти вошедший в нашу станицу. Так по многовековой казачьей традиции всегда у нас было.

— Казачьи традиции я знаю хорошо, но раньше "хлеб-соль" подносили с чистой совестью и добрыми чувствами, а вы, по моему, подносите по необходимости. Давно ли вы такую же "хлеб-соль" подносили генералу Покровскому? И, наверное, с большей симпатией, чем подносите мне. Но не будем сейчас об этом вспоминать. Вот что: завтра в станицу приедут наши революционные представители, вы всей станицей соберетесь на митинг, на общую сходку, и изберете себе комиссара станицы и отдадите ему хлеб-соль. Вот и все, прощайте! Рысью, марш! — повернув голову, скомандовал Бирюк своему разведывательному отряду и во главе всадников двинулся по улице Красной на юг, в направлении вокзала железной дороги.

Въехав на улицу Черноморскую, Бирюк дал знак отряду и приостановился. В одном дворе, у калитки стояла женщина лет сорока и пристально глядела на красных всадников. Вдруг, истерически вскрикнув, она бегом выскочила на улицу, подбежала к Бирюку и припав лицом к его сапогу, вдетому в стремя, начала причитать, одновременно плача и смеясь:

— Якимушка, родненький, сокол мой ненаглядный... живой, живой вернулся! Ходим же до хаты, скорее ходим! . . .

Это была жена Бирюка, Параскева Павловна, а двор, из которого она выбежала на улицу, был собственным двором командира красного отряда.

— Как я рада, почти два года не виделись, — продолжала Параскева, — и я и дети так соскучились: ходим же скорее в хату!

— Не могу сейчас, милая Пашенька, не могу. Наш блаженный час еще не настал. К рассвету мы должны быть в Ново-Минской и соединиться с партизанским отрядом из Ейска. Вот когда всех беляков потопим в Черном море, — а это будет скоро, тогда я безбоязненно вернусь в станицу к своей семье и мы постоянно будем вместе. Еще немножко потерпи, больше ждала.

— Боже мой — всплеснув руками, голосно проговорила Параскева Павловна. — Два года не виделись, два года мучилась и страдала из-за тебя, а он "не могу!"

Как тут издевались надо мною из-за тебя, шомполами били каратели белые, сорвиголовы Покровского, даже повесить меня хотели, да, спасибо, соседи заступились, а он вот прибыл ко двору, сидит на коне и на минутку даже не хочет зайти в хату, детей поглядеть и утешить, и хоть на миг приласкать меня, бедную горемыку, — и она жалостно заплакала.

— Не надо плакать, Пашенька, не надо милая, — нагнувшись от седла и целуя жену, говорил Бирюк. — Не плакать, а надо радоваться нашей победе! Я жив и невредим, а свое мы... нагоним, Паша. Самое большое через месяц я вернусь к тебе и мы заживем припеваючи. А сейчас... нельзя! Видишь, вон хлопцы мои уже косо на меня поглядывают. Ведь некоторые из них тоже из нашей станицы, но они даже и не заикаются, чтобы теперь же наведаться в свои дворы. Надо кончать начатое Лениным великое дело, а потом будем свободно жить вместе и наслаждаться всеми благами жизни нашей. Прощевай, Паша, не обижайся! Поцелуй за меня деток! До скорого свидания!..

Яким Бирюк резко повернул коня и его отряд с места в карьер помчался дальше, оставив у ворот плачущую жену командира красного разведывательного отряда, Прасковью Павловну Бирюк...

ГЛАВА 2.

На второй день после появления отряда Бирюка, в станицу прибыли другие красноармейские части и военные представители, для оформления местной гражданской власти. Был создан Ревком-Революционный Комитет в станице, председателем которого стал некто Кубышкин, прибывший тоже с армейскими представителями.

В первое же воскресенье был созван всеобщий митинг, — общее собрание всех взрослых жителей станицы, или "сходка", как говорили по местному.

Во дворе бывшего правления станицы собрались почти все казаки станицы. К ним вышел предревкома Кубышкин, в сопровождении нескольких военных лиц, открыл митинг и сказал краткую речь о новой власти. Затем, обращаясь ко всем собравшимся, добавил:

— Нам сейчас надо избрать комиссара станицы из

местных жителей на место сбежавшего вашего атамана Емельяна Уса. Да, собственно говоря, время атаманов вообще кончилось. Кого хотели бы вы иметь своим станичным комиссаром?

Заметив стоявшего недалеко от Кубышкина бывшего комиссара Фоменко, станичники стали перешептываться. Послышались голоса:

— Яков Иванович Фоменко нехай опять будет у нас комиссаром!

— Смешно такое слушать от вас, станишники. Шо, еще раз хотите мой зад почесать шомполами? — гневно сказал стоящий возле трибуны Фоменко. — Забыли, как при Покровском за мое комиссарство вы же меня пороли шомполами?

— Не бойсь, товарищ Фоменко, — сказал стоявший на трибуне предревкома Кубышкин, — и упрекать всех стоящих здесь казаков в телесном вас наказании при белых не надо. Бояться вам шомполов теперь нечего, ибо беляки сюда больше не вернутся и старые порядки никогда не воскреснут.

— Я не боюсь и верю в нерушимость новой власти, но мне как-то даже смешно, что опять рекомендуют меня в комиссары те старые служаки, которые при генерале Покровском сняли мне штаны и немилосердно вlepили по голому заду двадцать пять шомполов...

Предревкома слабо улыбнулся, а близко стоявшие казаки молчали и не знали, как и оправдаться перед Фоменком.

Но вот выступил вперед старый казак Клим Шека, обыкновенный "заика" и заикаясь почти на каждом слове, начал:

— Я-я-яков И-и-иванович! Вы на-на-прасно обижаются за-за шо-шо-шомполы. То-то-то Покровский робыв. И еще ска-ска-ска-жу: наш фельдшер Британ го-го-говорил, шо ма-массажировать людское те-те-те-тело очень пользительно, и-и-и зад... то-то-тоже пользительно. Моя Горпына часто ма-ма-массажирует и мою зад....

Вокруг раздался громкий хохот и не дал Климу закончить свою "речь". Я так сказать в новой этике ничего не понимаю, — разводя руками, сказал Софрон Падалка. — Нэма у нас, станышныкы, ни постоянства, ни совести. Сами же пороли человека за комиссарство и опять ему предлагаете это же комиссарство. А за свой прежний грех вы оправдались? Нет!

Так давайте так решим: шоб в долгу никто не остался, нехай Яков Иванович тут же сейчас поочереди начнет снимать штаны со всех нас и каждому пусть всыпет столько шомполов, сколько ему всыпали при Деникине и Покровском. Тогда будем в расчете и обиды не останетса.

— Софрон Капитонович! Первым ты снимай штаны и подставляй зад, — слышались голоса и хохот.

— И сниму! Шо, побоюсь? Хотя я тогда и не участвовал в вашей шомпольной прогулке, и бить Якова Ивановича никогда даже и не помышлял, но за ваш грех и я готов отвечать, — и он недолго думая расстегнул ширинку и начал снимать штаны.

— Стой, стой! Обожди, Софрон Капитонович, — улыбнувшись сказал Фоменко. — Натяни штаны обратно и застегни ширинку. Я знаю, ты честный казак-хлебобороб, из нашей станичной бедноты и брать на себя чужой грех не надо. Да и другим станичникам я вспоминать об этом больше не хочу. Случилось необдуманное злое действие некоторых недальновидных станичников, но если на их зло, я буду отвечать тоже злом, то получится два зла. Если же на зло ответить добром, то от зла останетса нуль. Я же хочу, чтобы от нашего недоразумения осталса именно нуль.

— Правильно, Яков Иванович, правильно! — слышались вокруг голоса. Помиримся! Не надо помнить зла, мы же все дети одной Матери Кубани!

— "Кто старое поминит, тому глаз вон", говорит старая поговорка, и я готов забыть все злое старое, но при условии, чтобы слушались меня также, как раньше слушались атамана.

— Будем слушаться, как атамана, будем! — слышалось среди толпы казаков. — Называйся там комиссаром или еще, как захочешь, но нам надо и при новой власти иметь в правлении станицы своего человека.

— Видно, что Яков Иванович пользуется у вас авторитетом, как и у нас, и достоин стать вашим гражданским хозяином, — обводя взглядом всех собравшихся, сказал Кубышкин. — Согласны вы, чтобы товарищ Фоменко стал опять комиссаром станицы? — спросил он громко.

— Согласны, согласны! — прозвучал единогласный ответ.

— Вот и хорошо, с вопросом избрания комиссара

мы уже и покончили, — и Кубышкин поздравил Якова Ивановича с избранием.

После этого, Фоменко снял шапку, поклонился на все четыре стороны стоявшим вокруг станичникам и стал на трибуне рядом с Кубышкиным.

На очереди стоял серьезный вопрос правительственного задания о продовольственной разверстке в станице, сокращенно говорили "продразверстке", и сотрудник Кубышкина, продовольственный комиссар Сиволапов, выступил с подробным докладом на эту тему...

ГЛАВА 3.

Продразверстка — почти неограниченная нормами обязательная сдача государству всех излишков хлебного зерна, — являлась системой продовольственных заготовок в период военного коммунизма в 1918-1921 годах. Эта система заготовок почти сразу же вводилась в тех южных областях, куда, после отступления белых, входили войска Красной армии. В 1920-21 годах она была введена и в Кубанском крае.

Продразверстка отразилась, в первую очередь, на положении зажиточных хлеборобов, во дворах которых стояли амбары с тысячами пудов зерна. Были такие хозяйства среди кубанских казаков, во дворах которых было по несколько больших амбаров-зернохранилищ, с запасами зерна до десяти тысяч пудов. В те годы добровольно продавать зерно хлеборобы не хотели потому, что денежные знаки совершенно обесценились. Торговые точки стояли пустые. Не то, что промышленных товаров, но в магазинах совершенно не было и самых необходимых предметов: керосина, спичек, соли, сахара и т. д. Поэтому зажиточные хозяйства и не спешили с продажей зерна, а выжидали "лучшего времени".

Несмотря на крупные запасы зерна в хозяйстве юга России, в больших городах страны рабочие получали скудный паек хлеба, а в Поволжье начался большой голод и население умирало от голода. И советское правительство приняло решительные меры по выкачиванию больших запасов зерна у хлеборобов Северного Кавказа.

Формально за изъятое у казаков зерно платили, но

фактически это было бесплатно, ибо денежные бумажки, на которых стояло "100", "1000", "10000" и даже "1 000 000" (миллион) рублей никакой ценности не имели.

Менее чем за год, из одной лишь Старо-Минской и прилегавших к станице хуторов было изъято и вывезено полтора миллиона пудов зерна. Без насилия, разумеется, не могло обходиться, ибо зажиточные казаки сопротивлялись и не хотели добровольно отдавать свои запасы. И казаки стали на дыбы. И не только зажиточные, но и некоторые хлеборобы среднего состояния. Десятками и сотнями стали уходить далеко в степь, в речные заросли камышей и плавней, тайно вооружаться и формироваться в антисоветские отряды. С вооружением тоже не было трудностей: почти все казаки, бросавшие в 1919 году фронт, захватили с собой и оружие, а Добровольческая армия, отступая, бросала на всех дорогах и улицах станиц не только винтовки и пулеметы, но иногда и пушки, с десятками ящиков снарядов и других боеприпасов...

Сразу же нашлись и командиры повстанческих отрядов. Застрявшие в станицах офицеры Белой армии усердно формировали антисоветские отряды из недовольных и обиженных новой властью казаков. Начались жестокие расправы с представителями местной власти.

— Мы им покажем продразверстку! Мы им покажем, как хлеб казачий забирать" — потрясая плеткой грозил бывший есаул Мозуль, командир небольшого повстанческого отряда, орудовавшего между станицами Старо-Минской и Старощербиновской.

Другой отряд, под командой сотника Дрофа, действовал в районе "Копийчиной балки", между Старо-Минской и Уманской.

Однажды предревкома Кубышкин верхом на коне, в сопровождении троих конных красноармейцев отправился из Старо-Минской в Уманскую. Ехать степной полуглухой дорогой надо было больше тридцати верст. Примерно на полпути, не доезжая нескольких десятков шагов до "Копийчиной балки", по ним вдруг раздались с двух сторон винтовочные выстрелы. Два красноармейца были сразу же убиты, а Кубышкина и третьего бойца окружило больше десятка вооруженных казаков. Не

дав им и опомниться, они вмиг стянули их с коней и разоружили.

— Ха! Сам предревкома пожаловал к нам в гости! — злорадно улыбнувшись, сказал Дрофа. — Сколько ж тебе трэба сейчас продразверстки, товариш Кубышка? У нас тут с собой мабуть не найдется сейчас столько пшенички, шоб хоть насыпать до верха в твой зад. Вот, беда!

— Найдется, господин сотник, — сказал один высокий казак и начал от седла своего коня отвязывать небольшой мешок с зерном.

— Прочь, бандиты! — грозно крикнул Кубышкин. — Я еду в Уманскую по делам службы и не задерживайте меня. Сдавайтесь нам и вам будет дарована жизнь. Если же вы, бандиты, не сдадитесь, то не только вас всех, но и ваших отцов перестреляем!

— Ого! Ты чуешь, Андрюша, шо его красное благородие изрекает? Каже, як шо не сдадимся, перестреляет всех нас и батькив наших! — мигнув рядом стоявшему Андрею Кунда, сказал Дрофа.

— Чую, чую, сотник, — ответил Кунда. — Шо ж, трэба поскорее освободить обох, да и сдаваться, — и с этими словами он взмахнул шашкой и обезглавил бойца. Потом поднял шашку и занес над Кубышкиным.

— Стой, стой, урядник Кунда, а как же продразверстка? — остановил его Дрофа. — Это тебе не хвост собачий, а сам предревкома, товарищ Кубышка! Большому кораблю, большое и плавание. Надо особый почет ему воздать, а то и в самом деле перестреляет нас.

Соучастники Дрофы раздели Кубышкина догола, загнув назад ноги привязали за спиной к его рукам, голову обмотали одеждой и так туго, что он сразу же потерял сознание. Высокий казак подошел с мешочком пшеницы и стал ножом спокойно разрезать живот обреченной жертвы, потом в это место насыпал полно зерна пшеницы. Когда эти суровые мстители отъезжали, то на животе замученного предревкома Кубышкина оставили записку: "Продразверстка выполнена..." По тайным тропинкам Копийчиной балки все они сразу же скрылись в камышах, подальше от этого места.

Только через день, ехавший из Уманской по этой дороге отряд чекистов и агентов уголовного розыска обнаружил Кубышкина в таком виде, в каком его оставили Дрофа и иже с ним.

Хоронили предревкома Кубышкина в Староминском сквере имени Щербака с большой торжественностью, с отдаaniem положенных воинских почестей. Военный духовой оркестр многократно исполнял похоронный марш, произносились воинственные угрожающие речи комиссаров, был дан трехкратный ружейный салют, и при истерических рыданиях жены предревкома, артистки Кубышкиной, гроб был опущен в могилу...

Не отставали от подобных суровых действий и мстители из отряда есаула Мозуля.

Однажды, возле сторожевой будки железной дороги вблизи Ново-Минской, они поймали двух активных комсомольцев, обстрелявших отряд из винтовок. Одно из них казаки связали и вниз головой бросили в глубокий колодец, а другого, — выкрикивающего страшные ругательства, — казнили еще суровее. Пригнули вместе верхнюю часть стволов двух рядом росших больших деревьев, одну ногу жертвы привязали к верхушке ствола одного дерева, а другую к другому, потом сразу отпустили верхи обоих стволов и юноша был разорван на две части...

Такая страшная месть некоторых непримиримых казаков ко всем коммунистам, комсомольцам и, вообще, ко всем представителям советской власти, в том числе и беспартийным, началась сразу же после введения на Кубани продразверстки и быстро ширилась по всем станицам и хуторам.

Недовольные мероприятиями новой власти казаки объединялись в десятки, вооружались и уходили в степь. Там организовывались в отряды до сотни и более человек, совершали стремительные налеты на советские учреждения, кооперативы, железнодорожные станции; поджигали составы с хлебным зерном, приготовленным к отправке на север, и угрожали расправой не только всем советским служащим, но и тем мирным хлеборобам, которые отказывались сотрудничать с ними.

Возле плавней Ейского лимана, в районе станицы Старощербиновской, активно действовал большой антисоветский отряд полковника Сидельникова, который после отступления белых остался там по заданию контрразведки Деникина и временно маскировался простым рыбаком из Азова, пока не собрал и не возглавил группу недовольных казаков.

Между станицами Канеловской и Шкуринской ору-

давал антисоветский отряд, под командой сына местного владельца большой мельницы Ивченко. В его отряде были не только непримиримые, но и просто казаки, которые еще не могли отвыкнуть от военно-разгульного периода Гражданской войны, и которым скучно показалось сидеть без "живого дела" возле своих баб: "Хотелось еще погулять и поупражняться незаржавелой шашкой..."

Особенно много таких антисоветских отрядов собралось на островках среди обширных и малопроезжих плавней возле станицы Копанской и озера Ханского, недалеко от побережья Азовского моря. Там, под командой полковника Белой армии Сухенка, среди зарослей высокого камыша и рогоза, сгруппировалось несколько тысяч белых офицеров и недовольных казаков, готовясь к выступлению против советской власти на всей Кубани. В этом, исчисляемом в несколько полков отряде, имелись у каждого воина не только винтовки с большим числом патронов, но было много и пулеметов, артиллерия, походные кухни, и т. д. И почти год они были непобедимы.

Когда к плавням между станицей Копанской и лиманом Азовского моря подходили красноармейские части и открывали пулеметный и артиллерийский огонь по мало приметным островкам плавней, оттуда раздавались веселые казачьи песни, музыка духового оркестра и на обстрел красных, казалось, никто там не обращал внимания.

— Там, наверное, дьяволы сидят, а не люди, — говорили со злостью красные командиры после очередного обстрела Копанских плавней.

Всех, находившихся в разных антисоветских отрядах, комиссары и все советские представители именовали "бандитами", или "белобандитами", а их отряды "белобандитскими".

ГЛАВА 4.

Для интенсивной борьбы с антисоветскими отрядами, в станице Старо-Минской был сформирован добровольческий отряд, из иногородних и казаков, командиром которого стал бывший красный партизан Тит Иванович Краснопольский.

Однако боевые действия такого отряда не имели желаемого успеха по той простой причине, что находившиеся в отряде Краснопольского казаки в то же самое время имели среди "бандитов", то-есть в антисоветских отрядах, знакомых станичников, родственников и даже братьев. И этих знакомых станичников-соседей было много в отрядах бывших белых офицеров Сидельникова, Дрофы, Мозуля, Сухенка и других. И серьезных боевых стычек почти не происходило...

Надо заметить, что в этих антисоветских отрядах были и настоящие бандиты, без кавычек, которые входили в эти отряды с целью разгульной жизни и грабежей. Не новая власть мозолила им глаза, а желание еще повеселиться в широкой степи в пьяных оргиях. Таких было мало, но они были и против них выступали не только красные войска, но и мирные жители, казаки-хлеборобы...

После гибели Кубышкина предревкомом станицы стал присланный откуда-то Минько, который фактически распоряжался всей жизнью в станице.

Вскоре в станицу прибыла Чрезвычайная тройка по борьбе с контрреволюцией, во главе с неким Аврамом Закидальским. Говорили, что он старый революционер-большевик, еврей-коммунист, что для борьбы с контрреволюционным казачеством его направил сам Троцкий, его старый приятель. Но точно никто не знал, а спрашивать просто боялись.

И с первых же дней прибытия Чрезвычайной тройки, началась суровая расправа с населением.

По приказу Закидальского было арестовано несколько заложников из числа знатных казаков старшего возраста, обвинив их в укрывательстве антисоветских бандитов.

Через несколько дней после этого, двоих казаков из числа этих заложников, — Самойла Костенко и Гавриша, — тройка приговорила к расстрелу. Обоих осужденных вывели из арестантского помещения ревкома, привели на Христо-Рождественскую площадь и поставили возле ограды у "глухой" кирпичной, без окон, стены церковного дома.

— Братцы, братцы! Дозвольте мне сказать последнее слово! — выкрикнул прерывающимся голосом Костенко.

— Что ж ты хочешь сказать, казачья контра? Ну,

ладно, говори! — зло оскалившись, согласился Закидальский, сидевший на коне, возле спешенного особого взвода красноармейцев.

— Братцы, я абсолютно неповинен в тех обвинениях, за что осужден тройкой, — начал Костенко. — В моем доме никто из бандитов не скрывался. Хотя я и принадлежу к зажиточным казакам, но я ни разу против новой власти не выступал. В Белой армии служил по мобилизации, а не добровольно. Под Воронежом моя сотня одна из первых бросила фронт и отказалась воевать против красных, когда стало известно, что Покровский в Екатеринодаре вешал членов Рады, наших выборных народных представителей. Мы тогда оставили фронт и вернулись в свою станицу...

При этих словах Костенка, Закидальский злобно заскрежетал зубами и что-то про себя прошептал.

— Оставить живую пропаганду! — прервал речь Самойла предревкома станицы Минько. — Посмотреть на вас, то вы все невинные ягненки. Чрезвычайная тройка точно установила вашу виновность в поддержке бандитов и вашу антисоветскую деятельность.

— Шо ж, так тому быть, — пусть моя жертва послужит уроком для других, — обреченно протянул Костенко. — Я призываю всех станичников прекратить бесполезное сопротивление, "плетью обуха не перебьешь", и вернуться к мирной жизни. Прощайте, станишныкы, не поминайте лихом! Господи, прости все мои грехи, вольные и невольные, — и повернувшись к церкви, он хотел перекреститься, но руки его были связаны.

— По врагам революции, огонь! — зычноскомандовал Закидальский.

Раздался нестройный залп Особого взвода красноармейцев и оба осужденных упали и забились в предсмертной агонии.

Через несколько минут трупы расстрелянных, по разрешению Минько, родственники положили на подводу, прикрыли рогожей и при истерических рыданиях близких и родных Костенка и Гавриша увезли с места казни домой к их семьям.

Большая толпа народа, согнанная со всей станицы для такого "назидательного зрелища", молча и понуро начала расходиться с площади.

ГЛАВА 5.

Петр Кияшко и Николай Шевченко тоже находились среди староминчан на Христо-Рождественской площади, когда приводился в исполнение приговор над Гавришом и Костенко.

После залпа, Закидальский грациозно повернул коня и взглядом победителя окинул молчавшую толпу казаков. Ближе всего к нему оказался Петр и взгляды их встретились.

Петр вздрогнул. Что-то знакомое показалось ему в лице Аврама Закидальского. Последний тоже на секунду задержал свой взгляд на Петре и рядом стоявшем Николае и направился в ревком станицы, оглянувшись на них еще раз.

— Ты не опознал кого-либо другого в этом чекисте? — тихонько спросил Петр своего друга.

— Особо его я и не разглядывал, чекист, как и все иже с ним, — сказал Николай. — А что, может плохой кавалерист?

— Я не про то. Так сидеть на коне может только настоящий кавалерист, находившийся в седле и раньше. Ну, раз ты ничего не заметил, то и я тебе больше ничего не скажу.

Однако, когда они вместе с другими казаками оставили страшную площадь и шли домой по улице только вдвоем, Петр не вытерпел и сказал приятелю о своих подозрениях.

— Правда, правда, весьма похожий! Может это и в самом деле "он"? — согласился Николай. — Что же нам теперь надо делать?

— Пока ничего не надо делать и о наших подозрениях никому ни словечка! Ближайшее время покажет, что надо будет делать...

На второй день после этого ожидалось новые аресты в заложники, накануне намеченных Ревкомом станицы, но председатель Чека Закидальский, со своим помощником тоже одновременно с ним появившимся в станице, рано утром неожиданно поехали на Донскую сторону за реку Ея и арестов в тот день не было...

Возле колодца своего двора, спиной к большой скирде соломы сидел Петр глубоко задумавшись и молча глядел в одну точку на земле. Он даже не заметил, как пробравшиеся садом от задней стороны подворья,

из-за скирды соломы подошли к нему три станичника: Дрофа, Сергей Волошко и Федор Цыгикало. Последние два были еще девятнадцатилетними парубками.

— Доброго здоровья, Петро Тарасович, — приветствовал его один из подошедших. — Чего так зажурылся, козаче й сидишь нахнюпив голову?

Петр оглянулся и привстал.

— Поневоле зажурышься, — сказал он, здороваясь с ними. — Забирают наших лучших казаков в заложники, потом на виду у всех расстреливают. Того гляди они доберутся и до моего батька, и до меня?

— Точно доберутся и скоро, и до Тараса Охримоича и до тебя, — живо сказал Дрофа. — Думаешь чекисты в Старо-Минской не знают, что ты белый офицер, а Георгиевские кресты получил еще при царе? Знают они также и про то, что твой брат Никифор ушел с нашими за границу. Да и хозяйство ваше не из беднячких и они не прочь его загарбать себе.

— То правда, станичник, но что же нам делать теперь?

— Бороться надо, Петр Тарасович, бороться за свои прежние казачьи права и порядки! Защищать надо нашу землю от пришельцев, кровью дедов и прадедов наших политую землю, а не сидеть, як квочка на яйцах в гнезде и ждать пока оттяпают голову.

— Бороться, говорите? Кто, против кого и каким способом будет вести честную борьбу?

— Идите до нас, дядько Петро, — сказал Сергей Волошко. — Мы вот с Федькой и другими хлопцами недолго думая явились в один из наших казачьих отрядов и теперь добре и весело гуляем по степям казачьей Земли, никого не боясь. Завидев наш отряд в степи все ихние комиссары дрожат от страха и скорее удирают назад, но им всем скоро будет хана, так говорит и мой батько.

— Добрый ты парубок, Сережа, да и вояка, наверное, не плохой; знаю тебя еще с детства, — сказал Петр, дружески положив руку ему на плечо. — Ведь наши паевые наделы земли возле хутора Сосыка почти рядом. Я добре помню, шо завзятым отчамахою всегда был, розбышака, чужих парубков часто лупцевал, а дивчатам просто проходу не давал.

— Он и теперь такой, — заметил Федька Цыгикало. — Як поймав яку дивчину, то вже не вырвется.

Все засмеялись.

— Ты, Петр Тарасович, наверное слышал уже, что теперь всю нашу казачью землю будут разделять поровну не только на баб и детей всех, но и на городовиков, — серьезно сказал Дрофа.

— Как на всех? И на взрослых, и на маленьких, и даже на пришельцев иногородних?

— На всех поровну! И на тех, что только сегодня народились, и на тех, что вчера прибыли на жительство в станицу. Пропадет наша казачья земля, надо защищать исконные наши права на землю Кубанскую. И мы не сидим сложа руки. Теперь у нас организовались уже крупные отряды казаков, для борьбы с большевиками. У полковника Сухенко вблизи Копанской до шестнадцати тысяч штыков и шашек, несколько тысяч у Сидельникова, в каждой станице есть готовые отряды из офицеров и казаков. Наши станичники, ушедшие за границу из Новороссийска и Крыма, все время пишут, что не сегодня-завтра они все появятся на Кубани и всеокрушающей лавиной уничтожат всех большевиков. Говорят, что возле Ейска и Новороссийска, в Азовском и Черном морях стоят наготове тысячи кораблей с нашими и иностранными войсками. Там на кораблях все наши несдавшиеся казаки и офицеры, там может и брат твой Никифор. Ты же сам, когда ехал домой с фронта, говорил своим казакам, чтобы "припрятали оружие, авось пригодится", и сам, наверное, припрятал, вот оно теперь и пригодится.

Выслушав такую весьма преувеличенную чисто пропагандную речь бывшего сотника Дрофа, Петр не очень вял его призывам, а опустив голову, сказал:

— Офицеры Доброармии и теперь есть по станицах Кубани, только "нашими" я вряд ли назову их, а когда "наши" придут из заграницы, не знаю, — тем самым он намекал о тех офицерах-деникинцах, которые при отступлении белых оставались на Кубани по заданию, мстить всем кубанцам за развал фронта. — Ничего я сейчас не скажу вам, — добавил он, — подумаю.

— Дело твое, я ничего насильно не навязываю, я только сказал тебе правду о нашей судьбе, — сказал Дрофа, оглянувшись кругом. — Нам надо уходить отсюда, пока никто еще не заметил нас. Хорошо подумай о том, что я сказал тебе, и если надумаешь что наше, пойди до Веремия Волошко, батька Сережи, и там получишь

все нужные указания. Надеемся, что ты не выдашь Сережу? Прощевай!

И все трое повернувшись сразу же прошли за скирду соломы, потом, стараясь быть незаметными, пошли со двора Кияшко тем же путем, что и пришли, через огороды и сады прилежащих усадебных участков хлеборобов.

Только они скрылись за межей соседней усадьбы, как на улице, с лицевой стороны двора, показался Николай Шевченко. Увидев Петра, он, никого не спрашивая, открыл калитку и подошел к колодезному срубу.

Друзья никогда не таили друг от друга никаких секретов и Петр сразу же рассказал ему о визите Дрофы и двух его соучастников.

— К тебе приходил сотник Дрофа и предлагал бороться с красными, а ко мне недавно приходили Яценко и Демид Бондарь, недавние красные партизаны и призывали меня записаться в отряд Тита Краснопольского, чтобы бороться против антисоветского отряда Дрофы, — сказал Николай.

— Вот интересная бы картина получилась, если бы я из отряда сотника Дрофы, а ты из красного отряда Краснопольского, да и помчались бы с шашками на голо друг против друга! А?

— Этого никогда не будет, ибо я драться против тебя никогда не буду и, знаю, и ты против меня не будешь.

Петр обнял и поцеловал друга.

— Кстати, — добавил Николай, — Тит Иванович готовится к большому наступлению против белых степных казаков и ведет в свой поход не только весь свой отряд красных добровольцев, но и всех чекистов и комсомольцев. Но общее командование над отрядом Краснопольского берет на себя сам Закидальский.

— Закидальский? — Петр криво усмехнулся. — И ты пошел бы под командой этого типа против Сережи Волошко и других наших молодых казаков?

— И не думал никогда! Я тебе сказал только, что они предлагали мне к ним идти, но я отказался. И ни тато, ни Гашка на такое дело меня не пустят из дома. Если бы по мобилизации, то...

— Я тоже ничего не обещал Дрофе и никуда не собираюсь идти: ни к белым ни к красным. Но что нам делать с этим Закидальским? — с тревогой сказал Петр.

-- Ведь ему надо избавиться от нас любыми средствами! Кому бы заявить об этой личности?

— Кому ж? — усмехнулся Николай. — Теперь у нас предревкома Минько, а ты знаешь кто он? Может он такой же "Минько", как и "Закидальский"? Правда, комиссар станицы Фоменко наш казак, но он только сидит возле них, а они на него вообще ноль внимания: сами что захотят, то и делают.

— Яков Иванович Фоменко наш человек, но он в такие дела вряд ли захочет вмешиваться. Если же ему сказать наше подорзение, а он передаст это самому же Закидальскому, тогда в первую же ночь нам обоим амба. Какими документами мы докажем нашу правоту?

— Никаких документов у нас нет, а наше заявление, как бывших беляков, ясно никого не удовлетворит. Все же интересно, с какой целью он вдруг поехал за Ею на Донскую сторону? Не в Отрадовку ли? Вот бы где можно его разоблачить и накрыть.

— Накроешь! — усмехнулся Петр. — Ездил он на Донскую сторону ясно с какой целью, и ясно до кого, но с твоим предложением мы уже опоздали: он уже вернулся, я сам издали видел его во дворе правления станицы, или, как теперь называют, комиссариата. Конечно же он ездил в Отрадовку за нужной о нас информацией, несомненно узнал не только наши фамилии и имена, но и все остальное, теперь тут состряпает любое дело против нас, и доказывай, что ты не верблюд.

— Да, наше дело дрянь, — наклонив голову тревожно сказал Николай. — Что-то надо придумать: или действовать в открытую, кто кого, или... скрыться.

— Нам с тобой то скрыться можно, а семьи наши? Если мы скроемся, что сотворит Закидальский с нашими семьями?

— Так, так, рисковать собой мы можем, но подвергать опасности семьи наши нельзя. Но если мы пойдем в отряд Дрофы или Мозуля, то наши семьи тоже не пощадят! Может, лучше все же, записаться хоть временно до Тита Краснопольского?

Петр сердито глянув на друга, молча пошел в дом, даже не протрившись.

Посмотрев ему вслед и немного потоптавшись на месте, Николай вышел в калитку на улицу и тоже пошел к себе домой.

ГЛАВА 6.

На второй день после разговора с Дрофою и Николаем Шевченко возле своего колодца, Петр направился на станичный базар, чтобы не только попробовать купить себе что-либо из одежды, но и "понюхать", как он говорил, чем там теперь среди людей "пахнет".

Он знал, что все магазины и небольшие лавки торговцев на базаре теперь были пусты. Не то, что текстильных изделий, готовой одежды и обуви, но не было даже предметов первой необходимости: соли, сахара, керосина, спичек, и т. д. Советские рубли совсем обесценились. Куцые бумажки, на которых стояла цифра "тысяча" — или "миллион" рублей, носили чуть ли не мешками, но купить что-либо за них было невозможно.

Крестьяне Средней и Северной России, волной хлынувшие на Кубань из-за голода, иногда выносили на базар свои кустарные изделия из полотна, или самодельные деревянные ложки, но и за такой свой "товар" они не хотели брать обесцененные бумажки, а просили "балабушку" хлеба или другие продукты.

Петр отлично знал о такой торговле на базаре, но все же пошел туда поглядеть и "понюхать". Среди десятков местных женщин, продававших лук и кислое молоко — "закваску", он заметил и много чужих людей в лаптях и коротеньких желтых кожушках, сновавших взад и вперед по базарной площади и предлагавших местным жителям свой труд, хотя бы только за "харчишки". Другие предлагали кое-что из простой крестьянской одежды, но тоже за "харчишки". Говор у этих людей сильно отличался от местного, Кубано-черноморского, и некоторые казачки часто насмехались над ними, слыша их речь:

— Вот приехали мы то на энту Кабань, бялого хлеба отведать-то, а тут и нетути энтого, чаво нам давеча сказывали-то. Говаривали нам то, што на Кубани пашаничка-то особенная, с зернышками што твои яблоки курские, а балабушечки бялые-бялые растут-то на каждом кустике, словно грибочки в наших лесах-то. Ать и здесь нетути балабушек на кустах-то!..

Таким наивным людям, хлынувшим с холодного и голодного севера на теплый и хлебообильный юг, и на хлебобобной Кубани не сладко пришлось. Местное на-

селение на пришельцев глядело косо и на работы не брало.

Эти "лапотники", — так насмешливо называли их в станице, — ходили по улицам, остановившись у забора казака, стучали палками о деревянные заборы и вызвав этим хозяина, как обыкновенные нищие, просили себе милостыню: "кусочек хлебушка, ради Христа". Хозяин редко какой им отказывал, выносил ломти хлеба или еще что-либо съедобное. Таких просителей многие называли "тракторами", от неправильно понимаемого слова "траковать", то-есть стучать палкой по доскам, хотя слово "траковать" имело совсем другое значение. Это была насмешка над словами Ленина.

— Сказал Ленин, что даст трактора хлеборобам, вот они трактора и пришли к нам, — иронизировали некоторые. — Каждый день трактуют об доски наших заборов...

Некоторые крестьяне, прибывшие на Кубань из Воронежской, Курской и Тамбовской губерний, привезли с собой самодельное полотно, кое-какую простую одежду, меняли это на продукты питания, или же продавали по фантастически высокой цене...

Петр Кияшко целый час ходил среди разношерстной толпы на базаре, прислушиваясь, приглядываясь, выискивая что-нибудь подходящее для покупки. Наконец, у одной молодой приезжей он купил белую полотняную рубашку, за... пятнадцать миллионов рублей!

— Ах, мил человек, кабы ты достал мне кусочек сальца, аль балабушку пшаничного хлебушка, — сказала улыбающаяся красавица, пряча деньги, — то для тебя я и платьице сняла бы с себя, хотя под платьицем то ничегошенько больше и нету на теле-то.

— Вот ты, какая! — усмехнулся Петр. — И как же ты могла бы остаться здесь без платья, когда под ним ничего больше нет? В "костюме" Евы? Тут же вокруг нас люди!

— И, родненький, что же здесь невозможное-то? — Мы бы прошли вон туда, — и она показала в сторону заросшего кустарником и разными деревьями старого большого кладбища, находящегося недалеко от базарной площади. — Принеси сальца и балабушку, тогда мы пойдем с тобой на энто кладбище, там живых людей нет, да за густыми деревьями никому и не видно будет. Я смело сниму с себя платьице, а... если захочешь по-

лучить от меня в придачу еще "что-то", отказа не будет. Я не гордая!

— Поёшь ты, красавица, как Курский соловей.

— Я курская и есть, но разве я тебе пела что плохое?

— Но где бы я тебе сейчас достал сальца и балабушку?

— А ты сходи, принеси, я в стороне подожду.

— Нет, курский соловей-пташечка, не хочу я ни твоего последнего платья, ни твоей "придачи"? Купил вот у тебя сорочку, сделал тебя миллионершей, и хватит, — и не желая ее больше слушать, Петр махнул рукой и отошел в сторону от нее.

Он развернул купленную рубашку, посмотрел, засмеялся и так, широко улыбаясь, и пошел по базару дальше, прижав к себе свою покупку.

— Чего это ты, Петр Тарасович, так весело улыбаешься? — сказал встретившийся с ним учитель Александр Кудрявцев, сын священника Покровской церкви, Петра Кудрявцева.

— Да как же мне не смеяться, Александр Петрович, — сказал Петр. — Много ли раньше в России было миллионеров, тем более на Кубани, а теперь и я миллионер. Сейчас вот купил полотняную сорочку и знаете сколько заплатил? Пятнадцать миллионов рублей! Ха-ха-ха! Да еще и в кармане осталось больше десяти миллионов.

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — захохотал и Кудрявцев. — Значит большевики не обманули нас: обещали богатую жизнь для всех, вот мы уже и стали миллионерами. Ты смеешься над ценой твоей покупки, а я тоже смеюсь над полученным банковским вкладом. Да и как не смеяться? Помнишь, кажется в одиннадцатом или двенадцатом году в нашей станице открыли банковское кредитное товарищество и при нем сберегательную кассу. Мой папа, отец Петр, возьми да и положи туда на хранение десять тысяч золотых рублей, одними золотыми пятерками и десятками. Теперь вот объявили, что прежние вкладчики кредитного товарищества, могут получить назад все свои вклады в банке, который открыт в том же здании, что и раньше. сегодня я пошел в этот банк, предъявил нужные документы, расписался, где следует и мне выдали небольшую коричневую бумажку, на которой стояла цифра "10.000 рублей". При-

дя сюда на базар, за эти десять тысяч рублей удалось мне купить, да и то из под полы, только одну коробочку спичек. Ха-ха-ха!

— И я купил бы спички за такую цену, но не могу найти...

Посмеявшись еще над обесцененными деньгами, Кудрявцев отозвал Петра в сторону, оглянулся вокруг и полушопотом, сказал:

— Всему такому большевитскому хаосу скоро будет конец. Наши воины не сегодня-завтра будут опять на Кубани. Миллионная армия союзников и наших белых воинов на тысячах кораблей находится уже в Черном и Азовском морях и ждут приказа о высадке десанта. И это несомненно будет! Знаешь, как сказал недавно премьер Воликобритании Ллойд Джордж: "Советская власть в России, это обыкновенный цветочек на нашем поле. Когда захотим, тогда и сорвем его". Ясно и понятно! И этот "цветочек" скоро будет вырван с корнем. Слушай: в доме батюшки Петра, моего папы, чуть не каждый вечер собираются наши белые офицеры, оставшиеся на Кубани при отступлении Добровольческой армии генерала Деникина, и они все новости точно передают нам. И нам нужны верные люди, такие как ты, господин хорунжий. Приходи, Петр Тарасович, вечером в наш дом, поговорим по душам, познакомимся с нашими офицерами...

Петр ничего не ответил, поспешно простился с Александром Кудрявцевым и пошел на другую сторону базара...*)

ГЛАВА 7.

Перейдя на другую сторону базара Петр неожиданно встретился с Оксаной Токаревой, в девичестве носившей фамилию Кислая. Он очень обрадовался. И не только потому, что был знаком с ней и раньше, но она ему

*) У священника Покровской церкви в Старо-Минской Петра Кудрявцева было два сына: старший, имея офицерский чин, в семнадцатом году отправился на фронт с воинскими частями генерала Покровского и назад не вернулся. Другой сын все время оставался в станице и до 1928 года учительствовал в местных школах.

Ф. К.

как раз и нужна была теперь для очень серьезного разговора.

— Рад, очень рад встретиться с вами, Оксана Терентьевна, — сказал Петр, улыбаясь. — По какой причине вы в нашей станице сейчас?

— Петр Тарасович, мне нужно срочно говорить с вами по очень важному делу, — едва поздоровавшись, сказала Оксана полушопотом.

— Почему вы так официально величаете меня?

— А почему вы первый так официально обратились ко мне? — вопросом ответила она. — Впрочем, мы можем называть друг друга как угодно, хотя бы и по-прежнему, но дело не в этом. Я приехала в Старо-Минскую тайком и на базар пришла тоже глухими закоулками, чтобы не так заметили меня. Здесь я сейчас с единственной целью, чтобы встретить вас, или тебя, как хочешь, но беседовать нам здесь нельзя, если кто заметит и донесет тому, о ком будет речь, то...

— Понимаю, милая станичница, очень добре понимаю. И мне надо с тобою срочно поговорить и, конечно, не здесь. Пойдем сейчас же на это кладбище, там, возле могилы моего дедушки Охрима Пантелеевича, большие клены, акации и разросшаяся бузина и никто нас не заметит. Ты знаешь, где эта могила. Только придет туда не вместе и не сразу: ты пройди в западные ворота, а я обойду кругом кладбища и войду в восточные.

— Добре, Петр Тарасович, добре! Идите вы первым, потом я и... надо спешить, — и она, повернувшись от него, сразу же пошла к западным воротам кладбища.

Не заметив вблизи никого из знакомых, Петр, быстро обогнув кладбище, вошел в восточные ворота и вскоре очутился среди бузины и кленовых деревьев возле могилы Охрима Кияшко. Почти одновременно, но с другой стороны, туда же пришла и Оксана Токарева, оглядываясь во все стороны...

— Знаете шо, Петро Тарасович, или "Петрусь", если хочешь; суть дела не во взаимном обращении, — полушопотом сразу же начала Оксана. — Хотя ты посмеялся надо мною уже дважды, дразнил "Дурносмихом", но я не злопамятна: то все прошло. Впрочем второй раз, в Отрадовке, твоей вины и не было: я сама захотела пожартовать с лукавым, — и она слегка загоготала, но тут

же спохватившись умолкла и приняла прежний серьезный вид.

— Прости, Оксаночка, много раз виноват перед тобой, прости, не помни зла, — искренним тоном ласково говорил Петр. — Шо ж, "кто був молодым, той нэ був и дурным", так у нас говорят. И я, тоже: еще в юности насмехался над тобою... Теперь же я гляжу на тебя не только как на станичницу-казачку, но и как на самого преданного друга. Говори же скорее: шо ты важное хотела сказать мне?

— Я не вижу причины особенно обижаться на тебя, а прощают или не прощают только виновного, но твоей вины и нет большой. Откровенно говоря, мы оба хотели немного погрешить, а кто вообще без греха? Отставим эту балачку *) на другой раз, сейчас нам не до этого. Находясь тут вместе с тобой, я может рискую жизнью, но мне жалко тебя, Петрусь, ведь я всегда тебя любила. Так вот, слушай: тебе угрожает страшная опасность и очень скоро. И не только тебе, но и батьке твоему и многим другим. Я всю эту ночь не спала, все думала, как бы предупредить тебя, а на рассвете оделась в старую крестьянскую одежду, повязала лицо платком так, лишь очами видеть и кружной дорогой приехала сюда, чтобы обязательно встретиться с тобою. Если бы не встретила на базаре, поехала бы к вам домой, чтобы сказать тебе об опасности. Пусть, потом, Даша твоя, как угодно думала бы о нас...

— Скорее же говори, Оксаночка, главное, об опасности!

Оксана еще раз оглянулась и почти шопотом, сказала:

— Позавчера приезжал ко мне в Отрадовку ваш главный чекист Аврам Закидальский и с ним его помощник. Ты знаешь, кто такой на самом деле этот Закидальский? Это мой злонамеренный муж, бывший полковник Белой армии Токарев. Помнишь, когда ты и Николай Шевченко вместе с ним покинули наш двор в Отрадовке за несколько дней до прихода красных? Когда я тебя угощала... самогонкой, и... помнишь? Он вовсе не эмигрировал тогда за границу, как об этом некоторые говорят, а скрылся в станицах Кубани и остался.

*) Балачка — разговор.

Теперь же он перекрасился под советского "Аврама" и служит карателем...

В личности "Закидальского" Петр заподозрил тоже самое еще на Христо-Рождественской площади после расстрела Костенка и Гавриша, но немного сомневался. "Мало ли на свете бывает двойников, весьма похожих один на другого, — думал он. Но когда это сейчас подтвердила его жена, Оксана Токарева, все сомнения исчезли. Приблизив свое лицо к ней вплотную, он с волнением шептал:

— Говори еще, Оксаночка, говори главное о чем он тебе говорил?

— Многие он тогда мне рассказал, — продолжала Оксана, прижавшись спиной к стволу клена, чтобы не упасть от так придвинувшегося к ней Петра. — Он учинил мне форменный допрос, то ласково, то с угрозами. Особенно он хотел знать имена и фамилии тех староминчан, которые тогда в нашем дворе кормили своих коней и вместе с ним ехали на Кубанскую сторону. Я сначала отнекивалась, но он строго сказал: раз я сама из той же станицы, то знать должна хотя бы одного! Не подумав хорошо для чего это ему нужно, я дура назвала и твое имя, и Николая, и даже твоего батька. Потом, выпив самогонки он так разболтался, шо аж тошно мне стало. Он рассказал, как тогда, когда стали подъезжать к нашей станице, вы не послушались его и даже чуть не зарубили шашкой, как он с одним лишь своим поручиком выехал из Старо-Минской и степью "манивцами"*) добрался до хутора Албаши и там остался в доме одного богатого хлебороба. Жил там, спрятавшись и не показываясь, месяца два, потом связался с другими деникинскими офицерами, тоже по разным причинам застрявшими на Кубани, но сумевшими уже устроиться служить в советских учреждениях. Каким-то нечестным путем в Ейске он добыл документы на имя "погибшего без вести" коммуниста Аврама Закидальского, стал работником Чека и его вскоре направили в Старо-Минскую во главе Особой тройки трибунала. Он также говорил, что деникинских офицеров на Кубани много, и что они, устроившись в советских гражданских или военных уч-

*) Манивцами — помимо дороги, напрямик.

реждениях, будут стараться мстить казакам за то, что осенью девятнадцатого года бросили фронт и не захотели воевать против красных. Обманывая новую власть и, якобы, преданно служа ей, они в то же время своими действиями будут вызывать неудовольствие среди местных жителей и ненависть к советской власти. Отъезжая он сказал в заключение: "Теперь эти твои два станичника-офицера попляшут передо мной! Они мне опасны и мне их нужно немедленно сплавить, а возможности для этого у меня неограниченные.

Также он строго предупредил меня, что если я перед кем хоть одним словом проболтнусь о его посещении и нашем разговоре, то он пристрелит меня, как собаку, не жалея и детей, его же детей. В его руках сейчас сила, он несомненно найдет предлог арестовать и тебя, и Николая, и "сплавить", как он говорил, а потом наверняка доберется и до меня: я тоже ему буду опасна.

Вот какие вести привезла я тебе, не боясь, что этим я рискую своей жизнью. Веришь ли теперь, как дорог ты для меня?

— Милая Оксанушка, конопляночка моя дорогая! Да как же я не смею верить, таким правдивым вестям? — и прижав к стволу клена, он крепко поцеловал ее. — Я узнал твоего супчика еще при казни наших станичников, но полностью не был уверен. Высказывал свои подозрения и Николаю, но и тот сомневался. Теперь же никаких сомнений не осталось: это "он"! И как ты была женою такого двуличного типа, хотя вряд ли ты виновата в своей судьбе: виноваты мы, бывшие парубки разбышаки, в том числе и... я. Но не помня обиды, ты так доверчиво и своевременно известила меня об опасности, рискуя даже жизнью своею. И как мне тебя после этого не любить?

— А... Даша?

— Что ж, Даша моя жена, не скрываю, люблю я ее, но как мне не любить и тебя, Ксюшенька, любить как преданного друга, ради меня рискующего своей жизнью, как честную и добрейшую станичницу? Но ведь Бог, говорят, грехи юности может простить, — и он прижал ее к стволу. Не очень уклоняясь от его поцелуя, она только шептала:

— Пусти, Петенька, не надо! Вдруг кто наткнется и увидит нас в таких объятиях? Не сплетен дурных я

боюсь, но как бы это не стало роковым и для тебя, и для меня. Пусть лучше будет... в другой раз.

— Ты права, Оксаночка, оставим это на другой раз. Не место здесь! Ведь мы просто кощунствуем у могилы моего дедушки. Отставим! Да и спешить нам надо! Когда все кончится благополучно и мы встретимся опять, но в другом месте, тогда... Скажи только одно, добрая советница, что же мне теперь делать?

— Тут уж я не знаю, что и сказать? Я предупредила тебя, а ты сам уж придумывай, что делать. Скажу одно: спасайся любыми средствами! Если для спасения жизни своей и других близких тебе ты и совсем сплывишь его, я огорчаться особо не буду. В порядке же самообороны все средства можно применять. Я и раньше его полностью не любила, а теперь он стал мне еще более ненавистен: служит и вашим и нашим, как двуличная б..., прости за выражение. И если в борьбе за собственную жизнь ты совсем прикончишь такого хамелеона, то пусть грех твой будет на мне.

— Почему мой грех должен быть на тебе, Оксаночка? И грехом ли надо считать такое действие, когда в борьбе ты спасаешь жизнь не только себе, но и другим? Он погубил уже многих в нашей станице и если от него не избавиться немедленно, то погубит еще больше: в первую очередь меня, потом других, да и тебя не пощадит. Впрочем, Оксаночка, нам с тобой в рай все равно не попадать, так давай лучше беречь свою земную жизнь. И запомни: всю жизнь я буду о тебе помнить и любить больше всех.

— "Любить"! — с иронией повторила Оксана. — Когда же я увижу твою настоящую любовь ко мне?

Забыв все на свете, Петр только хотел со всей страстью обхватить ее стан, но в это время недалеко от них за деревьями послышался мужской говор и он отступил.

— Не забывай меня, Петрусь, приезжай! — жалобно прошептала Оксана. — Я живу там же, в Отрадовке, ты знаешь. Когда минет опасность, навести меня, пожалуйста!

— Даю честное казачье слово: обязательно приеду к тебе в гости. Не забуду никогда, навещу! — сказал Петр высокопарно и они разошлись...

ГЛАВА 8.

Вернувшись с базара домой, Петр сразу же рассказал отцу все, что узнал от "авторитетных лиц" о личности Закидальского, но о встрече с Оксаной умолчал.

— Нам нечего бояться, — сказал Тарас Охримович. — Из нашей семьи в отрядах степных казаков никого нет, и связи я с ними никакой не имею, следовательно и причин у ревкома никаких нет, чтобы брать меня в заложники, или тебя арестовывать. На каком основании?

— Причины всегда найдутся, если они того захотят. Никифор то наш где? Думаете в ревкоме неизвестно, что он ушел с белыми за границу? Да и на наше хозяйство завистников много, кое-кто не прочь поживиться.

— Оно то так, но... просто не знаю, что тебе и посоветовать. Ясно, что Закидальскому ты опасен и он, имея власть в своих руках, постарается от тебя избавиться. Тебе можно, конечно, легко уйти в отряд Дрофы или Мозуля и скрыться, но тогда нас уж наверняка не помилюют: сразу же расправятся. Да собственно говоря, по моему, из этих отрядов, или банд, как их называют в ревкоме, никакого толку не будет: только невинных людей будут губить, а потом и сами погибнут. А... шо як бы ты записался в отряд Краснопольского, вместе с Николаем, а? Тогда бы никто не посмел нас тронуть и ты был бы под защитой закона.

— Шо вы, батя! Хотите, чтобы я пошел сражаться против Сережи Волошко и Федьки Цыгикала? Никогда!

— Послухай, сыну, шо я думаю! Это нужно только так, для отвода глаз. Вот я сегодня пойду до Веремия Волошки и расскажу про твои намерения и почему так нужно. Он передаст кому надо и ни ты в Сережу, ни он в тебя, стрелять не будете. Лучше всего ты сам сходи, может там встретишь и Сережу, и еще кого-нибудь из его товарищей.

— Добрэ, батя, я догадуюсь о вашей думке и сам пойду до Волошки домой. Я скажу Сергею, а он секретно передаст другим, чтобы во время скорого боя, который будет на днях, они главную мишень имели Закидальского, но чтобы по мне и по Николаю не стреляли, бо мы в отряде для другой цели. Если в бою Закидальский перевернется, то я тогда на следующий же день вернусь домой и моя служба у Краснопольского кончится: мы же добровольцы у него. Если же паче чаяния

из боя он ускользнет живым, тогда придумаю что-нибудь другое: или буду "взят в плен" отрядом белых казаков и "пропаду без вести", или еще останусь немного у Краснопольского...

Так Петр и сделал. Вечером того же дня, он и Николай Шевченко задворками прошли в сад Еремея Волошко, по за скирдами соломы пробрались к его большому сараю, где находился разный сельскохозяйственный инвентарь, и там встретились с Сережей и Федькой Цыгикало.

— Вот шо Сережа, слухай шо я тебе скажу, — сразу же начал Петр. — Наш предчека Закидальский уже много зла сделал станичникам, но это только начало. Я имею сведения, что он собирается взять заложниками и твоего батька, Вэремия Логвиновича, и моего, и батька Николая, чтобы потом расправиться с ними так, как уже расправился с Гавришем и Костенко. Нам надо его немедленно убрать.

— Да он у нас давно намечен к ликвидации, но как это сделать, когда он из станицы почти никуда не выезжает, а если куда и едет, то берет чуть ли не сотню вооруженной охраны, — озабоченно сказал Сергей.

— То я знаю, но представляется другой удобный случай. В ближайшие дни выступят против ваших отрядов из нашей станицы две сотни красных, которыми будут командовать не только Краснопольский, но и сам Закидальский. Но не в этом дело сейчас. Пока они надумают выступить пройдет несколько дней, а за это время наших отцов могут не только забрать в заложники, но даже успеть и расстрелять. Чтобы не допустить этого, я и Николай решили записаться в отряд... Краснопольского и вместе с ним выступить против... вас. Не удивляйтесь, станичники, и не бойтесь! Не только мы, но и многие казаки из отряда Краснопольского стрелять по вашим казакам не будут. И ваши не должны стрелять по нас. Передайте это командиру Дрофе и другим. В первую очередь надо кокнуть Закидальского, можно не обойти и Краснопольского и их штабистов, а позже я потом расскажу тебе, почему именно его надо в первую очередь кокнуть, а не других. Если же паче чаяния Закидальский уйдет из боя невредимым, тогда вы должны взять меня "в плен". Понял?

— От меня не уйдет, лишь бы показался в степи,

— вынув из карманов два нагана и потрясая ими, сказал Сергей.

— Не сомневаюсь, Сережа! А в начале боя, я сам укажу тебе на эту личность . . .

На второй день после этого разговора Петр и Николай зашли в штаб добровольческого отряда Краснопольского и оба сказали, что больше не могут безразлично наблюдать бесчинства бандитов, и чтобы скорее покончить с этой бандой и наладить мирную и спокойную жизнь в станице, они хотят своим личным участием помочь отряду.

Вслушав такие серьезные рассуждения и зная обо их еще парубками, Краснопольский без долгих расспросов охотно включил в свой отряд этих новых добровольцев, распорядившись сразу выдать им и оружие.

— Обучать вас обращению с оружием нет времени, да в этом нет для вас и надобности, — сказал Краснопольский. — На своем веку за две войны вы пристрелялись достаточно, хотя и впустую, но об этом не будем вспоминать: вряд ли вы в этом виноваты. Завтра же мы всем отрядом выступаем в сторону Новоминской, против сгруппировавшихся там за водокачкой банд Сидельникова. Утром на оседланных конях своих быть здесь наготове!

— Есть, быть здесь наготове!

Петр и Николай по-старому козырнули Краснопольскому, повернулись по-военному налево кругом и чеканным шагом вышли из штаба.

— А мне Тит Иванович нравится, — сказал Николай, когда они вышли от Краснопольского на улицу. — Он хотя и не казак, но коренной житель нашей станицы и разбирается во всех делах неплохо. Может следовало бы ему сказать о личности Закидальского?

— Нет, не стоит, да и не поверит он, — сказал Петр. — Предчека Аврам и предревкома Минько в своих руках держат всю власть в станице, а под их началом находится и Краснопольский. В нашей станице есть еще комиссар Фоменко, но он в такие дела не захочет вмешиваться, да предревкома на него всегда ноль внимания. Даже если бы Тит Иванович Краснопольский отнесся и серьезно бы к нашему донесению, то и тогда мы не избежим опасности. Пока начнут производить серьезное расследование (если оно будет вообще возможным), будут спрашивать Оксану и других, то Заки-

дальский, узнав о нашем донесении, за это время успеет с нами расправиться. Не пощадит он и Оксаны. Нет, пока никому ничего не надо сообщать. Посмотрим, что получится из предстоящей боевой стычки красных казаков Краснопольского с белыми казаками Сидельникова и Дрофы, а потом уж лучше решим, что нам делать дальше.

— Пожалуй ты прав, — сказал Николай. — Пока никому об этом ничего не надо говорить.

И Петр с Николаем решили пока молчать. Они быстро пошли домой, чтобы успеть хорошо подготовиться к ближайшему боевому походу. Придя домой, они в первую очередь нацепили вертикально на своих шапках красные ленты, чтобы и у них было так, как у добровольцев Краснопольского и стали чистить седла и коней...

ГЛАВА 9.

Сближение отряда красных добровольцев с антисоветской группой Сидельникова и Дрофы для открытого сражения было не на следующий день, как говорил Петру и Николаю Краснопольский, а три дня позже.

Событие это произошло в степи весной, недели две-три после Пасхи.

Красноармейский отряд, в котором были местные казаки, иногородние, бывшие красные партизаны и особый взвод Че-Ка, на рассвете тихо выехал из станицы, миновал стороной вокзал Ейской железной дороги и открытой степью направился в сторону Новоминской. Выслав разведку, впереди отряда, на хороших строевых конях, ехали командир Тит Краснопольский с адъютантом Скибою, родным братом его жены, и вестовым. Рядом с ними, но как-то обособленно на таких же боевых скакунах двигались Аврам Закидальский, со своим неразлучным помощником и комиссар отряда местный коммунист Золотарев. Петр и Николай находились в средних рядах отряда.

Вскоре разведка донесла, что километрах в десяти от них, в "подыне" (долине-степной впадине) замечена большая вражеская конная группа, которая движется навстречу отряда Краснопольского. Это и был большой антисоветский отряд сотника Дрофы, усиленный

другими небольшими группами и командовал всем отрядом сам полковник Сидельников.

Противники шли не по дороге, а напрямик через поля и пастбища и сотни их коней безжалостно топтали ровные рядочки зеленеющей пшеницы и ячменя. Не слышно было ни выкриков командования, ни одного выстрела. Противники сближались, готовясь к атаке. Можно уже было разглядеть белые полоски на шапках повстанцев, а последние, несомненно, заметили красные ленты на шапках краснопольцев.

Когда противники сблизились настолько, что между ними осталось почти пол километра, не Краснопольский, а Закидальский выхватил из ножен шашку, взмахнул ею вправо, влево и зычным голосом подал команду:

— В атаку, маршем марш!

И кавалерийская лава, рассыпавшись вправо и влево понеслась навстречу противнику. Но сам он не помчался впереди отряда, а вместе с Краснопольским и своими помощниками сразу же осадил коней в сторону, чтобы конная атака не захватила их своей лавой.

В отряде противника тоже блеснули обнаженные шашки и лучи утреннего солнца ярко отразились на стали дедовского холодного оружия. И обе кавалерийские лавины наметом полетели одна на другую.

Но вместо ожидаемой кровавой рубки, с обеих сторон вдруг раздались такие дружеские приветствия:

— Доброго здоровьячка, Иван Васильевич!

— Здорово, кум Мыкола!

— Сват Михайло! Так это ты, значит, с шаблюкою на меня летел? Чи ты нэ сказывся? Та мы ж еще и не христосовались в этом году! Христос Воскресе!

— Та то я в шутку, вгадав турка. Воистину Воскресе, сват Мыкыта! — И казавшиеся недавно "противники", подъехали друг к другу вплотную и не сходя с коней трижды, по пасхальному обычаю, поцеловались.

Обе кавалерийские группы смешались, но шашки были вложены в ножны, ни одного выстрела, а все начали здороваться и христосоваться с знакомыми старичниками.

Полковник Сидельников со своим помощником тоже не выскочили с шашкой впереди своего отряда, а отъехав в сторонку молча наблюдали неожиданную картину боя. Видя начавшееся братание обеих групп каза-

ков, они повернули коней назад и помчались в сторону Ново-минской.

Возглавители красного отряда, — Краснопольский, Закидальский с помощником, Скиба и Золотарев, — вместо ожидаемого боя, заметив такое братание казаков, тоже повернули коней назад и помчались в Старо-Минскую, но удрать им всем не удалось. Из группы белых повстанцев выскочил сам сотник Дрофа, Сергей Волошко и другие казаки и наметом помчались наперерез красным возглавителям. Дрофа погнался за Краснопольским и хотел его взять в плен живым, но последний быстрее его мчался на отличном строевом коне, подарке тестя Скибы и виляя из стороны в сторону, благополучно скрылся в станицу. Заметив жест Петра, показавшего живую мишень, Сергей сразу же погнался за Аврамом Закидальским, через минуту-две настиг его и взмахнув шашкой рассек его на две части. В тот же момент сбоку раздался выстрел, один и другой, одна пуля звякнула о край лезвия шашки, другая задела шапку Сергея. Это стрелял в него помощник Закидальского. Сергей мигом выхватил два нагана и выстрелил одновременно из обоих, но вместо человека, попал в его лошадь, которая, падая, придавила собой и всадника.

— Ах ты красный бандит, кровопиец казачий, вот я тебя, — и Сергей, редко любивший пользоваться горячим оружием, опять выхватил шашку и занес было ее над головой поверженного на землю противника, но тот вдруг крикнул:

— Я не красный, я подпоручик Темнов, служивший в армии генерала Май-Маевского. И зарубленный вами Закидальский тоже не красный, а белый офицер.

Сергей оторопел; верить ему или не верить. Он так и стоял с приподнятой шашкой, не зная на что решиться, пока к нему не подъехали Петр, Николай и другие казаки.

— Чего ты, Сережа, так долго примеряешь шашку? — спросил его с усмешкой Петр. — ПредЧеКа располосовал по-казачьи, а над этим задумался, или может своего опознал?

— Ты послушай вот, что он говорит, а потом дразнись, — не опуская шашки, сказал Сергей.

Подпоручик молча и не понимающе мигал глазами и никак не мог понять: кто возле него находится, красные или белые?

— Повтори еще раз, только говори правду, иначе зарублю, — Сергей еще более угрожающе поднял над ним шашку.

— Повторяю: я подпоручик Темнов, а только-что зарубленный тобою на самом деле не чекист Закидальский, а полковник Белой армии Токарев...

Петр широко улыбнулся, и повернувшись к Николаю прошептал:

— Лучшего исхода от сегодняшнего сражения нам и не нужно.

Потом повернувшись к Темнову серьезно сказал:

— Вот что, господин подпоручик: напишите сейчас же рапорт на имя полковника Сидельникова и мы быстро перешлем его по назначению. А то видите, не зная вас, эти хлопцы могут и вас зарубить, как Закидальского.

Помощник Закидальского достал листок чистой бумаги и четко написал:

"Его высокоблагородию, полковнику Сидельникову... Имею честь доложить Вашему высокоблагородию, что я, подпоручик Темнов, по заданию Штаба Освобождения до сего дня находился на службе Че-Ка Старо-Минской под именем чекиста Сватикова, хочу прибыть в штаб вашего Освободительного отряда, так как на старом месте оставаться дальше опасно. Довожу также до вашего сведения, что полковник Георгий Токарев, бывший во главе Че-Ка в указанной выше станице под именем Аврама Закидальского, сегодня убит вашими казаками при сражении под Новоминской..."

Подпоручик С. Темнов (Сватиков)..."

Едва тот кончил писать, Петр выхватил у него из рук рапорт, бегло прочитал и спрятал себе за пазуху.

— Этот рапорт написан для полковника Сидельникова! Зачем же взял себе? — сказал Сергей Волошко. — Ты же... или, может, ты тоже с нами теперь?

— Я... со всеми, вернее... ни с кем, — сказал Петр. — Станичник Сережа, ты меня хорошо знаешь и прошу тебя, пока об этой записке никому ни слова! Так нужно. Рапорт его я сам доставлю, кому следует. Тсс! Вон едут сюда казаки и ваш командир, — и он глянул в сторону подъезжавшего Дрофы.

— Ну и кобылица же у Краснопольского, чорт бы

ее забрал, никак не мог на своем буланом догнать, — подъезжая к собравшейся группе казаков, сказал Дрофа. — Потом подозрительно окинув всех взглядом, добавил:

— Ей-Богу ничего не разберу: кто здесь наши, а кто не наши?

— Все мы свои станичники, — заметил Николай, — а на "наших" и "не наших" разделило нас такое проклятое время.

— Так то оно так, но все же...

— Братцы, казаки! А где же наши старшие командиры? — неожиданно громким басом выкрикнул здоровенный казачище Федор Балюк.

— Все первыми утекли с поля боя, и наши и красные, — с раздражением сказал Федька Цыгикало. — Разве в воинских частях такие должны быть командиры? Я хотя и в армии почти не служил, но точно знаю, что если ты командир, будь ты белый, красный, зеленый, рыжий или еще какой там, то не убегай первый и не оставляй своих воинов в бою одних! Э, "казала біла, нэ будэ діла"! — и он безнадежно махнул рукой, отъехал в сторону от всех, остановился и задумался.

— Конечно, Федька правильно сказал, но это ко мне не относится: я ведь от вас один никуда не убежал, — сказал Дрофа. — Не только Краснопольский, но и наш Сидельников удрал сразу же. Такие командиры не нужны и мы Сидельникова больше не признаем, а будем действовать самостоятельно, или же пойдем соединимся с большой группой казаков полковника Сухенко. Тот не подведет...

В это время Федор Цыгикало вдруг пустил коня наметом и поскакал к своей станице, не оглядываясь.

— Куда, куда ты поперся, Цыгикало!? — закричал Дрофа, но тот не обращал внимания на его крики.

Дрофа вынул большой многозарядный "кольт", но Петр став перед ним сказал:

— Не надо, сотник Дрофа, стрелять в своих станичников, вы же не знаете, куда и зачем он поскакал: может до своей дивчины...

Дрофа неохотно спрятал револьвер и вместо ответа предложил:

— Ваших командиров нет теперь, то пойдемте все с нами! Будем вместе бороться за казачью свободу. Или, может, поедете следом за Цыгикалом назад к Красно-

польскому? Так вас там сегодня же перестреляют всех за то, что целовались с нами!

— А не лучше бы нам всем вместе сейчас вернуться в станицу? — вдруг сказал Николай Шевченко. — Если бы такой компактной массой мы все вернулись в свою станицу и добровольно сдали оружие, никто бы вас не тронул. Ведь не только всем казакам ваших отрядов, но даже закоренелым бандитам, добровольно явившимся и сдавшимися обещано полное всепрощение и неприкосновенность. Все будем жить жирно со своими семьями...

— Если бы ты, Николай Васильевич, сказал это в другом месте, я бы тебя зарубил на месте не моргнув глазом, — сказал злобно Дрофа. — А обещание, которое ты по глупости повторил здесь, только для дурачков: вначале вроде как бы помилуют, а потом передышат всех, как курей. Да и мыслимо ли нам идти теперь в ярмо к аврамам?

— Я понимаю, о каких аврамах вы говорите, но имя Аврам есть и у казаков. Мой сосед казак Бирюк тоже с именем Аврам, так по вашему он тоже жид? А вон один сомнительный Аврам лежит, — и Николай показал на Закидальского.

— Нет, ваш номер не пройдет! Если же вы хотите драться с нами без своего Краснопольского, то мы готовы.

— И драться нам незачем. Если начали мирно день, давайте мирно и закончим его. Каждый может оставаться при своем мнении и если уж не можем быть вместе, то как сошлись, так и разойдемся сегодня каждый в свою сторону. Все мы дети одной матери Кубани...

Дрофа потливо посмотрел на Шевченко, хотел что-то сказать, потом отъехал к группе своих казаков и вместе с ними уехал в сторону хутора "Жовті Копані", где среди хуторян было много их сторонников. Состоящие же в отряде Краснопольского с сожалением посмотрели им вслед и собрались назад в свою станицу Старо-Минскую.

Подпоручик Темнов все время стоял вблизи своего убитого коня и ничего не понимал, что вокруг него происходит.

— А ты чего стоишь без движения и лупаешь очами, як баран? — с пренебрежением сказал ему Петр. — Садись на коня Закидальского и без оглядки айда с нами!

Темнов вздрогнул, глянул на всех, потом подошел

и сел на коня своего начальника, но ехать в станицу не хотел.

— Я хочу теперь с ними, а не с вами, — сказал он, показав жестом на отъехавший уже далеко отряд Дрофы.

— Нет, товарищ Сватиков, изволь ехать с нами! — и Петр с Николаем направив на него наганы, обезоружили его и заставили ехать с ними в станицу...

По прибытии к бывшему правлению станицы их чуть не арестовал взвод прибывших на подмогу новых красноармейцев и окружив, привел в ревком. В комнате предревкома сидели не только Минько и Фоменко с Краснопольским, но несколько незнакомых чекистов и матросов. Петр сразу же доложил всем, что сегодня произошло и о личности убитого Закидальского.

— Вы врете! Не верю! Не может быть, чтобы товарищ Закидальский оказался перекрасившейся контрой! — сурово произнес Минько.

— Это очень легко проверить, — спокойно сказал Петр. — Можно получить все данные у его жены, Оксаны Токаревой, проживающей в Отрадовке, но вы можете в этом убедиться и сию минуту. И стоящий здесь его помощник на самом деле денижинский офицер. Прочтите-ка вот этот свежий его рапорт Сидельникову и все станет ясно, — и он передал Минько листок бумаги с рапортом Темнова.

Подпоручик вспыхнув кинулся было, чтобы вырвать рапорт, но ему не удалось.

Прочитав написанное в листке, Минько побагровел и грозно спросил:

— Это вы написали?

— Так точно! — побледнев, но отчетливо проговорил Темнов.

— И убитый бандитами Аврам Закидальский на самом деле полковник Токарев?

— Так точно! Мы начали служить у вас, чтобы мстить кубанцам и приблизить падение Совдепии. Стреляйте, мне все равно! Я боролся за белое дело и честно исполнил долг русского офицера...

— Все ясно, благодарю вас, товарищ Кияшко, — сказал Минько и прочитав еще раз вслух рапорт Темнова, он послал Фоменка и Краснопольского в кабинет бывшего Пред-ЧеКа. Там в его столе сразу же нашли некоторые компрометирующие бумаги и список подле-

жащих аресту заложников, среди которых были Тарас и Петр Кияшко, Василий и Николай Шевченко и другие, против которых стояла пометка: "Расстрелять"! Исполнение этого намерения Закидальского задержало, вероятно, то, что Петр и Николай своевременно записались в отряд Краснопольского. В другом, приколотом к первому, списке было написано его рукой: "Гражданку Ксению Терентьевну Токареву немедленно арестовать и выслать из Отрадовки в отдаленный край вместе с детьми..."

Через полчаса после совещания Ревкома и чекистов, Темнова-Сватикова несколько матросов вывели со связанными руками на улицу, отвезли на подводе в рощу за станицу, откуда он не возвратился...

Петр и Николай той же ночью вернулись домой и больше в добровольческом отряде красных не служили.

С гнетущей думой шел Петр домой из Ревкома станицы. Особенно ему не давали покоя последние слова Темнова: "Я боролся за белое дело и честно исполнил долг русского офицера".

"А как же я исполнил свой долг"? — думал Петр. — Ведь я тоже офицер и был в Белой армии!

Придя домой, к радости всей семьи, он утаил от отца, что способствовал гибели двух бывших белых офицеров, пробравшихся в ЧеКа, ведь не так давно, он был в Белой армии с Токаревым и Темновым, воюя против красных. Но... "своя шкура ближе к себе", — оправдывался он, ибо это произошло в порядке самообороны и очень своевременно. Если бы и Закидальский-Токарев и Сватиков-Темнов остались живыми и на своих местах, да еще после сегодняшнего братания обеих враждебных групп, то ясно, что их имена в списке написаны были не напрасно: в ближайшие же дни они были бы арестованы и ликвидированы. И не только они, Петр и Николай, но и их отцы, и даже невинная станичница Оксана, и, наверняка, еще и другие станичники. На первый взгляд Петр как-будто бы сделал услугу красным, но на самом деле он в первую очередь спасал от этого палача свои семьи и невинных жителей станицы, которые могли пострадать только потому, что они были кубанскими казаками. На этом он и успокоился...

Тит Краснопольский был временно отстранен от командования отрядом за бегство с поля боя, но потом его опять восстановили в этой должности, хотя в этом отряде казаков оставалось уже мало, да и никакой реша-

ющей роли в борьбе с антисоветскими отрядами он не играл.

Вскоре в станицу прибыл Особый отряд матросов и эскадрон Буденовской кавалерии и борьба с повстанцами казаками вступила в новую фазу...

ГЛАВА 10.

На юге России Гражданская война давно была закончена, но мирной и спокойной жизни в казачьих станицах не было. Два года прошло после вступления красных в казачьи области Северного Кавказа, но местные антисоветские отряды казаков продолжали борьбу против советской власти. Отряды эти официально именовались "бандитскими", но местные жители слово "бандит" стали понимать не как разбойник, вооруженный грабитель и т. д., но как идейный борец за старые порядки, за казачью свободу.

Жестоко расправлялись эти "идейные борцы" не только с коммунистами и комсомольцами, но и с недавно появившимися в станицах матросами.

Некоторые матросы и сами были виноваты: нападали вечерами на улице на парубков и вводили с собой их дивчат, самовольно врываются в дома хлеборобов и грубо требовали "шамать", страшно ругались и сквернословили, открыто насмехались над религией, богохульствовали, и тем самым оскорбляли религиозные чувства верующих людей.

Однажды был такой случай: в воскресенье, во время богослужения, несколько матросов появилось в церкви Святого Пантелеймона. Не снимая бескозырок, они грубо начали расталкивать толпу молящихся, взошли на амвон к алтарю, от горевших на подсвечниках перед иконостасом свечей прикурили свои папиросы и потом со свистом и хохотом удалились из храма.

Такое поведение некоторых хулиганствующих матросов сильно задевало чувства тогда еще крепко веровавших людей и симпатии многих поневоле повернулись в сторону антисоветских казачьих отрядов.

Правда, Ревком станицы вскоре узнал о хулиганском поступке матросов в Пантелеймонской церкви, их нашли, арестовали и отправили в Ейское ЧеКа, но недоб-

рое семья, посеянное теми матросами, осталось надолго среди многих казаков-хлебобобов...

Пришлых матросов местные парубки просто ненавидели из-за их формы и ухаживания за станичными дивчатами. Едва к группе гулявшей на улице молодежи подходили матросы, как некоторые местные дивчата начинали мило глядеть больше на кавалеров в бескозырках, чем на своих парубков. Видя это, парубки начинали задира́ться, вступали с матросами в кулачную драку и более слабая сторона отступала. Но если на такую драку натыкались тайно шнырявшие по станице "бандиты", то матросам приходилось худо: кулачная драка кончалась иногда убийством какого-либо матроса.

Горе было той дивчине, которая одна уходила от молодежи с матросом в уединенное место, позволяла недозволенное и ее "грехи" были доказаны. При первом же удобном случае парубки ночью ловили такую "слабую" дивчину, раздевали, привязывали к телеграфному столбу в "костюме" Евы, затыкали рот кляпом, напяливали на голову матросскую бескозырку и в таком обнаженном виде оставляли ее на посмешище на видном месте до утра, пока шедшие на базар люди не освобождали ее.

Другим дивчатам, проводившим свое время с матросами, парубки обливали дегтем ворота и заборы в их дворах...

Вскоре, однако, всех матросов направили куда-то в другое место, а в помощь эскадрону буденовцев в станицу прибыл Особый (карательный) отряд ВЧКа.

После прибытия этого отряда, было опубликовано официальное обращение ко всем антисоветским отрядам и ко всем дезертирам, скрывшимся в степь от призыва в Красную армию, чтобы все добровольно явились в Ревком станицы и сдали оружие. Всем добровольно явившимся давалось всепрощение, гарантировалась неприкосновенность и полная свобода.

Явилось в станицу и добровольно сдалось только несколько казаков, но большинство продолжало борьбу и террористические акты против советских работников не уменьшались.

По совету некоторых мирных казаков, добровольно явился в Ревком и сдался и Сергей Волошко, но с ним произошла роковая ошибка: каким-то образом его включили в небольшую группу пойманных в это же

время при вооруженном налете непримиримых к новой власти бандитов и отправили в Ейск.

—Ведь я отозвался на ваш призыв и явился добровольно. За что же меня арестовали и пригнали сюда вместе с другими? — протестовал Сергей при допросе в Ейске.

— И вины за тобой нет? — иронизировали следователи. — А не ты ли собственноручно зарубил во время боя председателя ЧеКа Аврама Закидальского?

Ничего оправдательного на это Сергей не мог сказать. Собственно он и сам не знал, что под именем Закидальского он зарубил замаскировавшегося полковника Белой армии Токарева и никто ему после того случая ничего не объяснил, ни в Старо-Минской, ни в Ейске, а следователи о настоящей личности Аврама в Ейске тоже, вероятно, не знали ничего.

И Сережа Волошко был приговорен к расстрелу и приговор приведен в исполнение.

Слишком поздно об этом узнал Петр Кияшко, ругался и с Минько, и с комиссаром Фоменко, которые знали, кто такой был Закидальский, но не обратили никакого внимания на отправляемых в Ейск казаков. Они сознавали свою оплошность, но было уже поздно.

Случай с Сережей послужил плохим примером для остальных, находящихся в антисоветских отрядах и колеблющихся: "верить обращению и сдаваться или нет? Но когда узнали о явившемся добровольно и все же расстрелянном Сереже, перестали добровольно являться и продолжали борьбу...

ГЛАВА 11.

Чтобы покончить с внутренней смутой в казачьих станицах, мешающей дальнейшему укреплению новой власти и восстановить нормальный ход мирной жизни хлеборобов, советские карательные органы решили на террор антисоветских казачьих отрядов, ответить тоже террором.

Весной 1922 года из города Ейска, в котором находился тогда штаб окружного Революционного комитета (Ревкома) и Чрезвычайной комиссии (ЧеКа), в распоряжении которых было ближайших двенадцать станиц, в том числе и Старо-Минская, в станичный Рев-

ком, за подписью Бугаева поступил строгий приказ-ультиматум, примерно такого содержания:

"...Из числа контрреволюционно настроенных зажиточных казаков, имеющих членов семьи или родственников в антисоветских бандитских отрядах или поддерживающих тайные связи с этими отрядами — арестовать триста заложников. Предварительно широко объявить, чтобы все бандиты в двухдневный срок добровольно явились в Ревком станицы, сдали оружие и вернулись к мирной жизни, обещая не применять никаких репрессий к явившимся и покаявшимся. Если после такого объявления пройдет сорок восемь часов и бандиты не явятся добровольно и не сдадутся расстрелять двадцать пять заложников. Если пройдет после этого еще 24 часа, а бандиты будут упорствовать и не явятся — расстрелять пятьдесят заложников... Бугаев".

По церквам раздался набат, сзывающий всех на экстренный общестаничный митинг, как стало практиковаться в последнее время. Кроме церковного звона по всем улицам станицы ходили посыльные, тархатели палками о заборы всех дворов и громко выкрикивали:

— На митинг, на митинг! На сходку, сейчас же!

Вскоре к зданию бывшего правления станицы на улице Красной собралось несколько тысяч жителей станицы. На балкон второго этажа здания вышел предревкома Минько, в окружении военных и гражданских должностных лиц и громко прочитал приказ Бугаева. После прочтения этого приказа, некоторое время молчали и представители власти, молчала и толпа собравшихся на улице возле здания. Но вот из толпы послышалось:

— Можно один вопрос?

— Что вы хотите сказать? — вопросом ответил Минько, повернув голову в сторону спрашивавшего.

Ближе к зданию и балкону подошел староста Пантелеймоновской церкви Карп Калинович Бардак и громко сказал:

— Вы уже не первый раз обвиняете нас за то, что мы, мол, сочувствуем бандитам, скрываем их когда они появляются в станице, не сообщаем вам. Это не совсем так. На прошлой неделе среди белого дня возле Пантелеймоновской площади откуда-то появились Мозуль и Дрофа с десятком своих казаков. Едва их заметив, я в ту же минуту бегом понесся в ревком и сообщил вам о появлении этих бандитов. И как же вы отнесли к мо-

ему донесению? Вы тогда на этот балкон, где сейчас стоите, выставили пулеметы и дальше здания правления не двинулись. Почему же вы с вашими вооруженными войсками не кинулись сразу же на поимку этих бандитов? Ведь в вашем распоряжении здесь имеется больше сотни хорошо вооруженных воинов, а у Дрофы и Мозуля тогда было не больше десяти казаков, и было это не ночью, а днем.

Минько немного замялся, о чем-то пошептался с приближенными, и сказал:

— Да, гражданин Бардак, этот случай я помню, Но упрекать нас в бездействии нельзя: во-первых мы точно не могли знать, сколько там в вашем крае бандитов появилось, десяток или может, сотня? Во-вторых, на нас могли напасть другие бандиты и с другой стороны и мы подготовились к защите своего советского учреждения и людей в нем находившихся. Вот почему и поставили пулеметы в первую очередь здесь. Кстати, вы все же сообщили нам о бандитах с опозданием: когда наш отряд направился в указанное вами место, то бандитов там уже не было, их и след простыл...

Среди толпы собравшихся послышался глухой ропот и видны были усмешки, но потом все опять затихло. Никто больше никаких вопросов не задавал и Минько объявил митинг закрытым...

В тот же вечер станица была оцеплена войсками прибывшего Особого отряда красноармейцев. Всем мужчинам старше двенадцатилетнего возраста выезжать и находиться за пределами станицы, хотя бы и на своем паевом наделе земли в степи, под страхом расстрела строго запрещалось.

После объявления приказа Бугаева прошло сорок восемь часов. Казаки из отрядов Дрофы и Мозуля не являлись в Ревком и не сдавались. И 22-го мая, после полудня, на базарной площади публично было расстреляно двадцать пять заложников из числа самых зажиточных и антисоветски настроенных казаков.

Прошло еще 24 часа, указанных в ультиматуме Бугаева, после первого расстрела заложников, но мятежные казаки не являлись "на милость победителя" и не сдавались, хотя в те дни и вооруженных налетов нигде не было. Ревком и Особая тройка ВЧКа продлили указанный в приказе срок и ждали еще 24 часа. Никакого ожидаемого результата не было.

В среду вечером перед праздником Вознесения, всех жителей станицы, и мужчин и женщин, созвали на очередной чрезвычайный митинг к зданию Ревкома. Предревкома Минько, с балкона второго этажа здания громко зачитал список пятидесяти шести заложников, приговоренных тройкой ВЧКа к расстрелу за контрреволюционную деятельность.

В многочисленной толпе собравшихся на митинг сразу же поднялись громкие рыдания с причитаниями и истерические выкрики сотен женщин, услышавших в прочитанном списке имена своих мужей, отцов, братьев или родственников, но с балкона на них никто не обращал внимания.

Минут через десять-пятнадцать после прочтения списка, из помещения большой, бывшей общественной конюшни во дворе правления станицы, в окружении Особого эскадрона при ВЧКа вывели всех приговоренных к расстрелу и по улице Красной пешком погнали к базарной площади. На этой площади всех осужденных поставили против "глухой" (без окон и дверей) задней кирпичной стены большого магазина бывшего купца Ивченко и всех... расстреляли. Потом сложили 56 трупов на подводы и не подпуская никого из посторонних, в том числе и родственников, свалили в одну накануне приготовленную большую могилу на северной стороне кладбища и засыпали землей.

В числе расстрелянных был и священник Петр Кудрявцев, которого обвинили в антисоветской пропаганде при своих проповедях в церкви, и в том, что в его доме неоднократно собирались скрывавшиеся офицеры Белой армии, помогавшие антисоветским отрядам...

И только после второго расстрела заложников, казаки-хлеборобы, как бы очнувшись от безразличного взгляда на события и поняли, что с советской властью шутить нельзя.

— Что же такое происходит в наших казачьих станицах? Кто в этом виноват? — спрашивали один у другого. — Из-за небольшой кучки безрассудных станичников, наших отцов и братьев будут пачками забирать и расстреливать, а мы будем якшаться с этими бандитами?

— Понятно, что против государственной власти, установленной по всей России, выступать нам опасно и бесполезно, — говорили некоторые хлеборобы. — "Пле-

тью обуха не перебьешь“. Если так будет продолжаться, то ЧеКа перестреляет всех заложников и до нас доберется, а мы будем спокойно глядеть на действия нескольких десятков непримиренцев, среди которых некоторые по настоящему бандиты. И не за себя мы страшимся, а за свои семьи, жен и детей; разве они виноваты в происходящем? Какая бы власть ни была, они хотят только спокойной и мирной жизни...

И наконец целые группы мирных казаков, стали приходить в Ревком и говорить:

— Доколе будет так продолжаться? Давайте нам оружие и мы сами расправимся с бандитами!

И им поверили. Многие десятки казаков получили оружие и вместе с Особым отрядом красноармейцев выступили за станицу в степь, в облаву на скрывавшихся непримиренцев. С ними ехали и сотни казаков без оружия целью на десять метров один от другого по всей степи по выросшей уже пшенице, по плавням и камышам возле балок и речек, проверяли хаты небольших хуторов, выискивая прятавшихся бандитов.

Вскоре они напали на след отряда есаула Мозуля. В прибрежных камышевых зарослях мелководной, но широкой реки Ея разделявшей Кубанскую область с Донской, против села Сонина, казаки добровольцы и чекисты с красноармейцами окружили весь его антисоветский отряд. Отступать им было некуда.

— Сдавайтесь! — кричали им казаки, вместе с красноармейцами окружившие отряд. — Прекратите бесполезную борьбу и дайте возможность всем хлеборобам жить спокойно! Из-за вас гибнут наши отцы-заложники!

— Не сдадимся врагам Казачества! Не сдадимся никогда! — слышалось в ответ из отдаленного камыша. — Мы не признавали и никогда не признаем советскую власть и будем бороться до конца. Вы все гады, предатели и мы с вами еще расправимся, — из камышей слышались редкие винтовочные выстрелы по красной группе.

В это время группа красных пробралась в тыл отряда Мозуля на лодках между прогалинами камыша и открыла по ним огонь с другой стороны. Мозулевцы почти выбрались из камышей и на сухих кочках заросших рогозом, почти на виду у всех продолжали сопротивление.

— Сдавайтесь, или все сейчас же погибнете! --- кричали им станичники.

— Не сдадимся! Вы, станичники, не смеее стрелять в своих казаков! Ждите нашего возмездия! Не сдадимся!

— Ах, так! Огонь по бандитам! — раздалась сразу двойная команда: и командира казаков-добровольцев Демида Бондаря, и командира Особого отряда чекистов.

Открылась ураганная пальба из винтовок и двух пулеметов, и весь отряд не сдающихся непримиренцев был уничтожен на месте. Убит был и их командир есаул Мозуль. Только один из его отряда, известный вор Иван Костенко, схоронившись в канаве за большой кочкой, остался жив, но его тут же схватили и сохранили для следствия.

Это было в ночь под Троицын день 1922 года.

Труп Мозуля и всех убитых с ним казаков сложили на подводы и направились назад в свою станицу. Оставшемуся в живых Костенку связали за спиной руки, привязали его за шею длинной веревкой сзади к дрожкам и заставили бежать до самой станицы, около двенадцати верст.

Прибыв с таким "грузом" в станицу рано утром, подводы въехали на Христо-Рождественскую площадь и остановились. Всех убитых выбросили на землю перед главными воротами ограды церкви, а Мозуля особо на видном месте, лицом вверх, раздев догола и только пучком травы прикрыв неудобозримую часть тела. Костенка казаки отвязали от подводы, пошли с ним в ревком и доложили о результатах последней ночи.

В то солнечное теплое утро праздника Троицы, сотни людей, идя в церковь, с ужасом глядели на лежавшие трупы, и это событие вскоре стало известно не только в своей станице, но и в других местах.*)

На второй день был окружен и почти уничтожен и отряд сотника Дрофы, но сам Дрофа сумел куда-то скрыться и о нем долго не было ни слуху, ни духу.

Подобные разгромы антисоветских отрядов произо-

*) Эту картину убитого Мозуля с трупами его казаков возле Христова-Рождественской церкви в Старо-Минской видел лично сам автор, когда ему было только тринадцать лет.

Ф. К.

шли по всей Кубани и на Дону, и только на Тереке и в районах горцев повстанцы продержались немного дольше, пользуясь защитой гор и ущелий.

И даже такой большой отряд в плавнях станицы Копанской, которым командовал полковник Сухенко, и с которым целые армейские соединения красных ничего не могли сделать, стал "рассасываться" в разные стороны и вскоре прекратил свое существование.

Некоторые, не погибшие в боевых стычках казаки антисоветских отрядов, начали тайком возвращаться в станицы к своей семье, никому ничего не говоря о своем пребывании в стане врагов советской власти, и начали прежнюю жизнь мирных хлеборобов. Другие, оставшись без командиров и всякой поддержки извне, явились в Ревкомы и сдались "на милость победителя". Многих отпустили по домам, но те, которые запятнали себя грабежами и убийствами, как настоящие бандиты, были наказаны. Но были и такие казаки из антисоветских отрядов, которые и к семьям своим не вернулись, если даже и имели их, и в советские органы не явились, и не сдались, а перекрасившись в мирных граждан, нелегально переехали в города других областей, и устроились там на жительство, как ни в чем не бывало. Такие и в последующие годы творили для советского государства много вреда, хотя и безуспешно, и все ждали падения новой системы...

С 1923 года жизнь в станицах Кубани вошла в нормальную колею. Продразверстка была заменена продналогом и хлебороб, сдав государству небольшую часть урожая, остальным зерном мог распоряжаться по своему усмотрению. Принятая еще в 1921 году по предложению Ленина, Новая Экономическая Политика (НЭП), давала свои положительные результаты и увеличивала среди сельского населения лояльность к советской власти. Пустовавшие до этого магазины стали наполняться не только товарами первой необходимости, но и промышленными товарами.

И хотя вся земля в казачьих станицах вместо паевых наделов на взрослых мужчин, была разделена теперь на каждую душу населения, в том числе и на детей, и на иногородних, но больших протестов при разделе земли не было. Вряд ли были такие станицы на Кубани, при разделе земли в которых пришлось бы меньше двух-трех гектаров на каждую душу населения, а это было

уже достаточно. И хозяйства вскоре оправились от затянувшихся двух войн, стали укрепляться и расширяться.

Вместо обесцененных миллионов рублей, была введена твердая денежная валюта, "червонцы", и каждый рубль стал очень дорог.

В приход "наших" из заграницы никто уже не верил, и о возврате к старому почти никто не помышлял, за исключением некоторых старых фанатиков, но они никакого влияния на массы не имели...

ГЛАВА 12.

В семье Тараса Кияшко все вошло в обыкновенную житейскую колею, хотя он и не мог примириться с фактом потери двух своих сыновей.

Сын Наталки, четырнадцатилетний Гриша, учился в "ШКМ" (Школе Крестьянской Молодежи), помещавшейся в здании бывшей гимназии. По главным предметам учебная программа ШКМ равнялась, приблизительно, прежней гимназии. Ее десятилетняя дочь Клава ходила в начальную школу. В эту же школу ходил и Миша, сын Петра и Даши, которому тоже исполнилось уже десять лет.

И все продолжали жить одной семьей в доме Тараса Охримовича.

Хотя "план" (приусадебный участок земли) был выделен станичным обществом для Никифора и Наталки еще до революции, и там Тарас Охримович на окраине станицы, давно собирался построить ей хату, но она все время говорила:

— Пока точно не узнаю о судьбе Никиши, или он сам не вернется, никуда я от вас не пойду.

Ее и не неволили. Все были даже рады, что она остается с ними.

В 1924 году, 21 февраля (8-го по старому стилю) у Даши родился второй сын, которого Петр решил назвать Федей.

— Вы, Петр Тарасович, правильно выбрали хорошее имя младенцу, — сказал псаломщик Федор Евграфьевич, когда малыша принесли в церковь крестить. —

И не только потому, что мое имя тоже такое, а главное, что он ведь и родился в день великомученика Феодора Стратилата. А наши предки всегда давали рожденному такое имя, какое в тот день значилось в православных святцах.

— Я так решил назвать его в память моего малолетнего братца Федьки, погибшего с Катериной в двадцатом году, — сказал Петр, — а в святцы я даже и не смотрел, да их у нас и нет.

— Хорошо, очень хорошо, что ваше желание совпало с святцами. А знаете ли, что по-гречески означает слово "стратилат"? Ведь это имя греческое!

— Понятия не имею.

— По-гречески стратилат, значит военачальник, генерал.

— Но в России генералов теперь нет и местные власти про них вспоминают не ахти, как хорошо.

— Теперь нет генералов, хотя нельзя ручаться, что потом они наверняка будут...

Петр ничего ему больше не сказал и отошел в сторону, но в душе был все же доволен, что так удачно выбрал хорошее имя своему малышу.

Через несколько дней после крестин, в семью Кияшко пришла большая радостная весть: из Югославии было получено письмо от Никифора.

После обычных "поклонов" родителям, Наталочке с Гришенькой и Клавой, Петру с Дашей и всем другим, Никифор сообщал еще и то, что "скоро они все вернутся домой". Он мало верит надежде атамана Науменко и других генералов на скорое падение советской власти и всеобщее возвращение на Родину, но он, если представится возможность, сам скоро вернется, а там что будет, то будет...

— Жив, Никишенька, жив! — и плакала и смеялась Наталка. — Как я рада, как рада! Сейчас же напишу ему обо всем и обо всех.

— Напиши, доченька, напиши, а я в конце твоего письма и от себя еще добавлю, — тоже радуясь такой вести, сказал Тарас Охримович. Потом глянув на Петра, он серьезным тоном сказал:

— Петрусь! Мы то давно уже имеем план для Никифора и Наталки, но на этой земле там нет еще ни од-

ного деревца. Шо ж, и хату будем ставить посреди го-лой земли? Так в хороших хозяйствах станицы никогда не было и не должно быть. Этой же весной надо заса-дить план деревцами, хотя бы частично. Двулеток от хороших сортов яблонь, груш, слив и черешень я до-стану у садовода Филина, а вот акации, тополей, клено-вых и других саженцев, надо достать в другом месте. Я слышал от станичников, что любые декоративные са-женцы можно теперь достать в лесничестве на Донской стороне: оно теперь называется Ленинским. Пока еще не наступила весенняя распутица, съезди-ка ты туда, да и привези нужных саженцев, а весной мы их и посадим на Никифоровом участке земли.

— Далековато, — слабо стал возражать Петр, — больше тридцати верст будет туда в один конец, а до-рога глухая, ненаезженная. И снега мало сейчас, при-дется дрогами или бричкой тарыхтеть по мерзлым коч-кам.

— Тридцать верст не такая уж и далекая дорога. Правда, зимой на колесах по замёрзшей грязи не очень удобно, но потом некогда будет, а сейчас как раз вре-мя свободное. Если не успеешь съездить за один день, то шо ж, на обратном пути переночуешь у мужиков в Отрадвке или в Рябивке и вернешься на следующий день. Ничего страшного нет.

— Добре, батя, пожалуй так надо и сделать, — согласился Петр и пошел осмотреть бричку и дроги.

На второй день, едва рассвело, Петр наложил на дно брички сена, третью часть мешка ячменного зерна, при-крыл все это большим рядном, подвесив под низом брички порожнее ведро с веревкой, принес из дома в дорожной торбе немного еды, запряг двух лошадей и поехал, взяв направление на север, в сторону Донского села Сонино.

Километров через десять проехал длинный деревян-ный мост (гребля) через реку Ея и сразу же очутился возле села Сонино, или "Мыхинивка", на Донской сто-роне. От Сонино, свернув вправо на северо-восток, он поехал берегом речки по узкой и ухабистой дороге.

Ехать все время приходилось шагом, дорога была ненаезженная, с выбоинами и грудами замёрзшей гря-зи и поэтому до обеда он мог покрыть едва половину пути. Через два-три километра было село Отрадвка и Петр решил остановиться там и покормить лошадей. И

тут он вдруг вспомнил, что тут же где-то, на отдельном хуторе, возле Отрадовки живет с детьми Оксана Токарева. Не он ли тогда на кладбище давал ей торжественное обещание, что, как только не станет Закидальского, сразу же навестит ее и расскажет все подробности?

— Какая ж я свинья неблагодарная! — чувствуя угрызение совести, подумал вслух Петр. — Тогда Оксана фактически спасла мне жизнь, и мне и другим, а чем же я ее отблагодарил? Ничем! До сих пор даже и написать не вздумал, ни словечка. Надо хотя теперь заехать к ней, надо обязательно!

Недолго думая, он повернул лошадей на другую дорогу, немного правее Отрадовки, и поехал в сторону хутора Токарева.

Подъехав к месту большого участка земли бывшего мужика-помещика Токарева, он в недоумении увидел там новые постройки, по участку земли ходили люди и измеряли ее площадь. Мелькнула мысль, что он подъехал не туда, куда хотел. Да и немудрено забыть и заблудиться: в усадьбе и доме Токарева он был один только раз в двадцатом году, да и то ночью. Остановив бричку, он сошел на землю, подошел к стоявшим недалеко людям и спросил:

— Где находится хутор Токарева?

— Токарева? Такого хутора давно уже нет, — ответил один мужчина из группы этих людей. — В бывшем его доме теперь находится коммуна имени Крупской. И вся земля его принадлежит этой коммуне.

— А куда же девались прежние хозяева?

— Сам Токарев при отступлении белых канул в неизвестность и нам о нем ничего неизвестно, а хозяйка живет в том же дворе, в небольшой хатенке, где раньше жили его батраки. Но, кажется, и она теперь куда-то выехала.

"Вот досада, — с горечью подумал Петр. — Так хотел увидеть ее и хоть с опозданием поблагодарить и вот на тебе: опять неудача. Но куда же она могла уехать?"

Немного помолчав, он опять спросил:

— Скажите, пожалуйста, эта дорога, где стоит сейчас моя бричка, идет все же в ту сторону, где раньше был хутор Токарева?

— Дорога правильная и бывшая усадьба Токарева отсюда недалеко.

Петр поблагодарил, вернулся к бричке и поехал дальше той же дорогой.

"Что ж, — думал он, — если уже нет в усадьбе моей доброй станичницы, то во дворе коммуны покормлю лошадей и поеду дальше...

ГЛАВА 13.

Не доезжая Отрадовки Петр вскоре подъехал к бывшей усадьбе Токарева, которую он с трудом узнал. Ворота были раскрыты и не видя никого, он въехал во двор, проехал ближе к бывшей батрацкой хате и остановил лошадей. Вечерело. Он сошел с брички и огляделся. В доме коммуны никого не было заметно, лишь на крыльце сидел какой-то старик, вероятно сторож, и медленно обстругивал перочинным ножиком деревянную палку. Старик не поднял даже головы на стук въехавшей брички, или же был вообще глухим. Возле колодца, недалеко от хаты, стоял мальчик, лет восьми-деяти, и с удивлением глядел на чужого дядю, подходившего к нему с батоном.

— Чей ты хлопчик? — ласково спросил его Петр.

— Мама сказала, чтобы я чужим дядькам не говорил чей я есть, — ответил мальчик.

— Вот, как! Но как хоть твое имя?

— Петрусь.

— Петрусь? — еще больше удивился Петр и пристально посмотрел в лицо мальчика. Сомнений нет, знакомые глаза и черты лица Оксаны и это она, в честь его, назвала тем же именем и своего сына.

— А где же сайчас твоя мама, Петрусь?

— Мама сказала, чтобы я никому не говорил, что она сейчас в хате возле плиты.

— Ха! А зачем же ты сказал мне, что в хате? — и широко улыбнувшись, Петр сразу же направился в домик.

Мальчик удивленно посмотрел ему вслед и начал осторожно опускать на веревке ведро в колодец.

Даже не постучав, Петр самовольно открыл дверь, зашел и молча остановился у порога. Возле плиты спиной к нему стояла знакомая фигура женщины, которая, услышав скрип двери, не поворачивая головы строго спросила:

— Петрусь! Ты скоро принесешь мне воды от колодца?

Петр молчал.

Повернувшись к порогу, она ахнула, выронила из рук уполовник и, расставив в стороны руки, кинулась к гостю.

— Петрусь, да не тот, что думала, и воды от колодца тебе тоже не принес, — улыбаясь и раскрывая объятия, сказал Петр.

— Хотя и не тот, что ждала от колодца, но тот что и думала, и не меньше милый и желанный. Ведь я только что про тебя подумала, — и обхватив его шею, она хотела было его поцеловать, но потом вдруг насупилась, отвернула голову и с укором сказала:

— Вот как ты сдерживаешь свое честное казачье слово! Где же исполнение твоего обещания, что ты говорил мне на кладбище в Старо-Минской три года тому назад? Ты же обещал навесить меня в самом скором времени!

— Виноват, Оксаночка, миллион раз виноват пред тобою, прости, не обижайся, — и повернув ее голову к себе, он крепко поцеловал ее в губы.

— Говорят, лучше поздно, чем никогда, вот я, хоть и поздно но все же исполнил свое обещание и навесил тебя.

— Так то оно так, но если бы ты приехал ко мне завтра, то может быть уже и не нашел меня здесь, — вздохнув, с грустью сказала Оксана. Выселяют меня с хлопчиком и из этой хатки, как жену помещика и белого офицера. Нашу землю и все имущество конфисковали сразу же после разоблачения и гибели моего мужа. Отец помер от тифа, а его дом в станице забрали и оборудовали теперь под избу читальню. Я не знала, что и делать. Была недавно у родственников наших в станице Канеловской, познакомилась там с хорошим казаком, вдовцом Мищенко. Я согласилась стать его женой. Завтра Ваня Мищенко придет за мной и заберет к себе в Канеловскую... Но это будет завтра, а сегодня я еще не жена его — и она мило глянув на долгожданного гостя, лукаво улыбнулась.

Во время ее рассказа, Петр умиленно глядел на ее по-прежнему яркий румянец на щеках, полную грудь под тонкой кофточкой, на весь ее стройный притягивающий стан, и у него шевельнулось даже что-то вроде

ревности. Он поморщился при мысли, что какой-то Канеловский вдовец будет тешиться его доброй и красивой станичницей, но тут же мысленно и обругал себя. Что за абсурд? Какое ему дело до всего этого? — У меня есть любимая жена Даша и я не променяю ее ни на какую другую красавицу, — думал он. — С полчасика побуду здесь и поеду дальше по своим делам...

— А каким ты образом очутился здесь сегодня? — прервав его мысли, спросила Оксана.

— Я еду сейчас в Лениское лесничество за декоративными саженцами для плана Никифора и Наталки. Он написал, что скоро вернется домой. Подъезжая к Отрадковке, я вспомнил про свое обещание и решил, в конце концов, навестить тебя...

— Вспомнил! — передразнила его Оксана. — Слава Богу, хоть через три года, вспомнил. Оно и правду говорят, что "обещанного три года ждут". В общем, если бы ты не ехал в лесничество, то значит и теперь не вспомнил бы? Как тебе не грешно! Наверное, совсем забыл ту, над которой когда-то нагло насмеялся, но которая, не помня зла, тайно приехала в станицу с важной для твоей жизни вестью? "Еду", говоришь! Ты сейчас не едешь, а стоишь передо мною, в моей комнате. Понял? Или ты и этого не понимаешь и не помнишь? Может забыл и наши прежние грехи? Ха-ха-ха! Гы-гы-гы! — и она вдруг захохотала прежним девичьим смехом.

— Ругай, ругай меня сколько хочешь, виноват на все сто и не оправдываюсь. Виноват, да и память изменять стала, забываю многое. Но вот у тебя память отличная. Ты и "грехи" наши помнишь и, наверное, не забыла и про "лукавого в вашем прядеве, когда я был еще парубком?"

— И никогда не забуду, ведь это же... гы-гы-гы! Ха-ха-ха!

Заразившись ее гоготом, Петр тоже захохотал и чуть не назвал ее "дурносмихом", как дразнили Оксану еще в девичестве за гомерический смех, но, опомнившись, перестал смеяться и спросил совсем о другом.

— Про кончину своего супруга, знаешь?

— Еще бы не знать! Власти не стали его погребать и сообщили мне. Я сама и хоронила его на западной стороне станицы, на Кладбище Покровской церкви. Как бы там ни было, но он все же был мне законный муж. На второй день после похорон ко мне нагрянули чеки-

сты, перерыли все в доме, все чего то искали, но ничего не нашли. Потом хотели арестовать и меня, но маленький больной сыночек начал сильно плакать и они пошептавшись, оставили меня на месте.

— Оксаночка, как будто у тебя было двое детей. Где же другой?

— Умер, — грустно ответила Оксана. — Вскоре после гибели мужа и обыска чекистов, он болезненный и умер, царство ему небесное, — и она набожно перекрестилась. — И все это время я живу одна, с моим хлопчиком Петрусем. Скучно мне так жить одной. Но сегодня в моей хате будет . . . два Петруся, — и повеселевшим взглядом, томно подняла глаза на Петра.

Тот понял ее намеки и, с сожалением, сказал:

— Долго оставаться здесь мне нет времени. Надо спешить ехать за саженцами, чтобы хотя до ночи добраться до лесничества.

— Що, що такэ? О, нет, так я тебя и отпущу сейчас! Шалишь, лукавый Петрусь! Три года каждый день думала и ждала твоего приезда и так легко отпущу? Что хочешь делай, но никуда ты от меня сейчас не поедешь! Никуда, не пушу я тебя, не пушу! — и, обхватив его шею руками, она страстно впиалась горячими губами в его уста.

В таком страстном порыве увидел свою маму Петрусь, вошедший в комнату с полуведеркой воды. Вначале он с удивлением раскрыл рот, мало понимая происходившее, потом поставил ведро на лавку, стал и молча смотрел на маму и чужого дядьку.

Очнувшись, Оксана взяла ведро с водой, поднесла к плите, и как ни в чем не бывало, деловито спросила Петра:

— Каких тебе нужно саженцев и сколько?

— Да по десятку ясеня, тополей, кленовых, белой акации или гледички и еще что-нибудь пригодного для декоративной посадки.

— Добре! Сегодня командир здесь я и все находящиеся на моей территории, извольте слушаться. Приказ большому Петру: ты, лукавый чужой дядько, заведи сейчас же свою бричку за сарай, в заднюю часть двора, там выпряжешь лошадей, поставишь их в конюшню, дашь воды и корму и возвращайся сюда. В конюшне из тягла коммуны стоит сейчас только одна кляча и места там много. Приказ меньшему Петру: ты, сыночек, когда нач-

нет чуть темнеть, пройди в конец нашей усадьбы, навыдергивай или выкопай лопаточкой штук пятьдесят разного сорта маленьких деревьев, сложи их там в кучки и иди сюда. Мы их потом сами перенесем к сараю. Шагом, марш!

Малый Петрусь, стремглав выбежал из комнаты, и пошел исполнять приказание матери, так как уже начало темнеть. Но Петр стоял на месте, молчал и непонимающе смотрел на нее.

— Не удивляйся, Петенька, таким моим приказам, — подойдя к нему, сказала Оксана. — На земле бывшей нашей усадьбы уже третий год имеется питомник декоративных саженцев, затея коммуны. Уход за питомником неважный и охраны никакой, даже ночью, но все же лучше если не взрослые там будут копать, а мой хлопчик. Там тысячи хороших однолетних и двулетних саженцев разных пород деревьев. Петрусь навыдергивает их или накопает больше чем тебе нужно, сложит в небольшие кучи, а как совсем стемнеет, мы с тобой перенесем их на твою бричку под сено и ни в какое лесничество ехать тебе не надо. Хорошо? Чего же ты молчишь, как в рот воды набрал? Не нравится мое командование? Не хочешь... пожалеть бедную вдовушку, свою станичницу? Быть может... в последний раз? Или забыл, когда ради твоего спасения я рисковала собственной жизнью? Не ценишь моей слепой преданности тебе? Помнишь, еще тогда на кладбище я спросила тебя, "когда же я увижу твою настоящую любовь", ты ответил, что скоро и обязательно, и вот теперь, через три года, от тебя нет взаимно и крупиночки любви, ты...

Она замолчала и на глазах заблестели слезы. Петр знал, что она говорит правду и ему вдруг стало до боли в сердце жаль истомившуюся в одиночестве молодую женщину, так преданно к нему относящуюся. Ее притягивающий страстный взгляд, молящий об утешении, румянец покрывавший не только лицо, но и шею до плеч, от волнения часто вздымавшаяся полная грудь и наконец слезы... слезы укора и любви, вывели его из равнодушия и... покорили его. Он сказал:

— Так... обещал. Ты права. И ты заслуживаешь того, чтобы быть сегодня моим полным командиром и я не имею права ослушаться. Так пусть же, Оксаночка моя милая, эта ночь, последняя ночь перед твоим но-

вым замужеством, будет полностью нашей ночью, — и они опять слились в долгом поцелуе . . .

После такого "объяснения", Петр вышел из домика и сделал все так, как ему приказала Оксана: бричку поставил за сарай, выпряг лошадей, немного напоил их, завел в просторную конюшню, дал корму и пошел назад в хату. Когда он вернулся и доложил "командиру" об исполнении приказа, то сразу заметил, что на плите, на сковородке, жарилась яичница с салом, которая вскоре очутилась на столе, где уже был нарезан ломтями хлеб и стояла бутылка водки.

— Опять самогонка, как в двадцатом угощала нас с Николаем?

— Нет, это не самогонка, а новая водка, "рыковка", — сказала, суетясь, Оксана. — Ты знаешь, что вначале советские цари были и против водки, и против вина, но люди хотели пить и начали повсеместно варганить самогонку. Тогда один из советских лидеров, по фамилии Рыков, открыл прежние спирто-водочные заводы и пустил на рынок новую водку, чтобы люди перестали варить самогонку. И эту водку теперь называют "рыковка".

— Все это так, но ты наставила на стол, как в мясоед, а ведь начался Великий пост, скоромного ничего нельзя употреблять, — сказал Петр от нечего делать, ибо известно было, что он, почти с детства, не соблюдал постов.

— Когда мой милый голубочек Петенька, за три года первый раз навестил меня, и остался со мною до утра, то все посты отменяются. Сегодня будем скоромиться во всю ивановскую! Ха-ха-ха Гы-гы-гы!

— Что ж, под луной ничего не ново, и сегодня ты мой командир. А о посте, то я так. Только вот что: на дворе уже почти стемнело. Может Петрусь уже наготовил нам саженцев, то надо бы их сразу же перенести в бричку, а тогда начнем уж скоромиться: и яичницей, и рыковкой и прочим.

В это самое время в комнату вбежал вымазавшийся в черноземе Петрусь и сказал:

— Я надергал и наложил уже четыре кучи маленьких деревец, разных, но не считал сколько их.

— Никто не видел, как ты вырывал их из земли и складывал в кучи?

— Там и близко не было ни одной души.

— Молодец, Петенька, ты у меня умный и послушный хлопчик, — и мать ласково погладив его шевелюру, поцеловала в макушку.

— Я и не знал, что у твоего первенца имя, как и у меня, — сказал Петр. — Почему ты дала ему такое имя?

— Еще спрашиваешь! Чтобы всегда помнить лукавого парубка. Ты думаешь, что мои чувства к тебе мимолетные, от случая к случаю?

— Знаю и верю тебе, милая станичница. Хотя ты и спокуса неотразимая, но добрая, милая и бесстрашная, Оксаночка. Мне очень неловко, что до сих пор я тебя ничем не отблагодарил. Что ж, сегодня я в твоей власти, делай из меня хоть тряпку, твоя!

— Я тряпку из тебя и сделаю сегодня, гы-гы-гы! Ладно, пойдем!

Накинув на себя кожушок, Оксана вместе с Петром вышла из дома. Тихо прошли в отдаленную часть усадьбы Токарева, называемой теперь коммуной имени Крупской, подошли к питомнику, также тихо перенесли на бричку больше сотни однолетних и двулетних декоративных саженцев, сложенных в кучи малым Петей, прикрыли их сеном и рядом и вернулись в домик. Тут раздевшись, они спокойно сели к столу.

Оксана буквально млела от счастья встречи с Петром, да еще в такой интимной обстановке в ее комнате, где их никто не потревожит...

Подливая себе и гостю "рыковки", она то вставала, то садилась и все время гоготала.

— Фу, жарко, — сказала она и начала снимать с себя кофточку, юбку и к концу веселого ужина осталась в одной коротенькой ночной рубашке.

Сынишка ее Петрусь, поужинав, встал и спокойно пошел спать, ничуть не мешая "благочестивой" матери забавлять гостя.

Пили, ели... целовались и пьянели все больше и больше.

— Хватит, один пост нарушили, пришла очередь и к главному, ха-ха-ха, гы-гы-гы, — и оба, пошатываясь от "рыковки", встали и пошли к кровати.

Оксана потушила лампу, заготовала и в небольшой батрацкой хате вступил в свои права час "амура"...

ГЛАВА 14.

На второй день после "визита" к Оксане, после полудня, Петр Кияшко вернулся на бричке в свою станицу, как ни в чем не бывало: за чем ездил, то и привез. Достал и привез нужных саженцев и, даже больше, чем требовалось, да еще и бесплатно, хотя эта "бесплатность" навсегда осталась тайной.

— Вот и хорошо, вернулся благополучно и привез то, шо нужно, — открыв ворота, сказал Тарас Охримович. — О, да тут пожалуй даже больше, чем нам надо, — приподняв рядно на бричке, добавил он. — Ну, это ничего, старые акации во дворе пора выкорчевать, а на их место посадить двулеток. Дорого посчитали в лесничестве за эти саженцы?

— Та... дороговато, — сдерживая улыбку, сказал Петр, — но саженцы хорошие и разных сортов. Я нарочно взял немного больше и если какой десяток окажется лишний, то можно дать Николаю Шевченко. У них сзади двора никаких деревьев нет.

— И то добре, можно немного дать и Николаю с Гашкой. Все таки пришлось заночевать в дороге?

— То надо было предвидеть. Проселочные дороги очень плохие были, с выбоинами и замерзшей грязью, почти все время ехал шагом, несколько раз лошадям давал отдых. Почти тридцать верст туда, да столько же и обратно по такой отвратительной дороге!

Подошла Даша и сожалеющим тоном, сказала:

— Бедный, Петюньчик, измучился в такой дальней поездке?

— Еще как измучился, — не поднимая головы, сказал Петр. Почти два дня тряся по такой ухабистой дороге, а ночевать пришлось на бричке под сараем: в хате у мужиков не оказалось для меня места. И я почти не спал.

— Это и по лицу видно, что не спал. Вон какие у тебя под глазами синяки. Ну, иди в дом и отдыхай, намучился, беденький. Разве в холодную ночь на бричке можно спать?

— Какой там сон! Всю ночь не спал, а под утро просто тряпкой стал, — и он зашагал в дом, то внутренне улыбаясь, то морщась от угрызения совести, но иначе он и отвечать не мог, хотя неловко чувствовал, что вынужден обманывать и отца и жену.

"Что ж, долг платежом красен", --- думал при этом Петр. — Не мог же я еще раз обидеть эту добрую, во всех отношениях, станичницу. Ничего плохого она никогда не сделала для меня, наоборот, рискуя собственным благополучием и даже жизнью, она с героической смелостью предупредила меня о грозящей опасности и, быть может, этим спасла от расправы и меня, и батька. Я тогда дал ей "честное слово" навестить ее в Отрадовке, и вот... навестил. Поездка в лесничество помогла исполнить мое обещание. Она живой человек, и я живой, а у живого и здорового человека и "живые" потребности. Никого мы "этим" не обидели и никому никакого зла не причинили. Оксана осталась очень довольной, а завтра она будет уже с новым мужем в Канеловской... А вот Даше, про этот мой непредвиденный грешок, пожалуй, говорить ничего не надо. Зачем ущемлять ее чувства ко мне? Будет дуться несколько дней и хотя она и простит мой грех, но я не хочу причинять моей Дашеньке никаких душевных неприятностей. И попу на исповеди тоже не скажу. Какое ему дело? Пусть лучше наблюдает за своей матушкой, а то не раз я замечал, как она "глазки" мне строит и подмигивает...

Так думал он, усевшись у низкого стола ("сырна") и уплетая деревянной ложкой постный борщ с сушеными жарасями, заправленный только луком и сурепным маслом, и невольно вспоминал яичницу с салом в обществе Оксаны в Отрадовке.

Поев и встав, он почувствовал еще большую усталость.

— И в самом деле я сегодня, как тряпка, даже ноги подкашиваются, — вспомнив слова Оксаны за ужином в Отрадовке, тихонько, сам себе, сказал Петр, потягиваясь, но Даша поняла это высказывание по другому.

— И не удивительно, мой голубочек, — сказала она ласково и поцеловала его. — В такую холодную пору и в такую даль ездил! И мерз, и не спал, намучился, что и говорить. Иди, Петенька, на нашу кровать и отдыхай, сколько захочешь. Тебя никто тревожить не будет до самого вечера.

Петр сразу же направился в спальню, разделся и через несколько минут крепко заснул сном "праведника"...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I.

С двадцатых годов в Кубанском крае хозяйства казачков-хлеборобов начали восстанавливаться и укрепляться, чему причиной была Новая Экономическая Политика — НЭП.

Многие стали вводить правильный севооборот зерновых культур, поля начали засеивать хорошо очищенным и протравленным формалином зерном, при ранней вспашке "черных паров" отсутствовали сорняки, в почве задерживалась влага и урожаи хлебов стали выше. Появившиеся в станицах агрономы рекомендовали вводить новые высокоурожайные сорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнухов и других культур. Для лучшей обработки полей и уборки урожаев были доставлены в станицы новые сельско-хозяйственные орудия. И казаки, особенно молодые, стали серьезно прислушиваться к призывам советского правительства и начали механизировать и расширять свои единоличные хозяйства.

Образцовые хозяйства хлеборобов часто рекламировались и ставились в пример другим ежедневной газетой "Советский Пахарь", издававшейся в Ростове на Дону, и ежемесячным журналом "Спутник Северо-Кавказского Хлебороба", который тоже читали многие казаки. Кстати, если раньше газету в станице читали только атаман, учителя и духовенство, то около тридцатых годов двадцатого столетия стали читать и сотни обыкновенных хлеборобов...

Петр Кияшко неоднократно убеждал отца о необходимости укрепить машинами и еще больше расширить свое хозяйство, но Тарас Охримович не хотел и слушать его.

— Хватит для нас и того, шо есть, — говорил он. — Я почему-то боюсь, як бы наше расширенное и крепкое хозяйство не пало на нашу же голову.

— Шо вы, батя, выдумываете, — возражал Петр. —

Чего это ради наше доброе хозяйство падет на нашу голову? Все, что мы приобретем добавочно, то наше и будет всегда. И чем больше, тем лучше для всей нашей семьи. Наше нашим и будет и никто его у нас не тронет. Вот, например, поглядите, как наши соседи Кундус и его тесть Линец разбогатели быстро! Недавно имели такое же хозяйство, как и наше, а теперь имеют по десятку рабочих лошадей, засевают до ста гектаров земли, недавно приобрели паровую молотилку и никто их не трогает. А что же у нас? Как было до НЭПа, так все и осталось на одном уровне.

— Кундус и Линец мне не авторитет. Знаю, от чего они быстро разбогатели: эксплуатируют круглый год батраков, бесовестно обманывают тех бедняков, у кого арендуют землю. Следовать их примеру я никогда не буду. Не надо забывать и того, что у власти в исполкоме теперь одни бедняки и средняки, а не богатые казаки, и на таких, как Линец и Кундус они потихоньку давно зубы точат. Вот под Новоминской организовалась теперь большая сельско-хозяйственная коммуна, и теперь у них там все общее: и земля, и лошади, и инвентарь. Я слышал, что скоро будет всех хлеборобов объединять в коммуны и артели, так что же за смысл нам из кожи лезть, ночей не спать, чтобы потом быть на одних хозяйских правах со всеми: и с теми, у кого одна лошаденка, и с теми у кого десятки. Имеем свой угол, не голодные, не раздетые и слава Богу. Больше пока и не надо. Беспокоюсь я о том, что Никифор до сих пор не возвращается и бедная Наталка одна без него томится.

— Никифор только туманит голову и Наталке и нам всем. Четвертый год пишет только обещания, что мол "скоро" вернется, а когда наступит это его "скоро", неизвестно. Мы уже и хату поставили на его — плане", и деревца, что я привез из лесничества уже выросли там и стали высокими деревьями, а Наталка все ждет и ждет его, но сама не хочет жить в своей хате. Не знаю, правда или нет, но ведь артельное хозяйство тоже не такое уж плохое дело. Ведь один хозяин единолично вряд сможет пользоваться современными сложными машинами, а объединившись в артель можно достать и трактора и другие сельско-хозяйственные орудия...

Тарас Охримович безразлично махал рукой на такие доводы, прекращал спор и уходил из хаты в баз к своим лошадям, коровам и прочему скоту. Там он под-

ходил к своим шестерым доморощенным лошадам, любовно гладил их по шее, тербил их гривы; за камышевой перегородкой база смотрел на троих молочных, красно-немецкой породы, коров, на дремавших под навесом десятки овец. Потом выходил из калитки база и шел по обширному двору, где повсюду гоготали гуси, кажкали утки, кудахтали десятки кур, сбившись в кучу туркали индюки. Он был доволен своим хозяйством и большего ничего не хотел. И ничуть не завидовал тем казакам, которые увеличив свое хозяйство, стали называться "кулаками". Его хозяйство по-прежнему стояло в разряде "средняцких".

Осмотрев все, Тарас Охримович возвращался в дом и заставлял внука Мишу, сына Петра и Даши, вслух читать газету "Советский Пахарь", в которой ему особенно нравился отдел "Дед Пантелей".

В воскресные и праздничные дни Тарас Охримович шел со своей Ольгой Ивановной в церковь. Там он встречался с знакомыми станичниками, обсуждал с ними текущую жизнь и личные хозяйственные дела и к обеду возвращался домой.

Невестки его всегда приготавливали вкусный обед, все садились за "сырно" — низкий круглый стол, — потом отдыхали. После отдыха шли во двор и управлялись с хозяйством... И, казалось, такой мирной патриархальной жизни старого казака-хлебороба никто никогда не нарушит.

Но... вскоре все это пошло прахом...

ГЛАВА 2.

Еще немногим раньше Ленин настойчиво говорил о переходе сельского хозяйства "на социалистические рельсы" и в 1928 году советское правительство приступило к сплошной коллективизации всего сельского хозяйства страны. Началась "ликвидация кулачества, как класса".

Всеобщая коллективизация нужна была не только для того, чтобы ликвидировать мелкие единоличные хозяйства, в которых трудно было использовать современные крупные машины, но государству нужен был запланированный постоянный зерновой фонд, что без объединения сельского хозяйства в крупные единицы, труд-

но было выполнить. Некоторые зажиточные хлеборобы накопили в своих амбарах тысячи пудов зерна, но продавали на государственные пункты мало. В то же самое время в крупных городах страны ощущался большой недостаток хлеба.

Представители заготовительных пунктов постоянно говорили на собраниях хлеборобов, что в Москве и Ленинграде рабочие получают только по четверти фунта хлеба в день (сто граммов!), а у казаков в амбарах лежат без движения тысячи пудов лишнего зерна. Агитаторы призывали вывозить на государственные заготовительные пункты свои излишки зерна, но их призывы мало действовали.

В речах агитаторов было большое преувеличение, ибо в 1928-29 годах рабочие Москвы и Ленинграда совсем не голодали, хлеб был нужен государству для экспорта, чтобы иметь возможность покупать за границей нужное машинное оборудование, для начавшейся индустриализации страны...

Когда уговоры агитаторов не помогли, всем крупным хозяйствам было официально предложено немедленно вывезти на заготовительные пункты все излишки зерна, чтобы, при больших залежах, не подвергать его заражению появившихся в амбарах особых вредителей-долгоносиков. Однако и такое указание местных властей не помогало и многие по-прежнему упирались... Правительство постановило подвергать судебному преследованию и наказанию тех хлеборобов, которые не сдают зерно на государственные пункты. Народные суды выносили таким обвиняемым приговор: два года лишения свободы с конфискацией всего зерна, а после отбытия срока наказания — пять лет высылки в отдаленные края.

Однако и такие меры не помогли государству разрешить хлебную проблему. Главное, учесть количество зерна в индивидуальном хозяйстве было трудно, а призывы к добровольной сдаче зерна государству имели малый успех.

Убедившись, что мирным методом коллективизация не даст желаемых результатов, Северо-Кавказский Крайком партии и Крайисполком, во главе которых стояли тогда Шеболдаев и Ларин, постановили:

"Выселить из пределов Северо-Кавказского края, в административном порядке, всех кулаков и лишенцев с

их семьями, а все их имущество кофисковать и безвозмездно передать в организуемые колхозы...“

Политбюро ЦК ВКП(б) и Совнарком СССР немедленно утвердили постановление Северо-Кавказского Крайкома и Крайисполкома.

Началась новая настоящая революция в сельском хозяйстве страны и, особенно, в богатых казачьих областях на юге России. Такое мероприятие правительства было новой трагедией для зажиточных хозяйств, зачастую многосемейных, ибо административному выселению таких хлеборобов подлежала вся семья: и женщины, и дети, и старики. Лишались избирательных прав и административно выселялись со своими семьями не только кулаки и зажиточные хлеборобы, но иногда и середняки и даже... бедняки, если на них кто-то доносил, что они занимались перепродажей сельско-хозяйственных продуктов.

Чтобы правдиво и документально нарисовать картину того, как тогда, в некоторых случаях, проводилось "раскулачивание" и выселение из станиц и хуторов казаков-хлеборобов, автор предлагает читателю отдельную главу, в которой указано действительно происходившее, причем, имена действующих лиц указаны точно.

Примером взята станица Старо-Минская, Краснодарского края (бывшей Кубанской области) за годы от 1928-го и последующие. Станица эта взята потому, что в те годы, пишущий эти строки, жил в ней.

ГЛАВА 3.

В большой квадратной, с высоким потолком, комнате станичного совета, собрались низовые вершители людских судеб. Тут были местные партийцы, члены президиума стансовета, актив бедноты и представители райисполкома, помещавшегося на втором этаже того же здания, где раньше помещалось станичное правление, во главе с атаманом.

Внеочередное заседание президиума станичного совета проводил его председатель Иван Котельников. На нем было новое, с каракулевым воротником, пальто, которое он редко снимал в общественном месте, вероятно, боясь, чтобы его не украли. Пальто было расстегнуто и свисало с плеч, обнажая толстую шею. Маленький,

вздернутый нос и наклоненная над столом голова, создавали впечатление, что он все время к чему-то принимает. "Полукитайскими", слегка раскосыми, глазами он водил по лежавшему перед ним большому листу исписанной бумаги, делал там какие-то пометки красным карандашом и изредка, поднимая голову, говорил:

— В нашем списке одобрено к выселению только двести семейств, а это далеко недостаточно. Называйте еще кандидатуры казаков, подлежащих выселению! Вот, например, я сейчас вписал сюда Кияшко Тараса Охримовича со всей его семьей. Этого, конечно, и обсуждать не будем, настоящий кулак, да еще и сын его ушел с белыми за границу.

Все промолчали и над внесенной в список фамилией Кияшко, Котельников поставил карандашом соответствующую отметку.

— Если мы будем так либеральничать с кулаками, то и до весны не составим полного списка к выселению, — сказал секретарь партиячейки Луганский, сидевший за другим столом. — Ты, товарищ Котельников, энергичнее действуй. Да и вы, — обратился он ко всем находившимся в комнате, — поактивней помогайте нам. Крайисполком прислал нам точный план: "В феврале выселить из Старо-Минской триста кулацких семейств!" Уже прошла почти половина февраля, а мы все топчемся на месте и едва определили двести семей. Давайте сейчас подходящие кандидатуры, чтобы сегодня же нам закончить список на триста кулацких семейств и завтра райисполком утвердит их выселение. Не обязательно видных кулаков, можно и других, например: кто у кого-то арендовал землю, имел, хотя бы, сезонных батраков, спекулировал сельско-хозяйственными продуктами, высказывался против коллективизации и других подобных им неблагонадежных типов.

— Товарищ Луганский! — обратился к секретарю партиячейки один из присутствующих. — А не лишенных избирательных прав можно включать в списки выселяемых?

— Нет! — ответил Луганский. — Выселяемый должен быть лишенцем.

— А разве Кияшко Тарас Охримович лишенец?

Котельников вопросительно посмотрел на своего секретаря Мацало. Последний, бегло просмотрев лежавшие перед ним списки, сказал:

— Кияшко Тарас в списках лишенцев не значится.

— Как так! — привстав, крикнул Котельников. — Такой зажиточный кулак и до сих пор не лишенец?

— Не знаю. Возможно потому, что он хоть и зажиточный, но чужой земли не арендовал, батраков никогда не имел, а все хозяйство содержал только своим трудом. По какой же статье его будем лишать избирательных прав?

— Надо найти такую статью! Товарищи бедняки! Может кто из вас знает, что-нибудь компрометирующее об этой антисоветской семье? — и Котельников вопрошающим взглядом обвел собравшихся активистов.

— Я хочу сказать от шо, — и от группы актива бедноты со скамейки поднялся некто Иван Цесарский. — В прошлое воскресенье я був в Ростове и своима очима бачив, як Петро Кияшко продавав там на базаре штук двадцать обделанных курей и яйца. Может то вин продавав не свое, а спекулировал?

— Ага, вот оно что! Спекуляция сельско-хозяйственными продуктами! Хорошо, вот и нашлось законное основание. Товарищ Мацало! — обратился Котельников к секретарю стансовета. — Запиши в другом протоколе: "Граждан Кияшко Тараса, Кияшко Петра и всех взрослых из его семьи лишить избирательных прав по статье 15, пункт "3" инструкции ВЦИКа РСФСР, за "перепродажу сельско-хозяйственных продуктов". Только протокол о лишении напиши отдельно от сегодняшнего и датируй не сегодняшним числом, а... несколькими днями раньше".

И Мацало в другом протоколе написав так, как велел Котельников сказал:

— В наших списках есть такие хлебобобы, которых по имущественному положению трудно было лишать избирательных прав, — середняки и даже бедняки, но которые или арендовали землю у других, или имели временных батраков, — и он показал список таких лиц.

— Назови этих лиц!

— Например, Шевченко Василий, в прошлом году арендовал пять гектаров земли; Бардак Григорий — сапожничает, но в течение года имел помощника, подмастерье-ученика; Бирюк Федор — до двадцать пятого

года занимался перекупкой скота, шабайством, но по социальному положению-бедняк. И еще есть десятка два-три таких казаков.

— Так чего же ты прячешь эти списки? Надо сейчас же всех этих лиц лишить избирательных прав, найти еще и других и дополнить нужное число выселяемых. Записывай их в тот же протокол, что и Кияшко!

И Мацало начал вписывать в другой протокол имена этих лиц.

Один из актива бедноты, в поношенном кожушке, высокого роста казак поднялся со скамьи и, покручивая большие рыжие усы, сказал:

— Товарищ председатель! Чем тут нас всех напрасно задерживать, вы взяли бы списки всех жителей нашей станицы, отсчитали подряд "скільки вам треба", та й заполнили бы список выселяемых. Разве можно погублять таких хлеборобов, як Тарас Кияшко, та Васыль Шевченко? Разве ж они кулаки? Кого они чем обидели, кого эксплуатировали, у кого шо отняли? Вони свое хозяйство собственным трудом укрепляли, трудились "як волю", а многие из наших теперешних бедняков, когда они летом тяжко трудились на полях, в холодочку лежали, та в подкидного шпарили...

Он бы еще говорил, мешая русский язык с черноморским диалектом, но ему больше не позволили.

— "Подкулачник, подкулачник"! — слышалось шушуканье некоторых.

— Под кулацкую дудочку пляшешь? — сердито заметил ему Котельников. — Не к лицу тебе такие высказывания. И чтобы больше ничего подобного мы не слышали от тебя, а то не посмотрим что ты бедняк. Нам надо выполнить план выселения из станицы всех лиц, мешающих успешному проведению коллективизации. Понял?

Хлебороб молча опустил на скамейку и больше ничего не сказал.

Благодаря методу Котельникова и Луганского, секретарь стансовета Мацало заполнил список лишенцев и выселяемых даже превысив план: триста пять семейств, вместо трехсот!...

В таком виде, без какой-либо отсебятины, это заседание действительно имело место 12 февраля 1930 года в станице Старо-Минской Донского округа, Северо-

Кавказского края.*) Его участники не вымышлены, а названы собственными именами.....

ГЛАВА 4.

После указанного заседания Старомиинского стансовета, представитель райисполкома Парамонов утвердил весь список триста пяти семейств, подлежащих административному выселению в северные края.

В этот страшный список попали и новые "лишенцы": Кияшко Тарас и сын его Петро со всей их семьей, и Шевченко Василий, хотя последний был обыкновенным "средняком". Вся его "вина" заключалась в том, что два года до этого он арендовал землю у Кияшко Наталки, и только один единственный год, но для Котельникова это явилось основанием для лишения Шевченко избирательных прав и последующего выселения.

Наталка отделилась от хозяйства Тараса Охримовича в 1927 году, и вышла было жить на свою усадьбу, надеясь на скорое возвращение Никифора, но прожив там с детьми в своей хатенке один год, опять вернулась в дом Тараса Охримовича и стала членом семьи, как и прежде. И это было ее роковой ошибкой: она тоже попала в число "лишенцев" и в список выселяемых, как член единой семьи Кияшко.

(Небывалый парадокс: И тот, кто арендовал ее землю, Шевченко, и та, которая сдавала ему в аренду свою землю, Наталка — оба стали... лишенцами).

Настал черный день для семьи Тараса Кияшко.

Через несколько дней, после утверждения райисполкомом списка выселяемых, во двор Кияшко явилась группа активистов стансовета с одним милиционером и не говоря ни слова хозяину вошла в конюшню и стала забирать лошадей.

Увидев это, Петр с отцом выбежал из дома. Вскипев, он яростно кинулся на одного активиста, своего же соседа казака Дениса Кононенко, уведившего от ясел лысого коня, со всей силы ударил его кулаком в лицо и сбил

*) В 1930 году Северо-Кавказский край в административном отношении был поделен на округа. Кубанская станица Старо-Минская почему-то тогда входила в Донской округ, с окружным центром в Таганроге.

с ног. Кононенко, падая, выпустил повод, а конь остановившись, повернул голову в сторону Петра и заржал.

— Не надо, Петрусь, не надо! — навзрыд говорил Тарас Охримович. — Этим теперь ничему не поможешь, а только горя нам всем прибавишь! Не я ли говорил тебе много раз, что наше крепкое хозяйство на нашу же голову и падет?

— Что, контрреволюционное сопротивление? — сурово крикнул милиционер, выхватывая наган.

— Стрелять хочешь? Вы мастера стрелять в безоружного! Не таких "героев" я видел за свою жизнь, — угрожающе крикнул Петр, готовый кинуться и на милиционера.

— И застрелю, имею право. Отойти прочь!

— Не отойду, не дам наших коней бездельникам! Мы их не накрали, а сами вырастили для своего хозяйства.

В то время, когда Петр пререкался с милиционером, три активиста подкрались к нему сзади, скрутили руки и оттеснили прочь. Милиционер арестовал его и увел в участок милиции.

Избавившись от главного противника, активисты стали выводить всех лошадей со двора Кияшко. Тарас Охримович подбегал и припадая лицом ко лбу каждой лошади, обнимал за шею, любовно теребил гриву, целовал и... плакал, как ребенок. Активисты понимали горе старого хозяина и не очень препятствовали ему прощаться с многолетними четвероногими друзьями.

Видя уводимых за ворота лошадей, Ольга Ивановна упала на землю и стала биться в истерике; она страшно голосила, повторяя навзрыд самые нежные слова по адресу доморощенных лошадок, к которым привыкла, как к членам своей семьи. Рыдали и все другие женщины и подростки.

После увода лошадей, Даша сейчас же побежала в милицию, чтобы узнать, что же будет теперь с Петром.

— Свидания не разрешаются, — сказал ей дежурный милиционер. — Таких героев, как ваш Петр, здесь уже много сидит. Увидитесь на севере...

И Даша вернулась домой ни с чем.

В тот же день у Кияшко забрали все живое: коров, овец, птицу...

Через два дня после этого, в сумерках, в дом Тараса Охримовича самовольно зашла целая группа мест-

ных активистов, с бывшим бандитом Муцким во главе. С ними был и оперчекист из Таганрога, который едва ступив на порог, строго спросил:

— Почему до сих пор не освобождаете дома?

— Какого дома? — бледнея, спросил Тарас Охримович.

— Что за наивный вопрос? — грубо вмешался в разговор Муцкий. — Этого дома, который теперь является собственностью колхоза "Ленинский шлях", а вы в нем продолжаете незаконно жить. Вон отсюда сейчас же!

В глазах Тараса Охримовича потемнело, тяжелым комом стянуло горло, он не мог выговорить больше ни слова, а стал только жестикулировать и мычать, как немой.

Ольга Ивановна повалилась чекисту в ноги и с плачем говорила:

— Голубчик, дорогой! В стансовете произошла ошибка: мы не кулаки, никогда никого не эксплуатировали, батраков не держали, земли не арендовали, всегда работали только сами. Это же наша трудовая хата, мы ее собственными руками строили. За шо ж гоните теперь из родной хаты? Неужели так может позволять советская власть?

— Что, может советская власть не нравится? — ехидно заметил Алексей Муцкий. — Напишите заявление о власти, может поставят другую. Мы сегодня и есть советская власть. И нечего с ними антимонию разводить, товарищ уполномоченный. Пусть не задерживают нас и убираются вон отсюда.

— Куда же мы пойдем из под своей крыши с малыши детьми, да еще в такой морозный вечер?

— А это уж не наше дело. Сказано освободить дом и баста: никаких разговоров! Была хата ваша, а теперь наша...

И вот в поздний холодный вечер, поспешно сложив в узлы кое-какую одежду, вся семья Тараса Кияшко последний раз переступила порог собственного дома и, в ночной тьме, очутилась на улице. При выходе из калитки, 72-летний хлебороб Тарас Охримович приостановился, обернувшись грустно посмотрел на высокие тополи у забора, которые он когда-то сажал, перекрестившись, поцеловал покрытые инеем ворота и, опустив голову, вместе с семьей, пошел по улице, неся в узелке все свое

"богатство". Он чувствовал, что больше не вернется в свой дом, построенный еще его отцом Охримом Пантелевичем.

Вначале все решили идти ночевать к свату своему, Василию Шевченко, но, приближаясь к его двору, увидели, что он со своей семьей тоже шел по улице искать себе пристанища: его семью тоже выгнали из дома, как и Кияшко.

Тогда они всей гурьбой пошли к другому свату Трофиму Костенко, к родителям Даши, которых пока не лишали избирательных прав и не трогали.

Хотя впускать к себе в дом раскулаченных тогда и не разрешалось активистами "унтер-пришибеями", но Костенко всех впустил в хату и разместил на ночь кого на полу, подослав соломы, кого на печи. Он считал, что произошло недоразумение и был убежден, что через день-два все выгнанные возвратятся в свои дома, тем более такие, как Шевченко и Кияшко, которые "кулаками" никогда не были.

Но надеждам благодушного хозяина Трофима Костенко не суждено было сбыться...

ГЛАВА 5.

Через несколько дней после изъятия дома у Кияшко, всех мужчин, из семейств подлежащих выселению из станицы, более трехсот человек, арестовали и заключили в бывшую большую общественную конюшню во дворе стансовета. Семьи же их привели на станцию и стали грузить в товарные вагоны длинного состава, стоявшего на запасном пути.

Вскоре большой состав товарных вагонов был заполнен женщинами, детьми и стариками, и оцеплен войсками ОГПУ.

Через день после погрузки, к этим семьям, привели арестованных взрослых мужчин. С последними прибыли и Петр Кияшко с Николаем Шевченко, и эти два сослуживца были рады хоть тому, что семьи их оказались в одном вагоне.

— Что ж, Николай Васильевич, вези теперь всех нас к своим самоедам, — сказал Петр. — Ты уже был у них в гостях, когда убежал от Колчака.

— Если бы я знал, что так с нами теперь поступят,

то никогда бы не вернулся от самоедов, а лучше тогда же и остался на севере, — сердито проговорил Николай. — За что нас выгоняют с родимого края и куда повезут?

— Не нужно роптать на нашу судьбу и спрашивать: "за что, за что"; ведь мы же потомки запорожцев. Разве не читал, как царица Катерина разорила Запорожскую Сечь, всех наших предков выгнала с родной земли, а потом переселила на голые земли Кубанщины? Но наши прадеды не испугались: беспрерывно воюя с горцами сумели так освоить, застроить и обогатить Кубанский край, что потом всем завидно стало. Не испугаемся и мы.

— То так, но в Кубанский край тогда переселилось все Черноморское войско со своими семьями, а сейчас выселяют почему-то только некоторых, а остальные остаются. И разве мы с тобой кулаки?

— Ничего, не отчаивайся, правда восторжествует и, может быть, мы опять вернемся в родной край...

Один пожилой чекист, обращая внимание своей военной выправкой, проходя мимо полуоткрытых дверей вагона, в которых стояли и разговаривали Петр и Николай, приостановился и полушопотом сказал:

— Что, не нравится? Не хотели воевать, бросив фронт, поддержали красных, так и получайте же теперь "награду"! Разве не говорили вам офицеры Доброармии, что "кубанцам пощады не будет"? И вот частичка их угрозы уже осуществляется, но это только цветики, а ягодки еще впереди. Кого поддерживали в Гражданку?

— Мы серьезно не поддерживали ни тех, ни других, ни белых, ни красных, — сказал Петр, насторожившись. — Мы хотели только жить мирно и спокойно в своих станицах. И так все казаки.

— Все казаки, говоришь? А у красного главкома Сорокина на Кубани разве не Кубанские казаки служили? А у Жлобы, Кочубея, Ковтюха? А не половина ли Конной армии Буденного состояла из Донских казаков? А старые офицеры Голубев, Подтелков и Кривошлыков разве были не казаками, пусть Донскими, но казаками. Мы в казачьих станицах вскоре не оставим и половины казаков из старшего возраста, а дворы и улицы ваши высоким нескашиваемым бурьяном зарастут и от усадьб камня на камне не оставим, но в Москве об этом никто ничего не будет знать. И "там" есть наши люди. Мы вам покажем...

— Кто это "мы", кто вы такие? — и Петр повысив голос выторнулся из вагона. — Здесь у нас теперь советская власть, а ты кто?

— Молчать! Товарищ боец, закройте дверь этого вагона! — и этот чекист сразу же направился к перрону и скрылся в толпе.

— Отойдите дальше, приказано закрыть вашу дверь, — сказал подошедший боец.

— Да ты слышал, что тот тип говорил здесь? — сказал ему Петр.

— Ничего не слышал и ничего не знаю, — ответил холодно боец и немного потоптавшись отошел, так и не закрыв дверей вагона.

Посмотрели казаки вслед ушедшему чекисту и сразу раскусили кто он, и почему так говорил. Вспомнили, как в январе двадцатого года бегущие к Новороссийску офицеры Доброармии, угрожающе повторяли:

— Кубанцам пощады не будет! Мы не все уходим. Сотни наших офицеров скроются в ваших станицах, станут коммунистами и будут мстить вам и мстить. Мы покажем вам, как бросать фронт...

Несомненно, что и говоривший сейчас с Петром чекист был не кто иной, как перекрасившийся и пролезший в ОГПУ бывший офицер грабительской армии Май-Маевского...*)

**

Сын Николая Шевченко, восемнадцатилетний парубок Николай, уединившись в углу вагона с семнадцатилетней Клавой Кияшко, дочерью Наталки и Никифора, все время о чем-то шептался с нею. Посторонние давно замечали, что они ведут себя не как двоюродные брат и сестра, кем они формально и были, а как обыкновенная молодая пара влюбленных.

— О чем ты шепчешься с Клавой все время? — спросил, наконец, своего сына Николай Шевченко. — Вы так секретничаете, вроде как заговор какой против нас затеиваете.

— Та... похоже и на заговор, но только не про-

*) Генерал Май-Маевский, командовавший в девятнадцатом году одной из армий Деникина, в Харьковском районе особо «прославился» грабежами и пьяными оргиями своих воинов.

(см. книгу Раковского «От Орла к Новороссийску».)

тив вас, — сказал парубок Коля и посмотрев пристально в глаза отцу, серьезно выпалил:

— Тато! Мы с Клавой не хотим ехать с вами в далекую неизвестность. При первом удобном случае мы хотим скрыться из вагона и убежать. На нас, молодых, никто не обратит внимания.

— Что ты, сынок, затеваешь, не надо этого делать! Что будет нам, то и вам, расставаться нам нельзя. Скрыться то вам не трудно, но ни мы потом ничего не будем знать о твоей судьбе, ни ты о нас, а разве тебе не жалко так оставлять родителей и девушку? Потерпите, я верю, что наше дело скоро разберут по-настоящему и всех законно возвратят назад в станицу. Да и что люди скажут, если ты убежишь с двоюродной сестрой? Ты и так уже ведешь себя с ней не как нужно . . .

— Тато, вы же добре знаете, что она . . ., — он запнулся, помолчал, потом вздохнул и сказал: — Ладно, поедем все вместе, не будем сейчас расставаться. Но если в скором времени нашу жалобу не удовлетворят и мы не вернемся все в станицу, то мы с Клавой убежим и позже, хоть от Северного полюса.

— Добре, потом видно будет, а сейчас не прибавляй нам горя . . .

— Не оставляй меня, доченька, — говорила и Наналка всхлипывая, узнав о намерении Клавы. — И тата нашего нет, и ты хочешь оставить меня в такую тяжкую годину. Не надо, мне и так тяжело на душе. Будем вместе горевать.

Клава молча согласилась с доводами матери и осталась . . .

Так Коля и Клава и остались в вагоне вместе со своими семьями, не решившись их огорчать и добавлять горя, но тайно шептаться не переставали и дальше, вызывая любопытство у всех жильцов этого передвижного "дома" на колесах.

ГЛАВА 6.

У станционных зданий и на привокзальной площади стояла многочисленная разношерстная толпа жителей станицы, пришедших проститься со своими близкими и знакомыми, но близко к вагонам выселяемых никого не подпускали.

В этой толпе народа Даша заметила своих родителей, грустно глядевших в сторону ее вагона.

Даша выпрыгнула из вагона, якобы для "малой надобности", потом, обманув бдительность стражников, юркнула под вагон, кошкой проскочила под следующий состав порожних вагонов, стоявших рядом на другом пути, и вскоре была уже среди толпы народа за вокзалом.

— Папаша, мамочка! Чего вы тут стоите? — шепнула она за спиной родителей.

Василиса Григорьевна вздрогнула и быстро обернулась.

— Ах, милая доченька! — и она со слезами повисла на шее дочери.

— Не надо плакать, мама! Мы все скоро приедем назад. Произошла ошибка, это временно, скоро все уладится.

— Еще бы не ошибка! — сказал Трофим Степанович. — Твой родной брат Николай командиром в Красной армии, сверхсрочно остался, а его сестру выселяют вместе с кулаками. Да и какой же Тарас Охримович кулак? Кто-то в нашем стансовете умышленно так наломал дров.

— Ничего, папаша, все скоро станет на свое место, не беспокойтесь.

— Дашенька, может ты теперь и не шла бы назад в вагон? — жалобно прошептала ее мать. — Раз тебе удалось выйти оттуда, то зачем же опять возвращаться? Мы тебя бы временно скрыли у себя, да и вряд ли кто и потом узнал бы.

— Шо вы, мама, как можно это? Там в вагоне остались Петрусь, мои дети Миша и Федя... О, нет! Ни за что я их одних не оставлю! Что всем будет, то пусть и мне будет...

— Правда, доченька, прости меня глупую! Оставлять родных детей и мужа ради собственного благополучия нельзя, да и грешно.

Тут же близко находилась и Приська Довбня и заметив сестру Дашу подошла и сказала:

— Мой Гаврило бригадиром теперь в колхозе. Он говорил, что будет хлопотать и за семью Кияшко, и за Шевченко, и за всех неправильно высланных. И уже написал жалобы и в Ростов и в Москву.

— Это хорошо, пусть хлопочет, может и разберут

его жалобы. Ну, прощайте мамочка, папаша и ты сеструшка, — и Даша со слезами прижалась к груди матери. — Пусть наш Николай тоже пишет жалобы за нас во все концы: и в Таганрог, и в Ростов, и в Москву, и Калинин, и Сталину, и Ворошилову. Он же командиром в Красной армии, так неужели же нарком Ворошилов не обратит внимания на его жалобы? Пусть пишет!

— И чего ты, Дашунька, так спешишь уходить? Побудь еще с нами.

— Нельзя, мама, нельзя! Там в вагоне будут все волноваться из-за меня.

— Когда же мы увидим тебя теперь? И увидим ли вообще? — и слезы матери часто падали крупными каплями на голову дочери, опять прильнувшей к ее груди.

Трофим Степанович стоял молча и тоже утирал кулаком глаза. Плакала и Приська, прижавшись к плечу своей младшей сестры.

Крепко поцеловав еще раз мать, отца и Приську, Даша побежала назад в вагон к своей семье...

Тарас Охримович стоял у открытых дверей вагона и молча смотрел на толпу станичников. Издали грустно взирал он на широкие улицы родной станицы и чувствовал, что расстается с ними навсегда. В его тяжелом молчании таилось много тревожных дум о грядущей судьбе всех выселяемых и остающихся в станице, а в груди кипела большая обида: за что его так наказали? За что лишили родного крова и родного края?

Молчали все: и административно выселяемые с родимых мест, и стоявшие вблизи перрона, и на площади близкие и знакомые станичники, остающиеся в станице.

Страшно было, такое всеобщее молчание. Ибо в этом необыкновенном молчании таилась скрытая злоба, страшная внутренняя сила, которая легко могла прорваться наружу и, не взирая на последствия, много принести горя всей стране.

Наконец поезд тронулся.

Душераздирающие вопли, прощальные возгласы, крики охраны, грохот товарных вагонов — все слилось в общий страшный гул. И этот гул, исходивший как будто из преисподней, и причитания остающихся в станице, еще долго слышались на привокзальной площади станции Старо-Минская, пока поезд не скрылся на северо-востоке, за Канеловским бугром...

Такие или подобные таким административные высе-

ления зажиточных хлеборобов и их семей происходили тогда не только во всех станицах бывшей Кубанской области, но и в других казачьих областях юга страны . . .

ГЛАВА 7.

Выселенных с Кубанской станицы Старо-Минской привезли в мало заселенную часть северо-западного Урала, остановили среди лесных массивов Надеждинского района и только там им сказали, что они прибыли "к месту назначения".

Детей и женщин временно поместили в бараках, возле рабочего поселка Богословского завода, а всех трудоспособных мужчин повели пешком по глубокому снегу километров за десять-пятнадцать, вглубь векового хвойного леса. Там им вручили топоры и пилы, и командовали:

— Рубите, пилите! Если не хотите замерзнуть и заморозить свои семьи, то стройте себе жилье из этого леса. Другого жилья для вас здесь нет и не будет. Гвозди и другой необходимый материал мы вам завтра дадим. Начинайте!

И начали. Не упали духом труженики Кубанских полей. В глухом лесу, в снежную бьюру и холод, со свойственной казаку-хлеборобу энергией, они за несколько дней построили примитивные бараки, щели между бревнами заткнули, добытым из под снега мхом и разместились в них пока на хвойных ветках. Посреди барака круглые сутки горели в железной печке дрова и в жилье этом было тепло.

— Дали пыть! — озлобленно говорил богатый казак станицы Белозор Устим. — Вы думаете случайно пала расправа в первую очередь на наших кубанцев? Это бывшие деникинцы перекрасились в червонных и приводят в исполнение свои угрозы.

— Какие угрозы? — спросил Тарас Охримович.

— Разве не знаете? Я помню, как в предпоследнюю ночь перед вступлением красных в нашу станицу, в доме бывшего атамана Сердюка ночевало шесть офицеров Добровольческой армии, которые все время повторяли: "Кубанцам пощады не будет! Не будет хохлам пощады!" Всю вину за провал своей белой борьбы, они сваливали на кубанцев. А кто виноват? Находясь у белых

казаки не знали, за что воевали и многие пошли до красных. Главком же Деникин все штабы свои заполнил разной разложившейся сволочью и они натворили то, что фронт рухнул и вместо Москвы, белые очутились в Черном море. Если одни воевали, то другие его воины грабили мирных жителей, отправляя возами награбленное домой, насильовали женщин и пьянствовали. Что же от такой армии можно было ожидать?

— То все правда, Устим Фомич, но в нашем деле есть еще и другая причина. Я много слышал в стансовете о социализме, который советская власть решила провести и среди хлеборобов.

— А шо то такое "социализм", с чем его едят?

— Как, будто вы и не знаете! То шо сейчас и далается в наших станицах: всеобщая коллективизация, чтобы по плану иметь посеvную площадь и точно знать об урожаях. Да и разные там трактора и другие большие машины легче использовать в колхозах, чем в индивидуальных хозяйствах. С нами же, богатыми хлеборобами, это трудно делать. Мы обросли своим крепким хозяйством и ни в каком социализме не нуждались. Все это хорошо видела советская власть и чтобы мы не мешали коллективизации, совсем убрали нас из станиц подальше. Правда, наш Котельников и ему подобные при этом много дров наломали, но этого на верхах может и не знают.

— Похоже, что вы согласны с тем, что нас выгнали из своих домов и загнали мучиться в эту глушь?

— Я не сказал, что согласен. Кто добровольно согласился бы уходить из собственной теплой хаты и ехать на север в холодные бараки? Но мне кажется, что скоро все уладится и мы вернемся назад в родную станицу.

— А я чув, шо теперь в нашем станичном колхозе "Ленинский Шлях" шьют большие одеяла, по сорок метров в ширину, — вмешался в разговор брат Устима, Михаил Белозор, — и все мужчины и женщины будут спать под одним одеялом. Ха!

— Ото ж для того и социализм хотят, чтобы больше не было ни жен, ни мужей, а все под одним одеялом, — сказал Устим. — Попробуй под таким одеялом добратся до своей Горпыны, обязательно зацепишься за другую...

Многие захохотали, но Тарас Охримович махнул на них сердито рукой и пошел прочь.

— Хорошо, Петро Тарасович, что мы своих баб с собой забрали, а то там бы теперь в колхозе под одним одеялом "социализм" с городовиками наворачивали, — сказал Петру Устим.

— Твой отец Фома Кузьмич был и богатый и порядочный человек, — сказал в ответ Петр, — а ты настоящее трепло. Я тоже жил в той же станице, что и ты, но даже и не слыхал про какие-то сорокаметровые одеяла. Скорее всего у некоторых таких, как ты, были сорокаметровые языки. Не даром тебя и Горпына дважды бросала...

— Ну, я пошутил, а ты уж и мою жену зацепашь, к чему?

Но Петр больше не стал слушать его и тоже пошел следом за отцом...

Такие бессмысленные разговоры часто происходили среди кубанцев в холодной тайге. И даже там не обходилось без "скромных" анекдотов...

Тарас Охримович Кияшко не дождался благословенного часа возвращения в родную станицу. Через год после выселения, в далеком от родной Кубани Надеждинском районе, Свердловской области, 74-летний казак-хлебороб скончался. На отведенном для выселенцев участке кладбища, вблизи Богословского завода, его зарыли в чужую мерзлую землю, без всякого обряда и почета.

Его многолетняя спутница жизни Ольга Ивановна не выдержала такого страшного удара и через месяц была похоронена там же, рядом с Тарасом Охримовичем.

Резкая перемена климата, отсутствие медицинской помощи и недостаточное снабжение продуктами питания, способствовали увеличению смертности среди этих людей. Молодые и здоровые легче переносили всякие лишения, а немощные и старые не выдерживали.

Некоторые молодые поселенцы, не считаясь с опасным риском, стали убегать из лагеря поселенцев куда глаза глядят, но вокруг всего их района была военизированная охрана и дальше десяти километров редко кому удавалось уйти. Тех же, что попадали при бегстве в руки охранников, после карцера или водворяли обратно в бараки лагеря, или заключали в штафную зону, где было еще хуже.

Петру и Николаю Шевченко вскоре удалось устро-

иться среди вольнонаемных в шахте Богословского завода. Они получали на руки половину заработной платы (другую половину завод отдавал администрации лагеря выселенцев), имели лучший паек и могли прикупать еще частным порядком. Работа на заводе давала им возможность более свободно передвигаться почти во всем Надеждинском районе, но после работы они должны были обязательно возвращаться в бараки к своим семьям.

Вскоре на Богословском заводе устроился и Николай младший, сын Николая Шевченко. Он все время не оставлял мысли добыть какой-нибудь документ вольнонаемного, чтобы осуществить свою мечту, но это было трудно.

Другие трудоспособные выселенцы заготавливали строевой лес, который в основном шел на экспорт через Архангельск...

ГЛАВА 8.

Николай Шевченко младший и Клава Кияшко часто вдвоем уходили от барачников в лес, строили планы на будущее и часами бродили среди высоких сосен, не чувствуя усталости. Сами того не замечая они привязывались друг к другу не как брат и сестра, а чувствовали что-то большее. И от этого им становилось и приятно и в то же время и страшно: ведь Клава, как и многие окружающие ее люди, считала, что Коля был сыном ее тети Гашки, родной сестры ее отца Никифора, значит они двоюродные брат и сестра и кроме родственных взаимоотношений между ними ничего не может быть. И в то же время она чувствовала в сердце своем, что любит Колю не только как брата, но как то иначе и больше.

Однажды в выходной летний день, они прошли далеко вглубь нетронутого леса, сели на поваленную толстую сосну и были довольны, что нашли такое уединенное место. Бараки остались далеко и кругом стояла мертвая тишина: ни ветра, ни людей, ни зверей, ни птичек.

Коля! — прервав молчание, сказала Клава. — Почему мы брат и сестра, а не иначе?

— Что за детский вопрос? Так жизнь нас оформила, что ж в этом удивительного? — ответил Николай.

— Ты не так понял мой вопрос. Конечно, ничего удивительного нет в том, что на свете есть братья и се-

стры, даже если они и прогуливаются вдвоем в лесу, но... мне хотелось бы, чтобы ты не был мне братом, а...

— Догадываюсь. Мне тоже часто приходит эта мысль; почему мы брат и сестра, а не иначе? Ведь люблю я тебя вдвойне: и как сестру, и как..., боюсь это даже высказать.

— Так ты... тоже? — и она крепко обняла его, но уклонилась от поцелуя Николая, хотя внутренне и хотела этого. Немного помолчав, она сказала:

— Знаешь что, Коленька! Кто в другой местности может знать, что мы с тобой брат и сестра, и мы бы..., — и она как-то по-детски засмеялась, потом продолжала: — мне мама как-то читала Библию, где написано, что на земле первыми людьми были Адам и Ева, и больше нигде никого до них не было. У них появились дети: мальчики и девочки. Выросли. На ком же они могли жениться тогда? Ясно: родной брат на родной сестре, ведь кроме них никаких других людей на земле тогда не было. И нигде в Библии не сказано, что такая женитьба являлась грехом. А мы же... только двоюродные...

— И ты веришь тому, что написано в Библии?

— Я над этим не задумывалась, мне мама читала это.

— Хорошо, но откуда ты знаешь, что дети Адама и Евы женились?

— Вот тебе раз! А как же могли на земле так размножиться люди?

— А разве ты знаешь, от чего люди размножаются?

— Не считай меня, пожалуйста, ребенком! Мне уже восемнадцатый год пошел, а в наше время про это знают и школьники.

— Ладно, большая стала, но к чему ты все это говоришь мне? — и Николай пытливо посмотрел на нее, хотя отлично знал "к чему" она это клонит.

Клава замаялась, склонив голову засмеялась, покраснела до ушей, не поднимая головы, опять засмеялась и замолчала. И вдруг, рывком обхватив его шею, прерывисто зашептала перед самым его лицом:

— Милый, Колюша! Не прикидывайся незнайкой, ты сам видишь. Я хочу любить тебя не любовью сестры, а... сильнее, ни о ком больше не думая. Что из того, что мы брат и сестра? Об этом только здесь наши люди знают, а в другом краю страны об этом никто и не подумает. Ты, ведь, совсем и не похож на меня: рыжий, как здешние коми-зыряне, а я — черная, как горянка

кавказская. Убежим отсюда при первой возможности, как можно дальше, соединимся воедино, как Адамовы дети, и забудем всех и вся. Грех это или нет, но все равно наша жизнь здесь пропащая. Так давай же перестроим нашу молодую жизнь так, как подсказывают нам наши сердца.

Николай упорно молчал, полуприкрыв глаза, то улыбался, то вздыхал, но никак не решался сказать то, что давно хотел сказать. Он давно сознавал, что их сближение должно, в конце концов, завершиться именно "этим", и ни чем другим и давно собирался открыть ей "чей он", но думал это сделать не в северном лесном краю, не в лагере административно высланных, а в другом месте и в других условиях. Он сам только перед выселением узнал от отца "чей он", а до этого считал так, как теперь считают и другие, в том числе и эта его... "сестра". Да, ей уже восемнадцатый год, любит она его не только как брата, в чем сейчас чистосердечно призналась. Надо развязать этот узел и не таиться.

— Милая, Клавушечка! — привстав и, крепко обнимая ее, дрожащим голосом сказал Николай. — Я тоже тебя люблю, но люблю давно уже и не как сестру. Ты сейчас сказала все откровенно и правдиво, кроме одного. Так знай же, что я тебе никогда не был братом и ты мне никакая сестра: ни двоюродная, ни троюродная.

Клава вмиг вырвалась из его объятий, испуганно отскочила от сосны, на которой они сидели и смотрела на него, как на ненормального.

— Не пугайся и не гляди так на меня! Твоя родная тетя, Агафья Тарасовна, или Гашка, как ее называют до сих пор некоторые, жена моего тата, но она не мать мне. Моей родной матерью была Катерина, которая погибла еще весной двадцатого года. Я был тогда маленький и почти позабыл все происходившее в те годы, потом пришла к тато тетя Гашка, я к ней привык и считал мамой. Не только другие, но и я считал ее родной матерью, хотя смутно помнил и погибшую мать. Перед выселением сюда тато мой подробно рассказал об обеих мамах: Катерине и Гашке. Я хотел тебе открыть эту тайну еще в Старо-Минской, когда мы еще там собирались было убежать из вагона вдвоем, но не было удобного случая.

— И это... правда? — стоя в отдалении, все еще с недоверием спросила Клава.

— Какой смысл мне врать тебе? Спроси лучше свою маму и она расскажет тебе всю правду. Матери можно верить больше, чем кому-либо другому.

— Теперь я понимаю, почему мое сердце так льнуло всегда к тебе и не только, как к брату. Значит, ты . . . , — и недоговорив, она подбежала к нему, крепко обхватила его шею и они слились в первом горячем цопелуе..

— А уйти отсюда мы все равно уйдем, и уйдем вдвоем, — говорил Николай, когда они возвращались назад к своим баракам. — Постараюсь хорошо подготовиться к этому и, как только явится удобный момент, так и убежим, бо о наших жалобах в Москву, что-то ни слуху, ни духу . . .

Едва они пришли в свой поселок высланных, Клава бегом понеслась в свой барак, быстро разыскала свою мать, отвела ее в сторону и тихим шопотом спросила:

— Мама, родненькая, скажите правду: родной матери у Коли Шевченко была моя тетя, Гашка, или кто другая?

— А зачем тебе это понадобилось знать сейчас? — подозрительно глянув на дочь, спросила Наталка.

— Скажите, мамочка! Мне это сейчас оч-чень нужно, а зачем . . . я потом вам скажу.

— Бачу, бачу, доченька, шо ты от Коли без ума, — улыбнулась мать. — Он и сам бы должен тебе ответить на такой вопрос, но может стесняется. Хорошо, раз тебе захотелось знать всю правду, то слушай: родная мать Коли была Катерина, которая погибла, когда ему было шесть или семь лет от роду. Через год после этого твоя тетя Гашка вышла за его отца замуж и Коля так полюбил свою новую "маму", что почти забыл и про родную. Многие так и считали впоследствии, что он сын Гашки и, значит, твой двоюродный брат. Вероятно и ты так думала, что вздумала спрашивать меня об этом, но я часто наблюдала, что отношения ваши были не совсем как брата и сестры.

— Как я рада, как я счастлива, что он не брат мне.

— Чему же ты так рада?

— Вы же сами, мама, сказали, что я от Коли "без ума". И то, правда. Я давно его любила, но боялась полностью раскрывать свои чувства, и даже страшилась своей слепой любви, думая что он мне брат. А теперь . . . — чмокнув мать в щеку, она повернулась и быстро убежала.

— Бедные, бедные дети, — посмотрев ей вслед и глубоко вздохнув, подумала Наталка. — В каких бы условиях ни оказывались, но молодость берет свое. Неблагодарная судьба забросила нас в этот далекий север, где ничто и капельки не напоминает волшебную красоту наших привольных степей Кубанских. Но они и здесь, среди снега и хвойного леса, нашли друг друга. Я росла и любила с Никифором под переключку перепелов, под шелест колосившейся пшеницы, при ласке тихого ночного ветерка в июньской степи родной. А что же здесь мы видим? Высокие сосны, да изредка белки на них, а под ними внизу не трава зеленая, шелестящая, а мох серый, лесной. И это летом! И не то что соловьиной трели и песенных причуд скворцов, но вообще никаких птичек не видишь и не слышишь. Боже, когда все это кончится?

И закрыв лицо руками, она тихо заплакала.

ГЛАВА 9.

Рабочий Богословского завода, некто Пимен Коровин, двадцатипятилетний уроженец города Надеждинска, в пьяном виде потерял все свои документы: отпускное удостоверение, трудовую книжку и специальный пропуск из Особого отдела района. С таким пропуском никто не чинил препятствий при выезде из Нижне-Тагильского округа, в котором было несколько лагерей с заключенными и административно высланными. Пропуск был не только на себя, но и на его жену Лукерью, с которой он собирался поехать к своему дяде в Астрахань. Получив отпускную зарплату, он "на минутку" зашел в пивную, в которой продавались и более крепкие напитки, и до того напился за эту "минутку", продолжавшуюся несколько часов, что впоследствии не мог даже вспомнить: с кем там сидел и как оттуда вышел.

Протрезвившись, Коровин клял все пивные на свете и особо почему-то злился на тех чернорабочих, которые приходили из поселка "кулацких контрреволюционеров" и работали у них на заводе, считая их виновниками его горя. По его заявлению уголовный розыск произвел тщательный обыск в бараках выселенцев, где жили работавшие на Богословском заводе, но, разумеется, ни-

чего не нашли. Не имея нужных документов, Коровин не мог никуда выехать, да и денег не было: всё осталось тогда в пивной. Обещали выдать ему новые документы и пропуск только через месяц.

Через неделю после случая в пивной с Коровиным, Коля Шевченко подошел к одиноко сидевшему на бревне отцу и тихо сказал:

— Тато! Мне уже надоело в таком месте жить. Неужели мы должны прозябать здесь, до конца нашей жизни? Писали уже жалобы в центр и Николай Костенко, и Гавриил Довбня, и никакого результата, а те что мы пишем здесь, их просто бросают тут же в мусорный ящик. Дедушка мой все время слабеет и я не хочу, чтобы и он был зарыт в этом лесу, как Тарас Охримович.

— И я, сынок, не хочу этого и мне тоже надоело здесь, но что мы можем поделать? — разводя руками сказал Николай Васильевич. — Такова уж наша судьба.

— Судьба людская зачастую зависит от самих людей, а под лежачий камень и вода не течет. Я хочу действовать иначе и поэтому решил... бежать отсюда.

— Да ты шо, сынок, с ума сошел? Куда уйдешь отсюда без пропуска и документов? Кругом охранники с собаками, или застрелят, или поймав отправят в штафной лагерь, откуда мало кто выбирается вообще.

— Я это знаю, тато, и если бы не достал пропуска и других документов, то пока и не рисковал бы, — и Николай оглянувшись, полез за пазуху, достал завернутые в бумажку и спрятанные в большой портсигар документы Пимена Коровина и тайком показал отцу.

— Ах ты ж, розбышака! Хотя это не твои, а чужие, но все же. Я чув немного о потере каким-то рабочим документов и, говорят, из-за этого и обыск делали в нашем бараке, но тебя в этом деле и капельки не подозревал. Где же и как ты достал их?

— Самым обыкновенным образом: у пьяного вытащил из кармана, вот и все.

К ним подошел сильно состарившийся за последнее время отец старшего Николая и дед другого, Василий Шевченко:

— О чем тут вы, два Николая, все время шепчетесь? — спросил он.

— Та вот, тато, наш Коля хочет покинуть нас, — и Николай тихонько рассказал отцу о плане молодого парубка.

— Опасно рисковать и ты бы, внучек, подождал еще немного, — сказал дедушка Василий. — Вот Даша Кияшкина недавно получила от своего батьки Трофима Степановича письмо, в котором он еще раз повторяет, что его сын Николай, который в Красной армии каким-то командиром, все время ходатайствует не только за семью Кияшко, но и за всех нас. И что, якобы, из Ростова прокурором получено предписание о расследовании лишения избирательных прав и выселения Кияшко и Шевченко.

— То все, дедушка, по воде вилами писано. Может предписание такое и было, но как его там в станице проведут разные Котельниковы, Парамоновы и иже с ними, это большой вопрос. Если же будем бесконечно надеяться только на кого-то, то скоро все околеем здесь. Вот если я сам поселюсь в нашем крае и сам начну писать и Ворошилову, и Калинину, и Сталину и всем другим, вот тогда может что-либо и получится. Попробую, авось удастся моя затея. Говорят, что "риск-благородное дело", хотя я и не из "благородных", а все же. Когда Запорожские казаки шли в поход на басурманов, то говорили: "хоть пан, хоть пропав", а мы же их потомки.

— То так, правда, молодец, бачу шо и ты запорожской крови. Шо ж, внучек, благослови тебя Бог! Только без надобности не лезь на рожон и с языком здесь поосторожнее, а то, знаешь...

— Знаю, дедушка, знаю, что это дело серьезное. Только, тато, я еще не все сказал.

— А шо ты хочешь еще сказать нам? — спросил его отец.

— Я собираюсь отсюда убежать вместе... с Клавой Кияшко.

Вот еще новость! И сам рискуешь жизнью и еще и дивчину подвергаешь опасности. Или, может, ты слюбился с двоюродной сестрой?

— Тато, вы же знаете, что она мне не сестра, ни двоюродная, ни троюродная и вы сами об этом мне говорили. "Мама" Гаша, на самом деле, не моя мама.

— То правда, ну и шо вы потом дальше собираетесь делать?

— Дальше? А дальше само покажет, что надо делать, лишь бы все прошло благополучно. Она знает, что я не брат ей, мы признались во взаимной любви и реши-

ли не губить наши молодые жизни в этой лесной глуши, а убежать на юг и начать другую, совместную жизнь.

— Не противоречь, Мыкола, молодым орлятам земли Кубанской, пусть летят в Край родной, пока еще свежие крылья! Может хоть они вырвутся отсюда и будут счастливее нас.

Старик перекрестил внука, поцеловал его, смахнул непрошенную слезу со своих глаз и медленной походкой ушел от них.

Немного помолчав, Николай Васильевич спросил сына:

— Ты вот, хоть чужой какой-то документ достал, а как же Клава? Что с того, что тебя пропустят, а ее задержат? Мне и ее жалко.

— И пропуск и документ на двоих: тут вписана и жена Коровина, Лукерья, так что мы обое имеем документы, иначе я бы ее и не тревожил.

— Ну, если так, то это еще полбеды, хотя опасность может нагрянуть с той стороны, с которой ее совсем не ожидаешь. Когда же ты, орел, как выразился дедушка, думаешь улететь отсюда?

— Я и сам точно не знаю: при первом удобном случае и неожиданно для всех, но вы то будете теперь знать. Да и мама Клавы, Наталка, тоже будет знать. Деньги у меня есть, я сэкономил от зарплаты на заводе, но харчишек; хоть немного, надо будет призапасить. Главное же, хорошо предварительно разведать все ходы и выходы из зоны этого лагеря, все дороги и дорожки...

— Шо ж, хай Бог помогает тебе! Только смотри будь очень и очень осторожен, а то и сам пострадаешь и бедную девушку накажешь. Шо касается дальнейшего, если все пройдет благополучно, то лучшей дивчины, як твоя Клава, я и не желаю тебе. Будьте счастливы!

— Спасибо, тато!...

На этом закончился разговор двух Николаев Шевченко, отца и сына, и они разошлись в разные стороны, чтобы не вызывать подозрения своим перешептываньем.

ГЛАВА 10.

Пимена Коровина в окрестностях Богословского завода многие знали в лицо, в том числе и некоторые охранники и это учитывали Коля и Клава. Они решили выбраться из этого района так, чтобы документы Коровина,

оказавшиеся в их руках, ни в коем случае здесь никому не показывать, а предъявлять их только тогда, когда уйдут дальше Надеждинского района.

В назначенный день Клава "заболела" и на работу не пошла. Надев на себя все, что можно было надеть, она положила в вещевую сумку запасные продукты и после обеда согласилась пойти на почту поселка Богословского завода с лагерным письмоносом, чтобы помочь ему принести возможные посылки. Комендант не возражал.

Посылок как раз не оказалось для выселенцев и выйдя из почтового отделения, она сказала письмоносу, чтобы он возвращался один, а она немножко прогуляется тут и вернется к баракам позже. И тот ушел.

Заметив на запасном пути станции состав порожних вагонов рабочего поезда, отправлявшегося в Надеждинск каждый вечер и не видя вблизи никого, Клава прошла на другую сторону, вскочила в один из последних вагонов, пролезла под сиденье в длинный мусорный ящик и притаилась. Часа два она лежала в этом ящике, никого в вагоне не видя и не слыша.

Но вот в вагоне послышались шаги охранников, которые часто останавливались, прислушивались, поднимались на носках и глядели на верхние полки, громко разговаривали, и, наконец, прошли в следующий вагон. Вскоре вагон стал заполняться рабочими, закончившими свою смену на заводе и направлявшимися домой в Надеждинск.

Начало темнеть, но освещения в таких вагонах никакого не было и Клава незаметно выбралась из мусорного ящика, смешалась с рабочими и работницами, пробралась в тамбур вагона и там стала. Поезд тронулся и она еще ближе продвинулась к открытой двери вагона.

Между Надеждинском и станцией Богословского завода был подъем и поезд там шел всегда медленно. По сговору с Колей, она в этом месте на ходу поезда должна была спрыгнуть на железно-дорожную насыпь, бежать в западную сторону в лес, добраться до небольшой речушки и там ждать его. Только она хотела спрыгнуть, как вдруг вблизи поезда услышала винтовочные выстрелы. Став к сходням вагона и взглядевшись в темноту ближнего пространства, она заметила у насыпи двух стрелков, стрелявших в лес. Туда, куда они стреляли, к лесу бежал человек, но кто, она не видела.

"Может это Коля убежал? — в ужасе подумала Клава. — Может думал встретить меня у насыпи на подъеме, а не возле речушки?

И вдруг, ей показалось, что бежавший к лесу человек упал и его не стало видно. Остались позади двигавшегося поезда и стрелки, стрелявшие в ту сторону. Она в ужасе закрыла рукой лицо, не зная, что делать? А тем временем поезд опять стал набирать скорость, двигаясь к Надеждинску, где наверняка у всех пассажиров будет проверка документов прямо на порроне. Думать можно только считанные секунды.

Изловчившись, она прыгнула из вагона вперед по ходу поезда, упав на насыпь дважды перекувыркнулась и ее сумка с продуктами покатила куда-то в сторону. Скатившись вниз, она сразу же встала на ноги, но тут, словно из под земли, вырос перед ней вооруженный охранник.

— Отчаянно прыгаешь, молодайка, так можно и под поезд попасть, — подойдя к ней вплотную, сказал стрелок. — Из какого лагеря бежала?

В ответ Клава изо всей силы внезапно ударила его носком рабочего ботинка чуть ниже живота, отчего тот, не ожидавший такого "ответа", "ойкнув" даже присел, но она не теряя ни секунды уже помчалась в лес. Скоро очнувшийся стрелок стал стрелять в сторону леса, но она была уже невидима за десятками толстых сосен, далеко от железно-дорожной насыпи.

Не останавливаясь, Клава бежала и бежала, не зная даже в какую сторону, западную или восточную, думая только о том, ради кого рискнула на побег. Выбившись окончательно из сил, она в изнеможении упала. Через несколько минут очнулась, опять вскочила на ноги, огляделась. Ничего не видно, ночь кромешная в лесу и полнейшая тишина. Ни малейшего звука, ни шелеста лесного и даже вершины громадных сосен, как бы застыли в оцепенении.

"Где же сейчас я нахожусь? — с тревогой подумала Клава. — Как далеко пробежала и в какую сторону: на запад или может на север или восток? Где же Коля? И как мне самой выбраться отсюда? Звать на помощь, охранники услышат, найдут, заберут назад в лагерь, а может что еще и похуже. Неужели это Коля упал там у лесной опушки, может ранен, а может... О, нет, нет! Прочь страшные мысли! Надо бежать назад, к тому ме-

сту, где он упал, искать его. Но в какую сторону от меня это "назад"?

Она топталась на одном месте, не зная что делать, куда идти и на что решиться, и ничего не придумав, легла на сухой мох и заснула.

Когда она проснулась, было уже светло и безоблачно, за вершинами сосен вставало солнце и она могла теперь более точно определить стороны света.

Оглядевшись вокруг, Клава пошла на запад. Уже солнце до полуденной точки добиралось, а она все шла и конца лесу не было, и на ее пути никакой речушки не встречалось. Кругом стояла мертвая тишина, как на необитаемом острове, но она, ориентируясь по солнцу считала, что идет точно на запад. Скоро усталость и голод стали донимать ее, а сумка, в которой были сухари и немного рыбы, осталась у железнодорожной насыпи, где она спрыгнула с поезда.

Она крикнула во весь голос, но в лесу отозвалось несколько раз многоголосое эхо и опять наступила мертвая тишина.

— Надо еще идти на запад, — сказала Клава вслух. — Буду идти, пока есть силы, а потом... конец.

Вскоре она наткнулась на чьи-то свежие следы, приметный мох и уже было обрадовалась, но хорошо присмотревшись узнала, что это ее собственные следы и место, где она спала минувшей ночью.

— Что же такое получается? Значит утром я пошла не в ту сторону, или, может, вчера пробежала слишком далеко и миновала не заметив даже речушку?! Какой демон крутит меня на одном месте в этой глухомани?

Возможно, я сейчас стала ближе к охранникам? И вдруг ее слух уловил недалекий слабый кашель:

— Так и есть, близко охранники, — гневно процедила она сквозь зубы. — Но теперь, пожалуй, все равно мне пропадать, что ж, пусть забирают, — и с безразличным чувством обреченной, она направилась в сторону донесшегося кашля.

Двадцать-тридцать шагов и она наткнулась на монотонное журчание ручья, а может это была та самая речушка, о которой они условились еще накануне?

Через ручей она переходить не стала, свернула вправо, прошла несколько шагов по его берегу и чуть не упала в обморок: впереди нее на берегу сидел... Коля и

прижимал березовую кору к своему окровавленному плечу. Подняв голову, он чуть не потерял сознание. Слово немые, они не были в силах выговорить ни слова, а потом сплелись в таких объятиях, что никакая сила в тот момент не смогла бы их разъединить.

— Ангел милый, фея моя волшебная, лесная! Клавушечка! — целуя "фею" повторял Николай. — Как же ты попала к тому месту, где я оказался? И где же ты была, бедняжечка, всю ночь и день?

— Где была — там меня уже нет, теперь я возле тебя, — плача и смеясь говорила Клава. — Милый Колюнька, тебя ранили "ягодники"?

Как ты сказала: "ягодники"?

— Да, ягодники! Это охранники наркома Ягоды, их наши так и называют. Когда я стояла еще в тамбуре вагона, то заметила стрельбу по тебе. В ужасе я подумала о худшем, а это еще ничего. Дай-ка я по-настоящему перевяжу твою рану!

Она отвернулась, оторвала от нижней юбки кусок, вначале приложила к ране чистый пласт березовой коры, а потом сверху туго-туго повязала материалом из своей юбки.

Когда этот "доктор" делал перевязку, Коля молча морщился от боли, но ни разу не застонал, а с умилением глядел в лицо своей "лесной феи" и благословлял неожиданную уже встречу.

— Как я рад, Клавушечка, что мы встретились и ты пришла невредимой и теперь со мной. Теперь и погибать не страшно, мы вместе, мы вместе, — говорил он, забыв о ранении и прижимаясь к ней.

— С тобой я согласна на любые муки! И чтобы ни случилось впереди, с тобою приму все хладнокровно. Только... знаешь что?

— Что, Клавонька?

— Мне ужасно захотелось... есть. Мою сумку, в которой были сухари и немного рыбы, я выпустила из рук, когда, прыгнув из вагона, упала на железно-дорожную насыпь. Потом, убегая от стрелка, забыла про нее совсем. И вот...

— Бедняжечка! Ты не только страшной опасности подвергалась из-за меня, но еще и голодаешь. Второй день ведь, не шутка! Сейчас, сейчас!

Он быстро потянул к себе лежавший рядом вещевой мешок, достал из него вяленую треску, полбуханки

хлеба, крупную луковицу и они почти половину этого съели немедленно. Потом напились из речушки слегка зеленоватой от хвои, но приемлемой на вкус воды и стали спокойно обсуждать свое положение.

Они решили идти на юг по течению речки но не выходя из леса. И только километров через сто от зоны лагерей Нижне-Тагильского округа, можно выйти на дорогу или железнодорожную станцию, не боясь показать документы Пимена Коровина. А дальше, купив билеты, ехать поездом в сторону Ростова на Дону, а дальше... дальше — потом будут решать...

ГЛАВА 11.

Немного отдохнув, Коля и Клава отошли от берега речки в лес метров на двадцать и направились в юго-западную сторону. Сквозь просветы между стволами деревьев речка была им хорошо видна, но их от речки никому не было видно. Шли они среди густых и высоких деревьев без протоптанных тропинок, разговаривали почти шопотом и к вечеру сильно устав, решили отойти от берега еще дальше, остановиться и заночевать в лесу.

— Не лучше бы нам как-нибудь переправиться на другую, западную сторону речки? — сказала Клава. — Может быть, там нашли бы какое-либо жилье на ночь?

— Не думаю, чтобы тут близко было жилье для мирных людей, — крутнув головой, сказал Николай. — Скорее всего мы можем наткнуться там на жилье молодчиков наркома Ягоды. И тогда его "ягодинцы" покажут нам, "где раки зимуют".

— Пожалуй, ты прав. Что ж, перебудем одну ночь в лесу, теперь тепло и сухо, мох под нами сухой. Какой еще лучшей "постели" нам желать?

В это время на другой стороне речки послышался лай собаки. Они переглянулись, потом молча подошли к берегу и на другом берегу заметили обыкновенного мужика, что-то делавшего возле небольшой лодки.

И вдруг Николай, только что отказавшийся от переправы на другой берег и ни слова не сказав Клаве, громко крикнул:

— Человек добрый! Не можете ли вы перевезти нас на вашу сторону?

Оставив работу мужик выпрямился, минуту глядел через речку в сторону крикнувшего, потом молча вошел в лодку и направился в беглецам.

— Добрый вечер, молодые люди! — причалив лодку к берегу, где они стояли, оживленно приветствовал он их. — Откуда появились здесь? Вероятно из новых поселенцев в нашем округе?

— О, нет! Мы и родились в Надеждинске, — ответил Николай. — Прогуливались в лесу, забрались, вероятно, далеко, заблудились и теперь даже не знаем, как выбраться на правильную дорогу, которая привела бы нас обратно к Богословскому заводу.

— Заблудились, бывает, — с каким-то сарказмом сказал незнакомец. — Что ж, садитесь на мой корабль и я переправлю вас на другую сторону, как вы и хотели. Переночуете в моей избушке, бо уже вечереет, а завтра я покажу вам правильную дорогу к Богословскому заводу.

Николай сразу же вошел в лодку. Немного замаявшись, Клава тоже последовала за ним и через несколько минут они были уже на другом берегу речки. Выйдя из лодки, они пошли за знакомцем и, вскоре, очутились в большой избе лесника.

В просторной комнате, куда они вошли, в дальнем углу, сидела пожилая женщина и штопала носки. Возле окна сидела молодая девушка в городском платье и читала "Комсомольскую правду".

— Вот что, старуха, — сказал лесник, обращаясь к пожилой женщине. — Подай этим молодым людям что-нибудь поесть и приготовь им ночлег. Они заблудились в лесу, а уже поздний вечер. Пусть переночуют у нас, а завтра утром они лучше найдут дорогу к себе. Я пойду приведу корову с пастбища, — и незаметно мигнув женщине, он ушел.

Девушка подозрительно глянула на уходившего лесника, потом перевела взгляд на "заблудившихся" и несколько минут молча и внимательно глядела на них. Наклонив голову, она несколько секунд думала, потом живо встала и сказала:

— Пока мама готовит ужин, пойдемте, товарищи, я покажу вам лесное хозяйство моего отца, да и сидеть здесь душно. И не оставляйте ничего здесь, и мешок свой берите, — добавила она почти шопотом.

После всего пережитого и усталости Коле вовсе не

хотелось уходить из избы. Зачем ему какое-то хозяйство лесника? Он стал слегка отказываться от предложения, но девушка молча направилась к двери и многозначительно показала обоим на выход из избы.

Выйдя во двор, они втроем прошли за высокий штабель дров и остановились.

— Милые, голубочек и голубушка! — тихо сказала девушка. — Вижу... любовь светится в ваших молодых глазах, и вы... хотите спасти эту любовь. Меня, не бойтесь! — она внимательно оглянулась во все стороны и еще тише продолжала. — Я член Ленинского Союза Молодежи, комсомолка, понимаете? Но... я знаю, что для первой искренней любви, нет ни политических союзов, ничего. Я студентка из Свердловска, уже месяц провожу каникулы у своих родителей, но не это важно, а вот что: не верьте моему отцу, он опасен вам. Тому, что вы гуляя в лесу прошли от Надеждинска так далеко и заблудились, отец, конечно, не верит, да и я... не верю. Но я помогу вам... спастись, хотя это и вопреки моим комсомольским обязанностям. Так вот: знаете куда сейчас пошел отец? Никакой коровы на пастбище у него нет, это я точно знаю. Пошел он в дом охраны ОГПУ, недалеко от нас тут же в лесу, пошел заявить о вас, как о беглецах из поселка административно-высланных казаков. Работая лесником, он обязан быть и внештатным сотрудником ОГПУ. Иначе ему этой должности не дали бы. Хотя он и отрицает, но мне со стороны говорили, что за каждого пойманного, по его указанию, беглеца, ему выдают по 25 рублей. Не знаю, все может быть, ибо живут мои родители неплохо. Мне жаль вас! Ведь вы абсолютно неповинны в грехах своих отцов, как и я неповинна в действиях моего отца. Я не требую от вас объяснений, но если вы действительно убежали из лагеря административных высленцев, то немедленно сейчас же скройтесь отсюда. По этой ближней лесной дороге не идите, да и близко к берегу речки тоже не подходите, могут вас заметить. Идите глухими лесными тропинками, но лучше совсем не тропинками, а напрямик, по мху и кочкам. Вам, собственно, куда надо?

— На юг, — сказал Николай. — Далеко ли отсюда до Урала? И можно ли туда доплыть по этой речке?

— О, нет! — сказала девушка. — Плохо знаете географию. Эта речка идет отсюда на юго-запад, до Перми. К Уралу же надо направляться на восток, или юго-во-

сток, да и вряд ли вам туда нужно, ну это, пожалуй, вы и сами лучше меня знаете. Если я не ошибаюсь, то идите на юго-запад. Километров сорок-пятьдесят вам могут еще повстречаться охранники из лесного ГПУ, а потом будете уже вне опасности. Счастливого пути!

Про наш этот разговор, никогда никому не говорите. До свидания! — и она быстро пошла от них, не оглядываясь, и скрылась в избе.

— До свидания! Спасибо, добрая комсомолочка! — негромко сказал ей вслед Николай, потом обернувшись к Клаве, добавил:

— Я думал, что в комсомоле только одни молодые солдафоны и "унтерпришибеевы", а теперь вижу, что ошибся. Вот видишь куда мы попали и чтобы нам было, если бы не эта добрая душа?

— Это тебе же вдруг захотелось на другую сторону речки, — с укором сказала Клава. — Не понимаю тебя: только перед этим упрекал за мое предложение переправиться на другую сторону, а потом вдруг, ни с того ни с сего, крикнул перевозчика и, как овечка, пошел под нож.

— Виноват, деточка, виноват! Сам не знаю, что на меня нашло.

— Ладно, не будем ссориться. Нам надо немедленно, сию же секунду, отсюда уматываться!

И ни слова больше не сказав, они повернулись от избы лесника и быстро зашагали в южную сторону, но шли не по тропинке, а напрямик, пробираясь между толстыми и густо росшими деревьями, из-за которых ничего не было видно и за несколько метров.

Едва они отошли от подворья лесника и скрылись в лесу, как вдруг по дороге, ведущей к избе, послышались голоса. Они притаились за толстыми стволами сосен и не шевелились. В нескольких метрах от них прошли, по дороге к избе, два вооруженных охранника, в сопровождении лесника, который так милостиво привел их в свою избу.

— Значит правду сказала милая девушка, — прошептал Николай, когда мимо них прошли охранники. — Эта комсомолка с настоящей доброй душой и хорошо бы было, если бы такими были все молодые люди: комсомольцы и некомсомольцы. Она поняла, что во имя нашей святой любви, можно нарушить и комсомольский устав. Впрочем, против своей организации она никак-

го преступления не совершила и правильно сказала: разве мы виноваты в грехах своих отцов, если вообще можно считать грехом то, что живешь зажиточно...

— Поменьше хвалебных гимнов, а больше думай о себе.

— И это думаю: нам надо держаться подальше от дороги и поскорее уходить от здешнего гнезда ягодников, — и Николай быстро зашагал между деревьями, а Клава за ним.

Они прошли без отдыха километров десять по течению речки, но в порядочном отдалении от нее и очень устав, решили больше не блуждать в ночной темноте, а заночевать в лесу. Сели, погрызли немного сухарей, оставшихся в мешке Николая, наложили на землю хвойных веток, улеглись и после утомительного и опасного перехода крепко заснули.

Проснулся Николай от ночной прохлады, поднял голову и с удивлением заметил, что Клава совсем не спит, а сидит рядом на корточках и смотрит на него.

— Ты чего не спишь? Иль, может прозябла? — поднимаясь с хвойной "постели" спросил он. — Днем было жарко, а сейчас и я стал мерзнуть.

— Это верно, немножко прозябла, но я еще решила и сторожить тебя, и от медведей лесных, и от волков двуногих. А кто же предупредит нас об опасности, если оба будем дрыхнуть? Потомок запорожцев, а об этом и забыл? — и Клава, привстав с корточек, поежилась от холода.

— Вот это нос мне! Ах, как мне перед тобой стыдно, Клавачка, дивчина бодрствует и охраняет, а казак спит и в ус не дует! Стыдно мне, стыдно еще раз и от того, что дивчина рядом с казаком замерзает, а он и забыл, что надо же ему ее погреть.

Он вызывающе поглядел на нее, подошел, крепко обхватил ее стан, стал целовать и шептать:

— Я тоже замерз и от того проснулся. Погреемся по-настоящему, ведь мы же здесь одни и к "этому" все равно придем!

— Не глупи и не забывай где мы, и что мы! К этому, конечно, придем, но не здесь и наше время еще не пришло, — и Клава ловко выскользнула из его рук и отступила от него. — Нам надо думать, как выбраться из этого страшного места, вот что главное должно быть в голове, а остальное потом... само придет.

— Не сердись, Клавунык, я... пошутил, конечно не об этом нам надо думать теперь, — чувствуя себя неловко, сказал Николай. — Но что же мы сейчас должны делать? Спать — холодно!

— Пока дневной зной не наступил, пойдем сейчас дальше. В прохладной лесной тиши идти будет легче и после полуночи, пожалуй, и "ягодники" не так шныряют по лесным дорогам, а спят в своих хатах. До самого рассвета можно идти берегом, чтобы не перепутать наше направление. Речка эта течет ведь, по-моему, на юг..

Без всякого возражения, Николай молча взял свой почти порожний вещевой мешок и они, подойдя ближе к берегу, пошли.

Примерно через сотню метров они заметили на берегу стоявший небольшой челнок и возле него лежал длинный деревянный шест. По воде плыли толстые бревна, в темноте тоже казавшиеся небольшими челнами и течение несло их в южную сторону.

— Милая сторожиха! Давай-ка поплывем дальше на этом корабле! А? — и взяв в руки шест, Николай вошел в челнок.

— Очередной твой необдуманный трюк, — сказала Клава, продолжая стоять на месте. — Плыть! А что если этот каюк принадлежит ягодникам и они скоро придут за ним? Не слишком ли мы рискуем? Да с берега нас могут и заметить очень легко.

— Если каюк ягодников, в чем я сомневаюсь, то пока они придут и хватятся, мы будем уже далеко. И с берега нас трудно заметить: мы пригнемся к днищу и с берега наш каюк будет казаться обыкновенным толстым бревном, каких, как видишь, много плывет по речке. Скорее же всего лодка принадлежит тем, которые тут где-то близко заготавливают лес и сплавливают его по речке. Пригнувшись пониже, я буду только править шестом, чтобы не наткнуться на плывущие бревна и не приближаться к берегу, а течение само будет нас нести на юг. Да еще как быстро! Давай!

Оглянувшись вокруг, Клава глубоко вздохнула, молча вошла в челнок, села в носовой части прямо на дно и пригнула голову.

Столкнув челнок в воду, Николай прыгнул в него, шестом оттолкнулся от берега, сел в другом конце, тоже на дно, и согнувшись вдвое умело орудовал шестом, на-

правляя это корыто серединой речки и отталкивая в сторону плывшие близко бревна.

Течение быстро понесло их и до рассвета они проплыли по речке больше двадцати километров. Никто их не потревожил и ничего не случилось.

В наступавшем рассвете они пристали к берегу, вытащили челнок на сушу, прошли немного вглубь леса и сели отдыхать. Хотелось есть, но есть было нечего. Собрал в уголках вещевого мешка крошки от сухарей, пожевали их и заснули прямо на сухой почве.

На этот раз первым проснулся Коля, поцелуем разбудил Клаву и сказал:

— Нужно ли ждать опять ночи или идти пешком, когда в нашем распоряжении такой корабль?

— Ты, по моему, не без гордости титулуешь это корыто кораблем. Что ж, каюк хороший, хотя маленький, но устойчивый, ни разу не перевернулся на воде среди бревен, но он ведь не наш, а ворованный? — приветств и отряхивая с платья прилипшие листья, сказала Клава. — Ночью сошло все благополучно, а днем нас заметят и охранники и обыкновенные люди, которые несомненно где-то тут живут, тогда что получится? Не лучше ли нам посидеть в лесу до ночи, а потом уже плыть дальше?

— Хорошо бы сидеть в лесу, если бы желудок так не бунтовал, а где и как тут достанешь что из жратвы? В моем животе уже поднимается настоящий революционный бунт и протестующее ворчание, да и у тебя тоже. Мы проплыли вот сколько километров и на обоих берегах ничего подозрительного не заметили. Давай-ка рискнем еще раз, на этот раз в дневное время! Помнишь, та комсомолка говорила нам, что только в их районе шныряют ягодники, а дальше, километров сорок на юг, охранники уже так не преследуют, да их тут и совсем мало. Мы продвинулись уже порядочно от Надеждинского района на юг и в случае чего, я могу уже показать имеющиеся у меня документы. Только не забывай: я — Пимен Коровин, а ты моя жена Лукерья Коровина. Адрес: Свердловская область, Нижне-Тагильский округ, город Надеждинск, улица имени Сталина, номер двадцать. Так и запомним. Теперь в каждом городе и в каждом селе есть улицы "имени Сталина", так что ошибки не будет. Если еще вздумают расспрашивать, можно объяснить так: ехали мол на попутном грузовом ав-

томобиле до большой железнодорожной станции, допустим Перми, по дороге грузовик испортился, шофер сказал, что ремонт продолжится несколько часов, мы подошли к речке, увидели челн и решили прогуляться. Вот и все. А направляемся в Астрахань, ибо так указано в пропуске.

— Ты силен на хитрые выдумки, но можно встретить такие непредвиденные случайности, о которых и не думаешь. Пропуск: лучше его не показывать. Ведь он выдан Коровину давно и наверное уже просрочен?

— И это учтено. Дата была написана "с 5-го июля", а я аккуратно подставил впереди цифру два и получилось с "25-го". Ничего, авось все пройдет благополучно. Помнишь, как мой дедушка говорил: "Бог не без милости, а казак не без счастья". Ты со мной и это для меня главное счастье, только не забывай, что ты Лукерья, а я Пимен. И от сей минуты так и называй меня, хотя бы никого и близко не было.

— Ох, милое горе мое, — вздохнула Клава. — Что ж, делай, как хочешь, Ко . . . , то бишь Пимен. Раз я добровольно и слепо пошла в такую дорогу вместе с тобой, то вся моя судьба теперь в твоих руках. "Хоть пан, хоть пропав", как говорили в старину запорожцы, — и она покорно склонила свою голову к его плечу . . .

ГЛАВА 12.

После полудня, оглядываясь во все стороны, Коля и Клава опять подошли к берегу, осторожно столкнули челнок в воду, почти на ходу впрыгнули в него, отплыли к середине речки и попутное течение опять понесло их в южную сторону.

Но не успели они проплыть и двух километров, как речка начала закругляться к западу, потом еще и правее и, наконец, повернула прямо на север, но быстрое течение не уменьшалось.

— Что же получается, солнце стоит теперь не против нас, а за спиной! Куда же мы плывем? — тревожно сказала Клава.

— Вижу, вижу, мы повернули на север, в ту сторону, откуда два дня уже удалялись, — тоже с тревогой сказал Николай. — Подождем немножко, может речка скоро опять начнет закругляться на юг?

— Вряд ли! Помнишь та лесникова комсомолка говорила, что эта речка идет до Перми, а разве этот город на юг от нас?

Николай ничего не ответил и продолжал пристально смотреть вперед и по сторонам. Но когда они так плыли на север почти час и речка не изменяла своего направления, он сказал:

— Придется прекратить наше дальнейшее водное путешествие, а то можем приблизиться опять к тому же району, из которого бежали. Надо повернуть назад, но в этом корыте против течения идти бесполезно. Причалим к берегу и лучше пойдем назад пешком.

Они подогнали челнок к берегу, вытащили его на сухое место и пошли берегом речки назад в ту сторону, откуда сейчас прибыли. Когда подошли к излучине, где изгиб речки от западного течения направлялся на север, они остановились, отдохнули и ориентируясь по солнцу пошли от речки в южную сторону напрямик через лес.

Дважды отдыхали, старались наскрести в мешке хоть крошек от сухарей, но и этого не было, а голод стал доносить не на шутку. Километров десять-пятнадцать они шли лесом в одном направлении и вдруг подошли к другой и более широкой речке, течение которой шло на юго-юго-запад.

— Жаль, что нет здесь такого каюка, какой мы оставили там, — с сожалением сказал Николай, — а идти дальше пешком... сил нет.

Они присели отдохнуть и задумались. Что же делать?

— Надо идти, пока можем передвигаться, может кто встретится, — сказала Клава. — Не будем больше бояться людей, кто бы они ни были, иначе пропадем от голода.

Поднявшись, они медленно побрели берегом, но едва прошли шагов двадцать, как увидели перевернутую вверх дном маленькую, полусгнившую лодчонку, оставленную здесь вероятно несколько лет тому назад.

— Вот и опять попался нам кораблик, — оживленно сказал Николай и быстро направился к этой лодчонке.

— Но на таком гнилом корыте нечего и думать плыть нам, — сказала Клава. — Препятствие челнок был хоть и маленький, но без дырок и устойчивый.

— Надо попробовать и в гнилом корыте, бо пешком мы далеко уже не дойдем, устали и голодные, — и сдвинув края, Николай начал обчищать присохшую грязь от боков лодчонки.

Потом ножиком нарезав от березы коры, он начал затыкать на дне все дыры, туго утрамбовывая кору вместе со мхом и прибрежной травой, а поверх замазывая глиной.

Клава молча сидела и безразлично глядела на его, казалось, бестолковую работу.

Наконец он выпрямился, обошел лодчонку кругом, потом подтянул и сдвинул ее на воду. Подождал: течи не было.

— Вот видишь, "и челнок на славу вышел, а ведь был что решето", — продекламировал он. — Помнишь, это из стихотворения про финского рыбака, которое мы читали еще в школе.

— Стихотворение это я немножко помню, но...

— Никаких "но", садись в лодку на дно, — сказал он случайно в рифму и отойдя к лесу, срезал ножом на березе две длинных ветки, очистил их от мелких веточек и одну дал Клаве. Последняя взяв палку, бояливо прошла в носовую часть "корыта", как она назвала эту лодчонку, уселась на дно, ухватившись руками за борты и молчаливо ждала дальнейших действий своего спутника.

Николай спокойно пошел к середине, стараясь не наступать на глину поверх заткнутых дыр, длинной березовой палкой оттолкнулся от берега и течение сразу же понесло их в нужную сторону. Орудия своими длинными палками, они направляли "славный челнок" серединой речки, которая становилась еще шире и, вероятно, глубже, не давали ему приближаться к берегу и отталкивали в сторону изредка плывшие вблизи бревна.

Вначале не видно было ни людей, ни зверей, ни птиц. Потом лес пошел смешанный. Кое-где на лиственных деревьях сидели и делали короткие перелеты какие-то птицы, похожие на ворон, да изредка дятлы глухо стучали своим крепким клювом о стволы старых деревьев. Стоявший почти на берегу сохатый, удивленно посмотрел на плывших в лодчонке людей и стремглав убежал в лес.

Километров тридцать они промчались таким путем и по сторонам стали виднеться небольшие татарские по-

селения. Они обогнали даже настоящую лодку, в которой сидело два башкира, успевшие им крикнуть:

— Эй, голубята! Поосторожнее здесь гуляйте в таком корыте!

Беглецы ничего им не ответили.

Вскоре за ближними берегами показалась стоящая на небольшом холме старая изба, из трубы которой валил густой черный дым.

— Хватит! — сказал неожиданно Николай. — Надо кончать наше водное путешествие и причалить к берегу, а то так с голоду и помрем в этом корабле. Здесь наверняка живут мирные люди и бояться нам нечего. Отдохнем и хоть кусок хлеба выпросим, или купим.

И только он стал направляться к берегу, как самая большая затычка на дне лодки выскользнула и вода хлынула фонтаном. Он старался наступить на пробойну и ногой задержать воду, но вместо этого перевернул челнок и они оба очутились в воде. Какой-то сильный водоворот подхватил их и понес.

Клава очутилась в воде в стороне ближней к берегу и ей вскоре удалось ухватиться руками за торчавшие из воды обнаженные корневища деревьев. Вытанувшись на руках, она перехватила другой такой же отросток толстого корня и, наконец, выкарабкалась на берег. Оглянулась, но Николая нигде не было видно. В отчаянии она начала кричать, но тут же заметила его барахтавшегося в близком водовороте, то появлявшегося, то опять исчезающего под водой.

— Хватайся за конец веревки! — раздался почти рядом с нею громкий мужской голос, но она не оглянулась. В то же время в сторону Николая полетела длинная толстая веревка с петлей на конце.

Петля, упав ему прямо на голову произвольно сама наделась, в тот же миг веревка натянулась и он за шею был быстро вытянут на берег.

Клава стрелой кинулась к нему, ослабив веревку на шее, быстро освободила его от петли и в слезах зашептала:

— Коленька, дорогой! Не захлебнулся, живой?

Но он неподвижно лежал с открытыми глазами и молчал, испуганно глядел на нее, вероятно, и сам еще хорошо не понял, что же случилось?

— Вряд ли он выбрался бы из водоворота, если бы

я не вытащил его за шею, — слышался опять мужской голос.

Только теперь Клава повернула голову и почти рядом с собой увидела стоявшего высокого старика, собиравшего на руку кольцеобразно мокрую веревку.

Николай стал приходить в себя и ворочать головою. Старик подошел к нему, приподняв посадил его и с укором сказал:

— Кто вам внушил мысль в такой скорлупе плыть до этого места?

— Никто нам не внушал, мы сами вздумали прогуляться, — сказала Клава. — Мы вовсе не знали о таком здесь опасном течении. Что это за водопад здесь?

— Какой там водопад! Тут начали было строить плотину для малой гидростанции, а потом прекратили строительство, но все так и осталось. Вот теперь вода тут и куралесит. Вы, вероятно, не здешние? Впрочем...

Не интересуясь ответом, он отвернулся и стал глядеть на другую сторону речки.

— Не попались ли мы опять к "ягодинскому" леснику? — шептал Николай Клаве и машинально полез за пазуху, где хранились деньги и документы. К счастью бумажные деньги и документы на имя Коровина находились в большом металлическом портсигаре и ничуть не промокли.

Николай совсем оправился, встал и спросил старика:

— А что это за речка здесь?

— Как, что!? Речка Уфа, недалеко отсюда впадает в Белую, Белая — в Каму многоводную, а Кама — в Волгу-матушку реку. Видите, какой в нашем крае водный путь богатый!

— Есть тут недалеко какой-нибудь город с железной дорогой?

— Как же! Километров через пять отсюда, при впадении Уфы в Белую, стоит старинный губернский большой город Уфа.

— Уфа! — и он глянул на Клаву. — Так это же наполовину татарский город!

— Почему наполовину татарский? Теперь больше тут живет русских, да и раньше татар в нем было немного. Правда, раньше всех не русских называли здесь татарами, а на самом деле, кроме татар в Уфе жили и живут башкиры, мещеряки, мордвины, черемисы, чувашаши, вотяки и другие. Видно по всему, деточки, что вы

не здешние, а очутились тут случайно, но меня не это интересует, — грешно мне забавляться разговором, когда передо мной двое молодых намокших в воде и измученных людей. Пойдемте-ка сейчас в мою избушку, отдохнете, обсушитесь, познакомьтесь с моей старушкой, да возможно и проголодались: есть и рыбка, и хлебец, и молочко. Потом уже будете сами думать, что вам дальше делать. Пойдемте, уже ночь близка!

При словах "хлебец" и "молочко" у Николая даже слюнки потекли. Только теперь он почувствовал, как он голоден: почти два дня они ничего не ели! Мокрые и голодные, наступала ночь в незнакомом месте и ничего не оставалось, как идти вместе со стариком в его избу...

ГЛАВА 13.

Пройдя немного от берега и поднявшись на низкий холм, все трое подошли к старинной большой избе. В просторной горнице им повстречалась уже седая женщина, с мочалкой и банным веником в руках.

— Вот что, матушка! — сказал ей старик. — Господь нам послал нежданных, но желанных гостей. Желанных уже потому, что они нуждаются в нашей неотложной помощи. Накорми и приюти их в нашей избе до завтра, — и он кратко рассказал ей, как они перевернулись со своим корытом и, как он за шею веревкой вытащил молодого человека.

— Бедные, анголяточки! И как же вы угораздили в водоворот нашей речушки? — и она истоиво перекрестилась. — Тут плавать близко рискованно и наши люди все об этом знают, а вот для чужих никак не соберутся поставить указатели. Мой старик уже не одного тут вытащил из воды. Я вот недавно истопила нашу баньку, и только сейчас собрались пойти туда попариться, а тут и вы зашли. Бедные деточки, может братец и сестричка?

— Ладно, матушка, меньше словопренья! Баснями соловья не кормят. Сейчас надо накормить и обсушить этих молодят, а потом будешь свои телеса парить, — и он вышел из избы с мокрой веревкой, которую, свернув кольцом, так и держал до сих пор.

— Сейчас, батюшка, сейчас позабочусь! Непременно надо накормить их и высушить одеженку, а помыть-ся я успею и позже. Милые, братец и сестричка!

— Мы не братец и сестричка, бабушка! Мы муж и жена, — неожиданно сказал Николай. — Мы направля-

емя в Астрахань в гости к дяде, но недалеко отсюда грузовик, на котором мы ехали до Уфы, испортился. Нам сказали, что не раньше завтра они его отремонтируют. От нечего делать мы подошли к речке, увидели на берегу небольшую лодочку и вздумали на ней прогуляться, а в результате чуть не утонули.

При словах "муж" и "жена" Клава удивленно глянула на него, но ничего не сказала и не стала перебивать его версию об Астрахани, грузовике и прочем.

— Бедные деточки! Это Бог послал к берегу моего старика, чтобы подать вам помощь, — бормотала старуха и поставила перед ними на столе жестяные кружки. Потом возле кружек положила по большому ломтю хлеба, вынула из печи кувшин с горячим молоком, налила полные кружки и сказала:

— Подкрепитесь маленько горячим молочком, а после бани я еще вас покормлю и до утра будете спать спокойно.

Заметив в комнате ряд икон, Коля и Клава прежде чем сесть за угощение, перекрестились перед ними, прошептав какую-то молитву и потом с жадностью стали есть хлеб и запивать молоком.

— Ах, какая радость нам! — сказала с умилением старуха. — Такие молодые, а молитесь по-старому. Теперь уже мало осталось верующих среди таких молодых людей. Как то имя твое, человек Божий?

— Пимен, — ответил Николай не отрываясь от кружки с молоком.

— Боже мой, ведь и мой старик Пименом нарекается! Не думала, не гадала, что когда-либо встречу еще мужчину с таким именем. Мы со своим Пименом приходим из русских старообрядцев, но теперь стали грешить, как и все мирские. Поселились мы тут уже лет сорок и никто нас никогда не трогал и не трогает. Раньше мой старик работал в городе, а теперь ему дали легкую должность: каждое утро и вечер наблюдать на обоих речках и записывать на поставленных рейках насколько вода поднялась или понизилась и из поселка нашего сообщать по телефону в Уфу. Здесь речка Уфа близко подходит к Белой. Или сообщает если лед тронулся, или заторы из бревен получились. За это дают небольшую зарплату и для этого оставили нам лошадку. Есть у нас и корова, и курочки и земельки немного для хозяйства...

— А до города Уфы отсюда далеко? — спросил Николай.

— Совсем близехонько. Четыре-пять километров от нашего рабочего поселка, а до поселка от нас полкилометра.

В комнату со двора вошел Пимен.

— Ну, что, немножко подкрепились и согрелись? — спросил он беглецов. — Хотя сейчас особо мерзнуть и нельзя, пора то летняя и вода не холодная.

— Большое вам спасибо, люди хорошие, и отдохнули и подкрепились, — сказал Николай, вставая из-за стола. Потом он повернулся к иконам, перекрестился и еще раз сказал "спасибо". Тоже самое сделала и Клава.

— Теперь вам несомненно нужен отдых, но я вот что хочу предложить: пойдете сейчас вместе с нами в баню, — сказал серьезно Пимен. — Вы, наверное, видели, как дым валил из нашей избы: это перед вашей первой "баней" в речке, моя старуха жарко истопила нашу семейную баньку и воды горячей теперь там хватит на всех нас. Там вы можете снять свою мокрую одежду и она к утру в предбаннике высохнет, а ночь после бани можете переспать и в чем-нибудь: теперь тепло.

— Не понимаю, вы говорите "сейчас все пойдём в баню", как это: и вы, мужчины, и мы, женщины? Все вместе? — удивилась Клава.

— Что ж в этом особенного? — вопросом ответила старуха. — Пока одни попарятся, то для других вода может и остыть, а другой раз греть воду в нашей баньке трудновато. И мой Пимен правильно сказал.

— Да, это так, но...

— Что, аль может стыдишься? Я слышала, что у вас там и раньше не шли в баню вместе, а отдельно мужчины от женщин. Тут тебе, деточка, некого стыдиться. У нас, у старообрядцев, обнажать свое тело в бане никогда не возбранялось и раньше никто и не стыдился. За пределы законности только не надо выходить, а глядеть на других, что ж, гляди сколь хочешь, на то и глаза даны. Знаю, теперь не только в городах, но даже и по деревням наши молодые бабочки стали притворяться слишком стыдливыми, даже стали штанишки на себя напяливать, а на руках у незамужних девушек незаконнорожденных кувялок заметно прибавляться стало. Раньше и без штанишек девушки ходили, и в бане вме-

сте мысли, а детки то появлялись только после венчания. Так то, милая. И идешь то ты в баню не с кемнибудь чужим, а со своим мужем Пименом, а я со своим Пименом. На нас стариков можете там и не глядеть, а жене показывать свою наготу перед мужем просто беспричинно. В супружеской жизни и тело и душа должны быть открыты друг перед другом, тогда и жизнь бывает настоящая, душевная. Вы слишком молоды, возможно и не венчались в церкви, а там ведь при венчании в Апостоле ясно говорится: "Да прилепится жена к мужу, и да будет едино тело и единая плоть..." Разумеешь, голубица милая? Не единая одежда, а едино тело...

Клава и Николай переглядывались и не знали, что ей и отвечать.

В это время в избу зашла другая старенькая женщина, оказавшаяся соседкой Пимена, и тоже в руках у нее были веник и мочалка.

— О чем вы, кума, так разглагольствуете сейчас? — спросила она Пименову жену.

— Приглашаю вот молодую парочку идти вместе с нами в баню, а молодка стесняется, — и она рассказала ей, откуда эти "детки" появились у них, как перед этим чуть не утонули в речке и сейчас еще в мокрой одежде и надо их обсушить.

— Бедные деточки, — с жалостью сказала соседка. — И куда же вы их еще тянете, когда они перед этим искупались в речке и стоят в мокрой одежде и теперь? Зачем им нужна баня?

— Верно, тетя, вы говорите, мы и так уже набултыхались в речке, что теперь даже смотреть на воду не хочется, — сказала Клава. — Нам бы теперь только высушить одежду и отдохнуть.

— Именно, детка, отдохнуть и обсушиться, но здесь у них то и поместиться на ночь вам негде. Пойдемте-ка со мной и будете ночевать в моей избе, здесь почти рядом. Мой сын Никанор со своей Манефой позавчера уехал в отпуск и теперь их комнатка и кровать свободны. Вот там я высушу вашу одежку и вы хорошо отдохнете. Пойдемте! Кума, ждите меня в баньке я их отведу в свою избу, устройю, а потом тоже приду мыться, — сказала она своей соседке и направилась к двери. Кума не возражала, а беглецы и тем более были рады, что избавились от совместной бани.

— Вы, деточки, кем доводите друг другу: бра-

тец и сеструшка или просто знакомые? — спросила она беглецов, когда они вышли из избы Пимена и шли по узкой дорожке.

— Мы теперь муж и жена, — сказала вдруг Клава к великому и приятному удивлению Николая, но он только глянул на нее и промолчал.

— Тем лучше, а то в той комнатке и кровать одна, и покрывашка одна.

Примерно через полсотни шагов все трое подошли к такой же избе, как и у Пимена, но войдя остановились в полутемной комнате.

Хозяйка одна прошла в угол, зажгла семилинейную керосиновую лампу, потом поставила на столик холодной отваренной рыбы, положила хлеба и попросила закусить.

Коля и Клава не отнекивались и только после этой еды почувствовали себя вполне сытыми.

Хозяйка привела их в небольшую спальню и показав на небольшую деревянную кровать, сказала:

— Вот ваше место на эту ночь. Хотя на ней одна только подушка и одна простыня, но матрасик чистенький и на нем можно спать и так, а простыней прикрываться, да теперь и тепло. Входите, снимите сейчас с себя всю мокрую одежду, я отнесу ее в баню, прополощу там, развешу на веревке в предбаннике и она за ночь хорошо высохнет. Вам же, молодятам, не будет холодно спать и в "одежде" Адама и Евы, — и она сразу же вышла от них, прикрыв за собой дверь.

— Сказано, сделано! Раздеваемся до ниточки, — сказал Николай и начал снимать с себя всю одежду.

— Так таки и "раздеваемся", что же это получается, — сказала Клава не двигаясь, потом потупив глаза прошептала:

— Разве так я собиралась с тобой начинать совместную жизнь и в этом месте? Мы же не то, что повенчаны, но даже и в ЗАГСе еще не зарегистрированы, и вдруг... раздеваться, и... одна кровать...

— Это, Кла..., то бишь, Лукерька, судьба наша так решила регистрировать и венчать, не будем выдавать себя тем, что все равно должно к нам прийти. Там, далеко в лесу, когда ты сторожила меня и прозябла, я сделал неуклюжее поползновение и хотел "погреть" тебя, но ты сказала, что "не пришел еще час". Я подчинился. Не по нашему плану, но час этот теперь настал

и против судьбы не попрешь. Помнишь, еще до нашего горепутешествия, ты говорила, что полюбила меня, собиралась уехать подальше, чтобы быть моей женою? Помнишь?

— Помню, говорила, Кол . . . , но . . . Пимен . . . Пимунчик.

— Как ты сказала? "Пимунчик"? Ха!

— А я даже не знаю как имя Пимен ласково надо говорить: Пимунчик, Пименёк, Пимчик . . .

— Ладно, называй Пимчик, мне это нравится, а я тебя буду называть "Лукошко". Хорошо?

— А разве так Лукерью надо называть? Ну, ладно, мне тоже нравится твоя выдумка, "Лукошко", — и Клава тихонько засмеялась.

— Так вот, Лукошко, я не сказал главное. Мы пустились в путь, чтобы потом быть счастливыми мужем и женой. Так? Так. Но сегодня чуть не утонули в речке и, следовательно, так могли бы и не стать никогда, даже на миг, супругами, а что "день грядущий нам готовит", тоже не знаем. И еще: когда шли сюда, ты на вопрос хозяйки, что сказала? Только я разинул рот и хотел ответить, как ты вдруг выпалила: "Мы муж и жена"! Так чего нам теперь еще дискуссировать?

— Ты прав, Пимчик, мы действительно не знаем, что "день грядущий" нам готовит, — вздохнув сказала Клава, — и раз в таком положении очутились, пусть . . . Но ты хоть отвернись от меня! Даже повенчанные первое время так не раздеваются открыто и . . . бессовестно.

Заметив висевшую на стене на гвозде большую мужскую полотняную рубашку, с оторванными рукавами, Николай стянул ее и подавая Клаве, сказал:

— Разоблачайся полностью и напяливай на себя эту рубашку, если уж такая стыдливая: я не буду на тебя глядеть.

Он отвернулся от нее и стал раздеваться. Когда разделся догола, не поворачиваясь протянул назад руку, стянул с кровати простынь, обмотал вокруг своего тела, и только тогда повернулся к Клаве.

Его "Лукошко" уже сидела на табурете, поджав ноги, в мужской широкой рубашке, и натягивая ее полы, вниз улыбалась. Глянув на нее, Николай весело засмеялся. Вся ее одежда лежала на полу, возле кровати.

Николай сгреб двумя руками в охапку свою и ее одежду и не снимая с себя простыни, отнес за двери хо-

заялке. Когда он вернулся в спальню, Клава стояла против него за кроватью и как-то обреченно глядела перед собой. Он подошел к ней, обмотал ее своей простынью и они несколько минут молча глядели друг другу в глаза.

— Вам не нужен свет? Я буду гасить лампу, а то теперь трудно доставать керосин, — слышался за дверью голос хозяйки.

— Да, гасите, свет нам не нужен, — ответил Николай и потом прижав к себе Клаву и заглядывая ей в глаза спросил:

— Ну, что, Лукошко, кем ты меня сейчас считаешь?

— Что хотела, то и получаю: считаю тебя, Пимчик, моим мужем. Нет, не хочу в первую ночь называть вымышленным, Пимчиком, хочу Колей. Ты, Колюнъка, мой судьбоносный муж.

— И ты не Лукошко, а моя милая и тоже судьбоносная жена, Клавачка!

И они слились в первом страстном и долгом поцелуе.

В это время в избе погас свет и хозяйка, хлопнув дверью, вышла наружу . . .

ГЛАВА 14.

За рекой Белой уже солнышко поднялось от горизонта, лучисто заглядывая в окошко небольшой спальни, а Коля и Клава, обнявшись, блаженно спали. Они совсем забыли, где они и кто они. И только когда к заялке их пристанища пришел сосед Пимен и громко о чем-то стал говорить, они одновременно проснулись и вначале с удивлением посмотрели друг на друга. Потом по-детски засмеялись. Стыдливо закрыв глаза и продолжая улыбаться, Клава сказала:

— Значит . . . повенчались.

— Так сему надлежало быть, — многозначительно сказал Николай. — Раньше или позже, но к этому мы все равно пришли бы. Теперь ты полностью моя, а я твой и нечего об этом больше думать. Конечно, если мы благополучно доберемся в свой родной край, то при первой же возможности оформим в ЗАГСе законный брак, а пока будем и так. Теперь уже без стеснения можем говорить, что мы "муж и жена". Мне кажется, что люди эти очень добрые и честные. Вначале, я немного даже опасался, вспоминая лесника и его комсомолку, но ночь вот прошла благополучно и нас никто не потревожил.

— Еще бы не добрые люди! Из воды вытянули, накормили и... повенчали.

— О, миленькие голубята, вы уже проснулись? — слегка приоткрыв дверь глянув на "новобрачных", сказала хозяйка. — Я уже дважды была возле ваших дверей, прислушивалась и, грешница, в щелку на вас глядела, но вы так мило обнявшись почивали, что мне просто жалко было вас тревожить. Здесь мы встаем-то еще до солнышка, наблюдаем красоту его восхода, но молодому Пимену на это смотреть незачем, когда солнышко под боком. Так, так! За ночь ваша одежда хорошо высохла и я ее привела в людской вид. Подождите немного, я сейчас принесу, — и с лукавой улыбкой глянув еще раз на "молодоженов", она вышла.

Коля и Клава не перебивали хозяйку тараторить, молча лежали и только улыбались. И только когда она ушла, они откинули с себя простыню, но спохватившись сразу же начали натягивать ее на себя обратно: лежали-то они под простыней, в чем мать родила. Даже большая мужская сорочка, которую Клава напяливала на себя, ложась в кровать, лежала в ногах скомканной.

— Какие же мы бессовестные с тобой, — прикрыв глаза и натягивая до самого лба простыню, шепнула Клава. — Первую ночь на одной кровати и в таком виде.

— Теперь уж не стоит об этом говорить и совесть вспоминать, — сказал Николай, — мы не чужие, а свои. Да, собственно, мы и не виноваты: ведь нам никакой одежды на ночь не оставили...

— Вот вся ваша одежонка, голубяточка, сухая и в порядке, — внезапно появившись в дверях сказала хозяйка и положила возле кровати охапку одежды, которую вечером она брала просушить. — Одевайтесь и потом идите к нам завтракать, — и она ушла.

Как только хозяйка оставила их одних, Николай вскочил с кровати и начал рассортировывать одежду. Он поспешно стал натягивать на себя свое высохшее "обмундирование", но Клава по-прежнему лежала под простыней и только "одним глазом" наблюдала за ним.

— А ты чего лежишь, глаза прищурив, и чего-то ждешь?

— Да как же я буду вставать, когда на мне ничего-шенько нет? — опять натягивая простыню на самую голову, сказала Клава. — Ты хоть отвернись!

— Вспомнила только теперь, что на тебе ничего-

сенько нет, а ночью и не знала? Поздно, голубушка, стыдиться, вставай! Ну, ладно, я отвернусь и глядеть не буду, одевайся, — и повернувшись к окну он стал смотреть на ряд красивых белокорых берез, росших во дворе недалеко от избушки.

Клава быстро оделась и они вышли из спальни. В другой комнате их встретил Пимен и они сразу же пошли с ним в его избу, горячо поблагодарив хозяйку за уют и ночлег.

Войдя в широкую горницу Пимена, где они вчера первый раз утолили свой голод, все стали перед иконами и долго молились, особенно хозяева. Потом сели за низкий, из нетесаных досок, стол, прикрытый газетами, на котором стояла большая миска с горячими сырниками, хлеб и банка с медом. Посредине стола шипел старинный самовар.

— Теперь в нашем районе в магазинах сахар редко бывает, но мы сохранили два улья пчел, медок у нас свой и это не хуже сахара, — сказал Пимен, показывая на банку с медом. Вместо чая употребляем для заварки сухие березовые почки: и пахнет хорошо и очень полезно для здоровья.

Все сидели на самодельных деревянных табуретках и с аппетитом ели сырники и пили чай с медом.

— Вы говорите, что близко Уфа, а нет ли немного дальше другого, поменьше города, где тоже была бы железная дорога? — спросил Николай хозяина.

— Да, Уфа близко, в том месте, где речка с таким же названием впадает в Белую. Оттуда идет ветка железной дороги на Ижевск, но это отклонит вас на север и совсем не по пути. На станции Уфа вы можете взять билеты на Самару, а оттуда уже можно ехать куда угодно.

— Да нам не очень хотелось бы быть на большой станции, хотя...

— Вот, что я вам скажу, дорогие гости, — закончив чаепитие, сказал серьезно Пимен. — Кто вы и откуда и по какой причине здесь очутились допытываться я не буду и не в моем характере смущать лишними распросами, кого бы то ни было. Вы милая молодая парочка и мы очень рады, что могли помочь вам и приютить на одну ночь, но долго оставаться в нашем домике вам, пожалуй, нельзя. Сюда иногда навевывается Уфимское начальство, начнут расспрашивать "кто" да "откуда" и мо-

гут быть неприятности, и для вас и для нас. Скажите коротко: куда вы держите путь?

— Дорогой дедушка Пимен! Мы больше одного дня здесь и не собираемся быть, — сказал Николай. — Большое вам спасибо за все, за все! И из речки вытащили, и накормили, и ночлег дали. Вначале мы держали путь в Астрахань, хотели посетить там нашего дядю, но теперь передумали и хотим отбыть в Ростов на Дону, чтобы в первую очередь навестить там нашу тетю.

— И Астрахань далековато была, но до Ростова еще дальше почти в два раза, но это ваше личное дело. От Уфы до Самары можете ехать поездом, а потом другим поездом и дальше. Если бы вы ехали сперва к дяде, то водой можно плыть сначала по Белой, потом по Каме до Волги-матушки реки, а по Волге прямо в Астрахань. Хотя пароходом времени больше бы потребовалось, но гораздо дешевле.

— Время наше весьма ограничено и плыть по Волге пароходом долго мы не можем, — сказал Николай. — Наш отпуск кончается . . . через три недели, — и, наклонив голову, он чувствовал себя весьма неловко от того, что продолжает врать даже этому доброму человеку.

— Что ж, вам виднее, — сказал Пимен. — И вовсе не мое дело куда вы направляетесь и когда должны возвратиться. Если так, то я могу подвезти вас в Уфу до вокзала, это километров пять отсюда. В Уфе можно взять билет прямо до самого Ростова, только с пересадкой в Самаре, но ты, тезка, как-то неохотно отозвался о "большой станции" и я немножко догадываюсь . . . Впрочем, это не мое дело. Я сам пойду в кассу и куплю вам железнодорожные билеты до Самары, а вы, при отправлении поезда, спокойно, не оглядываясь, войдете в свой вагон и, с Богом! В Самаре можете уже безбоязненно идти к кассе на вокзале и покупать билеты до Ростова, или куда там вообще нужно будет.

Скажите: деньги у вас есть? — спросил он вдруг.

— Немножко есть, — сказал Николай. — Шесть червонцев я спрятал с документами в портсигар и благодаря этому они не намокли, когда я попал в речке в водоворот.

— А ты разве куришь?

— Нет, я не курю. Это на заводе подарили мне металлический портсигар, очень большой и плотно закрывающийся, и отправляясь в дальнюю дорогу, вместо па-

пирос я положил в него деньги и документы. И как это было кстати! Сколько мы должны вам за услуги?

— За какие услуги? Что вы, милые! Мы творили доброе дело по Божьему учению, а за все Божье денег не полагается. Я спросил о деньгах потому, чтобы знать: есть ли у вас средства на билеты, чтобы доехать до Ростова. Нам же со старухой ничего не надо, мы дома и у нас всего достаточно.

— Вы не только добрый, вы святой человек, дяденька! — встав от стола с восторгом сказала Клава и подойдя поцеловала и хозяйина и хозяйку.

Помолившись перед иконами, Пимен вышел во двор запрягать лошадку, а хозяйка все время продолжала наставлять молодых благочестивой жизни. Продолжая без умолку тараторить, она достала в то же время небольшую брезентовую сумку, завернув в газету, положила в нее несколько сырных оладий, бутылку с парным молоком, большой ломоть хлеба и передала все это Клаве.

— Возьми, касаточка, вам это ох как пригодится, а доставать теперь даже хлеб по вокзалам трудновато, — сказала она.

— Спасибо, добрая хозяйюшка, — и Клава еще раз поцеловала ее.

Беглецы вышли из избы, сели в небольшую колымагу, в которую была уже запряжена невзрачная, но подвижная кляча, Пимен сел спереди, взял в руки вожжи и они поехали.

Примерно через час они подъехали и стали за пакугаузом станции Уфа. Николай вынул из портсигара и дал Пимену два червонца, чтобы тот купил два билета до Самары, а сами они продолжали сидеть на повозке. Через несколько минут Пимен вернулся с вокзала, принес два билета и восемь рублей сдачи.

— Сдачи назад нам не надо, возьмите себе хоть это за труд! — сказал Николай.

— Что вы, как можно! Нам со старухой хватает на жизнь и без этого, а вам молодым, да еще в такую дальнюю дорогу деньги будут очень и очень нужны, а их у вас, по моему, "кот наплакал", — и Пимен сам втиснул в карман Николаю принесенную сдачу.

Больше часа ждали они поезда и все втроем сидели на повозке и говорили о разных житейских делах. По-

том, когда послышался звонок к посадке, Пимен поспешно привел на перрон к поезду обоих "путешественников", посадил их в вагон, простился с ними по-отцовски, вышел и стоял на перроне до тех пор, пока поезд не тронулся. Затем он медленно вернулся к своей повозке и поехал во свояси...

Прибыв благополучно в Самару, они и там не стали покупать билеты сразу же до Ростова, а взяли только до Воронежа, боясь вызвать хоть малое подозрение у находящихся в зале вокзала чинов Транспортного отдела ОГПУ, хотя прямые билеты стоили бы гораздо дешевле.

От Москвы через Воронеж ходили тогда поезда дальнего следования до Ростова и Новороссийска не через Тихорецкую, а через станцию Старо-Минская 2-я, что было нашим героям очень удобно. Но они взяли билеты не до самой Старо-Минской, а до Канеловской, находившейся в одном перегоне от родной станции.

Поезд остановился на маленькой станции Канеловская, когда солнце уже клонилось к закату. Коля и Клава сошли с поезда и направились в свою станицу пешком, рассчитывая прийти незаметно в дом Костенка Трофима поздней ночью, чтобы никто их не видел хотя бы первое время.

Пройдя почти без отдыха двенадцать километров от Канеловской до Старо-Минской, около полуночи Коля и Клава нашли знакомую улицу и легонько постучали в окно дома Костенко. После повторного стука они вскоре очутились в доме, где кроме радостной встречи, их ждал еще и принятый сюрприз...

ГЛАВА 15.

Когда на повторный стук из комнаты послышался вопрос "кто там" и Клава отозвалась, то дверь вмиг распахнулась и ночная гостья не вошла, а просто влетела в комнату, в которой кто-то уже зажег лампы.

— Клавушенька! Ты ли это или призрак ночной? — радостно воскликнул Николай, сын Трофима Костенко, и крепко обняв ее, стал целовать. — Давно ли приехала и каким путем? Одна явилась или со всей семьей?

— Без семьи, но и не одна, — сказала Клава и оглянулась.

Николай Шевченко, войдя в комнату, остановился и стоял возле дверей.

— О, а я и не заметил! И "великий князь" Николай Николаевич здесь! — и он любезно поздоровался и с другим беглецом.

— Деточки мои, милые! — воскликнула Василиса Григорьевна, вскочившая с кровати и в одной ночной рубашке вбежавшая к ним в комнату. — Наконец-то вернулись в родную станицу! А где же моя Дашенька, зятек, внучка и все другие?

— Тетя Даша и дядя Петрусь с детьми живы и здоровы, и не теряют надежды, что и они скоро вернуться в край родной.

— Как! Разве вы не все приехали?

— Как же это можно, тетя Васька? Они все под охраной! Я прибыла только с Колей Шевченко: мы тайком бежали оттуда.

— Вот это номер! — протянул молодой Костенко. — Что же получается? Ведь вся семья Тараса Кияшко и семья Василия Шевченко восстановлены во всех правах и уже давно должны совершенно легально возвратиться в станицу.

— Весьма приятная новость, но почему же об этом нам ничего неизвестно? Зачем же мы подвергались опасностям и при побеге рисковали своей жизнью? Ведь Коля даже ранен был ягодинцами!

— Что это еще за новое слово "ягодинцы"?

— То наши выселенцы так негласно называют военизированную охрану ОГПУ, во главе которого, как известно, стоит нарком Ягода.

— Теперь это учреждение стало называться не ОГПУ, а НКВД, но суть дела от этого не меняется, Ягода по-прежнему наркомом, — сказал Николай Костенко. — Удивляет же меня другое: почему о восстановлении в избирательных правах вам ничего неизвестно?

— Мы впервые об этом слышим, — сказала Клава, — и кто же в этом больше всего постарался?

— Без хвастовства скажу: я старался. Вернувшись из армии в станицу и узнав, что натворили тут "унтерпришибевы", я послал десятки заявлений в разные инстанции о неправильном лишении избирательных прав и выселении Тараса Кияшко и Василия Шевченко и их семей. Одно из моих заявлений, посланное Килинину, было переотправлено в наш крайисполком в Ростов, а

крайисполком переслал его нашему районному прокурору, с предписанием о расследовании. Прокурор произвел серьезное расследование и опротестовал лишение избирательных прав Кияшко и Шевченко, как незаконное, и свой протест направил в Крайисполком. Президиум Крайисполкома, рассмотрев мое заявление и протест прокурора, восстановил в избирательных правах Тараса Охримовича и Василия Шевченко с их семьями и официальную выписку об этом прислал на мое имя. И это было уже пять месяцев назад.

— Пять месяцев! И мы еще ничего не знаем.

— Возможно в этом немножко виноват я сам, что сразу же не довел все дело до конца. Я дал выписку Крайисполкома Гаврилу Довбне, мужу Приськи, чтобы он показал жене, потому что он тоже писал такие же заявления, как и я. Но он, не спросив меня, пошел с этой выпиской в стансовет и показал Котельникову, а тот при Довбне взял и порвал постановление Крайисполкома и бросил в мусорный ящик. Вот до чего дошел, негодяй! Я тогда сразу же поехал в Ростов, расскажал в Крайисполкоме о действиях Котельникова, и мне дали вторично выписку из протокола о восстановлении в правах, а о действиях предстансовета пообещали произвести расследование. Вернувшись домой, я снял восемь копий из этого постановления, пошел в стансовет, но не до Котельникова, а до секретаря стансовета Мацала, моего бывшего сослуживца, с которым в двадцать седьмом году служил в Ейске в 26-ом Ленинградском полку и Мацало стансоветской печатью заверил все эти восемь копий. После этого я написал два заявления, одно от имени Кияшко, а другое от Шевченко, приложил к ним по одной заверенной копии и переслал в окружное отделение ОГПУ в Таганрог, которое ведало тогда административной высылкой кулаков. Не дождавшись ответа, я месяц тому назад поехал лично в Таганрог, нашел отделение ОГПУ, которое стало теперь называться НКВД, и спросил о результате моих заявлений. Порывшись в толстых кипах деловых бумаг, сотрудник отделения любезно ответил:

— Все в порядке, товарищ Костенко! Мы уже послали соответствующее уведомление в Нижне-Тагильское НКВД, Свердловской области, и семьи Тараса Кияшко и Василия Шевченко в ближайшее время возвратятся в свою станицу, как равноправные граждане...

— Я с радостью возвратился домой и на второй же день написал Тарасу Охримовичу обо всем, но вы, наверное, были уже в бегах.

— Спасибо, спасибо тебе, дорогой тезка, за твою деятельность и настойчивость в нашем деле, — и Коля Шевченко крепко пожал руку молодому Костенко.

— Ничего особенного, надо же кому-то было ходайствовать, а я на это мастер, — сказал усмехнувшись Николай Костенко. — Завтра я дам вам обоим по одной заверенной копии и вы теперь не скрывайтесь и ничего не бойтесь. Теперь я служу в местном военкомате, то ты, тезка, завтра же приходи туда ко мне и я выпишу тебе всенный билет, хотя тебе еще и не скоро призываться, но мы даем военные билеты и таким. И это будет для тебя главным документом. Кроме того, в стансовате возьми справку о нелишении избирательных прав и о социальном положении. Такие справки надо иметь при поступлении на работу. Или ты может хочешь в колхоз?

— В колхоз не хочу, думаю устроиться где-нибудь в другом месте. Может поеду в Ейск и там устроюсь на рыбном заводе или на железной дороге.

— Дело твое, как хочешь, так и поступай.

— Какой вы добрый человек, дорогой Николай Трофимович! — с подъемом сказала Клава. — Сколько настойчивости и забот проявили вы ради всех нас и мы не знаем даже, как и чем вас отблагодарить.

Николай Костенко внимательно посмотрел на обоих прибывших, вздохнул, немного помедлил, потом сказал:

— Откровенно говоря, я лелеял мечту о более высокой благодарности, и лично от тебя, Клава, но, пожалуй, моя мечта и надежда была напрасной. Я ждал и, как всегда, ... опоздал, а мне уже 26 лет и еще не женат.

Клава поняла его намек, глянула на своего Колю и сказала:

— Я стала женою Коли Шевченко.

— Я об этом сразу догадался. Что ж, поздравляю, но где и когда вы успели пожениться?

— А... в дороге, когда бежали сюда, на Кубань.

— Вот как! А люди говорили, что вы двоюродные брат и сестра!

— То неправда, мы даже и не родственники и я

только недавно узнала, что моя тетя Гашка не была его родной матерью.

— Я об этом знал немного и раньше, но никак не предполагал, что вы так скоро снюхаетесь, простите за выражение. Где же при бегстве в дороге вы могли найти ЗАГС для регистрации брака?

— Зарегистрировала нас... судьба, — сказал Коля Шевченко и кратко рассказал, как все это было. — Законность нашего брака может придти и позже, но теперь Клава моя жена и я больше ничего не знаю.

— Несомненно! Законность может придти и позже, можно хоть завтра зарегистрироваться в нашем Загсе. По советскому же закону признается фактический брак: живут вместе, значит муж и жена, — и молодой Костенко глубоко почему-то вздохнул, добавив:

— Не везет мне в жизни по вопросу женитьбы. Некоторые девушки и хотели бы, но они не нравились, те же что нравились почему-то избегали меня, вот так и маячу холостяком. Надеялся и серьезно думал о Клаве Кияшко, своя, мол, казачка и из хорошей семьи, и... опять опоздал. Так тому быть. Уйду опять служить в армию, сверхсрочно, добровольно. Только в армии и чувствуешь настоящее товарищество и законность. Тут же поналезли в советские учреждения разные темные личности и творят неслыханные беззакония. Взять хотя бы сына Должанского судовладельца, Ивана Котельникова...

— Кстати, что же, Котельников до сих пор председателем в станице?

— Уже нет. Недавно куда-то его убрали от нас. Теперь председателем стансовета казак Георгий Грицун.

— Грицун? Так это же, кажется, видный белый офицер?

— Точно, бывший офицер, а теперь он такой активный партиец, хоть куды.

— Шо ты, сынок, целый час так утомляешь разговорами молодых людей, — сказал тут же стоявший и все время молчавший Трофим Степанович. — Наговоритесь и завтра. Ты же видишь, что они прибыли с дальней дороги, много пережили неприятностей, сильно переутомились, им надо дать отдых. Я только хочу спросить тебя, Николай Николаевич, как там мой сваток, Тарас Охримович и сваха Ольга Ивановна?

Коля промолчал, а Клава опустив голову, с грустью сказала:

— Их уже совсем нет.

— Как так, нет?

— А разве тетя Даша вам не писала об этом? Дедушка Тарас и бабушка Ольга умерли еще зимой и там же, на кладбище выселенцев и похоронены.

— Царство небесное, царство небесное, -- и оба старика несколько раз перекрестились. — Я совсем не знал. Бедный сваточек, зарыли его кости в чужом краю и за какую же провинность?

— Что ж, папаша, — сказал Николай Трофимович, — ни одна революция без жертв не бывает. В сельском хозяйстве происходила настоящая революция: переход от частного землепользования к общественному, социалистическому. Было ясно, что богатые казаки мешали коллективизации и правительство решило их изолировать, то-есть выслать. Это конечно жестоко было, но другого выхода не нашли...

— Ладно, ладно, сынок, политграмм⁰ту свою будешь читать в другой раз и не здесь, — сказал недовольным тоном Трофим Степанович. — Старуха! Покорми-ка молодых мучеников и укажи им какое-либо место для ночлега. Им сейчас не до разговоров, да и нам спать надо, — и он полез на широкую печь, где до этого спал.

— Шо ж, деточки, раз вы тут назвались мужем и женой, законными или незаконными, это дело не мое, то и ложитесь вместе на нашей кровати, а мы со стариком и на печи переспим. Несомненно, вы и проголодались? Ведь пешком прошагали от самой Канеловской, а где же ночью можно достать поесть? Сейчас утолите голод, а потом отдыхайте...

Коля и Клава только теперь почувствовали насколько они проголодались, а встретившись с близкими людьми и в разговорах, даже как-то забыли про это. И когда Василиса Григорьевна поставила перед ними миску с соленой мелкой рыбешкой-камсой и положила почти полбуханки хлеба, то они без передышки умяли все это.

Поев и выпив по кружке воды, Коля и Клава искренне поблагодарили Василису Григорьевну за ужин и пошли спать на указанное им место.

Вскоре в доме Трофима Костенко все мирно спали...

ГЛАВА 16.

Через день после прибытия в станицу, Николай Шевченко явился в райвоенкомат, где служил его тезка Костенко и получил военный билет, чистый, без нежелательных пометок. Потом он пошел в стансовет, где попрежнему секретарем был Мацало и получил два официальных документа: о нелишении избирательных прав и о социальном положении. Тоже самое отдельно для себя получила и Клава.

А еще через несколько дней, Николай и Клава пошли в ЗАГС, официально совершили регистрацию гражданского брака и фамилия Шевченко стала у них единой. Как и полагалось, они хотели "вспрыснуть" такое важное событие, но решили отложить до возвращения родителей...

В те годы регистрация брака в ЗАГСе была весьма простая. Достаточно было явиться обоим вступающим в брак в ЗАГС, предъявить метрическую выписку о рождении, или какой-либо другой документ, удостоверяющий возраст, расписаться в книге Актов Гражданского Состояния, заплатить три рубля и... все. Развод браков можно было хоть на второй же день после регистрации, тоже внося три рубля и опять регистрироваться с другим лицом. Причем, для развода не требовалось даже взаимного согласия: "он" или "она" индивидуально являлись в ЗАГС, заявляли желание о расторжении брака, не указывая даже причин, расписывались в соответствующей графе той же книги, где регистрировали брак и могли, хоть в тот же день, заключать новый брак с очередной "женой" или "мужем". Позже процедура регистрации гражданского брака в Советском Союзе стала более серьезной.

Совершенно очевидно, что такая легкомысленная регистрация брака совсем не относилась к Николаю и Клаве: они много лет были привязаны друг к другу, прошли вместе тяжкие испытания, мужем и женой называли себя еще до этой формальности и регистрацию в ЗАГСе если совершили, то не временную, а навсегда. И еще потому, что так делали все...

В доме Василия Шевченко тогда жила какая-то семья из иногородних, квартиру эту арендовала в стансовете, так как все конфискованные у "кулаков" дома находилась в распоряжении стансовета. И хотя Николаю

дали разрешение из стансовета селиться теперь же и жить в доме отца, но он временно воздержался и не стал тревожить квартирантов до возвращения из ссылки отца и деда с семьей.

Николай и Клава написали подробные письма своим родителям в лагерь ссыльных в Надеждинский район, Свердловской области, о скором их возвращении в родную станицу и о своем бракосочетании. Сами же они вскоре выехали в ближайший город Ейск, где надеялись устроиться на работу.

В Ейске, в рабочем поселке, называемом "Нахаловка", расположенном на берегу Азовского моря, они наняли комнату и стали искать в городе любую работу.

Однажды, придя на вокзал, Николай встретил там своих станичников: Кононенка, Малюка, Коржа и Зацаринного, которые служили кондукторами в поездных бригадах станции Ейск. В несколько дней они подготовили и его к этой работе. Он написал прошение начальнику станции, сдал положенный техническими правилами экзамен, и стал ездить кондуктором вначале товарных поездов, а затем и на товаро-пассажирском "Ейск-Сосыка" и пассажирского "Ейск-Ростов-Таганрог".

Клава тоже не сидела без дела, а вскоре поступила на работу в засолочный цех Ейского рыбного завода.

Хотя Коля и Клава имели всего лишь одну комнату, но чувствовали в ней себя счастливыми, ни от кого независимыми, и кроме, как о судьбе родителей, больше ни о чем не думали.

Николай Трофимович Костенко, как и говорил, вскоре уволился из райвоенкомата добровольно уехал в Дальневосточную армию, где среди командного состава служили некоторые его сослуживцы по 26-му Ленинградскому Стрелковому полку, в котором он отбывал воинскую повинность в тридцатых годах, когда этот полк был в Ейске. Там, в Дальневосточной армии, он вскоре был назначен помощником командира роты...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА 1.

Прошло больше месяца после возвращения Николая и Клары Шевченко и переезда их на жительство в Ейск, а от родных из Надеждинска ничего не было слышно. Все начали тревожиться за их благополучное возвращение, подозревая злоупотребления "власть имущих" и на этот раз.

Однажды прибыв с товарным поездом на станцию Старо-Минская и пока составитель и сцепщик делали маневры, Николай, по обыкновению, направился в "дежурку" — комнату возле кабинета дежурного по-станции, где обычно находилась кондукторская бригада во время маневров поездного состава. Он медленно и задумчиво шел по коридору и совсем не смотрел по сторонам.

— Коля! Колюшка! — вдруг послышался сбоку от него громкий оклик.

Николай вздрогнул, остановился и поднял голову. В двух шагах от него стояли два бородатых мужчины: один с длинною седою бородой, другой — с небольшой, темноватой бородкой. Лица их показались ему как-будто бы знакомые, но в полутемном коридоре он сразу не мог их распознать.

— Коленька! Да ты шо, не узнаешь нас? Полгода не прошло и уже забыл?

— Тато! Дидуся! — и выпустив из рук сигнальный фонарик, Николай кинулся в их объятия. — Приехали, таки! И когда вы, тато, успели такую бородку отрастить? Не мог узнать! Все приехали?

— Все наши вернулись в родную станицу! И наша семья, и вся семья Кияшко, — сказал его отец, с удивлением поглядывая на железнодорожную форму сына. — Ты, шо, чи не кондуктором уже стал служить? Я думал, шо ты в колхозе теперь.

— Как видите, стал кондуктором, — поднимая с пола свой разбитый фонарик, сказал Николай. — Что ж, работа эта мне нравится, зарплата неплохая, всех же-

лезнодорожников хорошо снабжают и продуктами и одеждой, а в колхозах наших какая-то преступная неразбериха: кто смел, тот два съел, а кто не смел, тот голоден. Кто каждый день с утра до ночи работает, тот живет впроголодь, а кто почти не работает — те сыты и ни в чем не нуждаются, потому что воруют колхозное добро без стеснения. Нет порядка: хлеба гниют на полях неубранными, а члены правления колхозов день и ночь пьянствуют и гуляют, как на свадьбе... Так, значит, и вся семья Кияшко приехала? Вот Клава обрадуется, жогда я привезу ей такую радостную вест!

— Какая Клава?

— Вот вам и на! Моя жена, Клавдия Никифоровна, дочь Наталки Кияшко! Мы же, кажется, вам об этом писали?

— Да, да, писали, я и забыл, — усмехнулся его отец, Николай Васильевич. — Откровенно говоря, мы и раньше не сомневались, что ваша привязанность друг к другу должна кончиться именно женитьбой. Плохо, что оформляли вы свой брак без нас, да и свадьбы то никакой не было, но ничего не поделаешь: не наша вина. Хай Бог даст вам счастливую жизнь и доброе здоровье, а остальное неважно. Наталка тоже была очень рада, что вы благополучно добрались в станицу и одружились. И я рад.

— Спасибо, тато! А где теперь находится Кияшкина семья?

— Они забрали свой багаж на станции вчера, а мы вот сегодня берем. Наш домик квартиранты освободили сразу же после нашего появления в станице и мы в нем теперь и живем. А Петро Тарасович и его семья, и Наталка, твоя теща, временно поселились у Трофима Костенко. Их дом занят колхозным правлением с их канцелярией, и правление что-то вольтит с освобождением здания, хотя в стансовете и обещали освободить. Вместо этого правление предлагает пустующий дом высланного кулака Карпа Калиновича Бардак, которому отказано в восстановлении голоса и в возвращении из ссылки, но Кияшкова семья пока воздерживается занимать чужой дом.

— Ничего, в родной станице можно жить и под открытым небом...

— Кондуктор Шевченко! Кончайте частные разговоры! Вы находитесь на службе поездной бригады и

наш поезд уже готов к отправлению в Ейск, — тоном приказа сказал вышедший на перрон главный кондуктор поезда бригады Федор Бабаш.

— Мне надо спешить на свой поезд. До свидания, тато! До свидания дедушка, прощайте! В первый же выходной день мы с Клавой будем в станции, а может Клава, как узнает, то и завтра примчится к матери и ко всем вам, — и Николай по-мальчишески побежал к отходившему на Ейск товарному поезду. Вскочив на тормозную площадку хвостового вагона, он выставил зеленый сигнальный флажок и радостно глядел в сторону стоявших на перроне, родных отца и дедушку, пока взявший скорость поезд не скрыл их из его поля зрения.

И Николай Васильевич с отцом тоже с радостной гордостью долго глядели на молодого кондуктора, стоявшего с флажком на тормозной площадке вагона и приветливо махали ему рукой, пока поезд не скрылся за бугром...

ГЛАВА 2.

Не желая раздражать активистов местной власти и иметь больше шансов на получение обратно отцовского дома, Петр Кияшко со всей семьей вступил в колхоз "Червонный Пахарь" и стал усердно трудиться на колхозных полях, чтобы иметь кусок хлеба и покой. Его семнадцатилетний Михаил прошел краткосрочные курсы и стал трактористом Машинно-Тракторной Станции, сокращенно "МТС".

Наталка тоже вступила в колхоз и работала дояркой на колхозной молочной ферме, но сын ее, 23-х летний холостяк, Григорий, не захотел идти в колхоз, а уехал в Харьков, на строительство Харьковского тракторного завода, на котором работало уже много станичников и жили все там неплохо.

Дом Тараса Кияшко, под разными предлогами, не возвращали законным наследникам, мотивируя тем, что в последний год во дворе были построены большие конюшни и другие колхозные здания, а переносить их на новое место было нецелесообразно. Вместо этого, совет дал в собственность семье Кияшко неплохой дом высланного кулака Петренко, о восстановлении в правах и возврате которого из ссылки не могло быть и речи: слишком богатый был хлебобоб и участник антисо-

ветских выступлений. Немного подумав, Петр занял дом и стал жить в нем со всей семьей. По-прежнему с ними жила и Наталка Кияшко.

При начале сплошной коллективизации, в конце 1929 года, в станице был организован почти из всех жителей только один колхоз — "Ленинский Шлях". Через два года он был разокрупнен и вместо одного, стало в станице десять колхозов, и все с украинскими названиями, т. к. тогда проходила по всей Кубани и в большинстве других районов правительственная украинизация населения. До 1933 года колхозы назывались: "Червонный Прапор", "Червонный Пахарь", "Герой праці" и т. д., потом были переименованы по-русски.

Николай Шевченко с Клавой жил в Ейске и работал кондуктором, но его служба на железной дороге была недолгой. Вскоре Народным Комиссаром Путей сообщения стал Лазарь Каганович и начал строгую чистку персонала на железнодорожном транспорте.

Лица служившие в Белой армии или их дети, бывшие лишенцы, хотя бы позже и восстановленные в правах, имевшие родственников заграницей, и другие подобные им, считались неблагонадежными и подлежали немедленному увольнению. Под эту чистку попал и Николай Николаевич Шевченко, хотя местком станции Ейск его и защищал. После его увольнения, Клава тоже уволилась с рыбного завода по собственному желанию.

Вернувшись из Ейска в свою станицу, они не захотели идти работать в колхоз, а пробыв несколько дней, уехали вдвоем в Харьков, к Григорию Кияшко, вместе с которым Николай вскоре и стал работать на Харьковском тракторном заводе.

Самому младшему в семье Кияшко, сыну Петра и Даши, Феде, исполнилось только восемь лет. Он начал ходить в начальную школу, стал пионером, но был пассивным и не очень обращал внимание на красный галстук.

Зато десятилетняя Катя, дочь Николая Васильевича и Гашки Шевченко, оказалась ревностной пионеркой и энтузиасткой всего нового. Она открыто насмехалась над своим дедушкой Василием, когда тот вставал молиться перед иконами, или в праздники шел в церковь. За эти насмешки, ее часто бранила мать, а иногда давала и подзатыльника.

— Не смей, Катя, насмехаться над дедушкой, —

прикрикивала Гашка, — и над иконами и церковью не кощунствуй! Свое безбожие соблюдай в пионерском отряде, а в доме чтобы я этого не слышала.

— А вы, мама, не очень-то кричите на меня! — подбоченившись говорила Катя. — Вот пойду, заявлю в комсомол или в милицию, пожалуюсь на вас за насилие над пионеркой, так вам влетит...

— Ах, ты, дрянь этакая! Не успела вылезть из пеленок и уже будешь на родную мать заявлять в милицию?

Пока Гашка искала ременной пояс, Катя благоразумно убежала из дома во двор и пряталась.

Хотя Катя свои детские угрозы повторяла не раз, но ни разу не ходила жаловаться на мать ни в комсомол, ни в милицию. В других семьях дети действительно жаловались иногда на родителей, и тогда начиналась проверка: кто такие были родители, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Большим огорчением для старого Василия Шевченко явилось событие, когда его ближайшую Христо-Рождественскую церковь в 1932 году закрыли и разрушили. Церковь эта была построена недалеко от речки Сосыка еще в 1793 году казаками Минского куреня, из бывшей Запорожской Сечи, когда те вместе с Черноморским войском переселились на Кубань. Через два года закрыли и обе другие церкви, и даже старую часовню на Старом кладбище снесли...

Большинство колхозников и колхозниц, в объединенном сельском хозяйстве, работало спустя рукава, без всякого рвения к уборке хлебов и пренебрежительно относилось вообще ко всей колхозной собственности. Под открытым небом можно было видеть вороха колхозного зерна, дождь мочил его целыми днями, зерно пропало и почти никто на это не обращал внимания.

Привычка частной собственности брала верх над социалистической собственностью и часто можно было слышать:

— Если бы все это было мое собственное, я бы берег и старался и ни одно бы хлебное зернышко не пропало, а то ведь теперь все это общее, нам если что и дадут из этого, то как "кот заплакал", а то и совсем не дадут. Так чего же нам беспокоиться за чужим?

Стало угрожающе развиваться расхищение всей

колхозной собственности. Воровали все, что можно: и зерно, и овощи с колхозных огородов, и молочные продукты с колхозных ферм, и птицу, все, что удавалось украсть или присвоить. Некоторые неисправимые инициаторы такой постоянной грабильки объясняли свои поступки с религиозной точки зрения и говорили:

— По заповедям Божиим грешно красть и присваивать добро у своего ближнего, соседа, собственность частного лица. Колхозную же собственность брать можно всем и никакого греха в этом нет, потому что это все общенародное, то-есть наше и это не воровство. Все это наше и мы свое можем брать, когда захотим, лишь бы начальство не знало...

Сплошная коллективизация прошла повсеместно в широком масштабе и для объединенного сельского хозяйства правительством предоставлено было много тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, но результаты были неудовлетворительны.

Чтобы покончить с такой расхлябанностью и приостановить расхищение колхозной собственности, правительство пошло на крутые меры.

7 августа 1932 года ЦИК и Совнарком СССР издал историческое постановление, о борьбе с расхищением "социалистической собственности".

Виновные в краже или незаконном присвоении колхозной или другой социалистической собственности, подлежали осуждению к высшей мере наказания — расстрелу и, лишь при особо смягчающих вину обстоятельствах, расстрел заменялся десятью годами лишения свободы, с конфискацией всего имущества.

После такого постановления правительства началась борьба "с кулацким саботажем" на Кубани и в других областях страны.

Для решительной и действенной борьбы против "кулацкого саботажа" на Северном Кавказе, в помощь Крайкому и Крайисполкому возглавляемому Борисом Шеболдаевым и Лариным, Сталин командировал "железного наркома" Лазаря Кагановича. Вместе с Кагановичем прибыли из Москвы особо активные коммунисты, так как местным партийным органам Политбюро не доверяло. При каждой МТС были созданы Политотделы из видных военно-политических работников, которые взяли на учет всю деятельность колхозов, и без ведома ко-

торых ни один председатель колхоза ничего не мог делать.

Началась вторая революция в сельском хозяйстве Северного Кавказа и всех земледельческих районах Советского Союза.

ГЛАВА 3.

По приказу Кагановича, у всех единоличников и колхозных хозяйств все хлебное зерно было конфисковано. То, что нужно было для посева, считалось неприкосновенным, но хранилось теперь не в колхозных амбарах, а на государственных складах.

Несмотря на недостачу хлеба по всей стране, экспорт был во много раз увеличен и в 1933 году с одной лишь Кубани было отправлено за границу четырнадцать миллионов пудов зерна.

Судебные наказания, указанные в постановлении ЦИКа и Совнаркома СССР от 7 августа 1932 года, должны были касаться действительных расхитителей общественной собственности, но на местах так "перегнули палку", что суровые кары стали применять, буквально, ко всем. И к тем, которые похитили или погубили сотни тонн зерна, и к тем, кто сорвал один колосок, — меры наказания были одинаковыми. Например:

Если проголодавшийся колхозник, идя мимо колхозного поля, сорвал колосок созревающей пшеницы, растер его на ладони и бросил несколько зерен в рот, а это заметил специальный "объездчик", то такого "расхитителя" осуждали на десять лет заключения, а иногда и к высшей мере наказания — расстрелу. И суд при этом всегда ссылался на постановление от 7 августа 1932 года. Или если колхозный возчик, после взвешивания, возле молотилки на колхозных весах (зачастую старых и неточных), подводы зерна, примерно, в тысячу килограммов, привозил это зерно на элеватор, где его перевешивали на точных государственных весах и при этом оказывалось меньше на один килограмм, чем было указано в накладной колхоза, то такого возчика там же арестовывали и потом судили по закону от 7 августа 1932 года, хотя несчастный, возможно, и не прикасался ни к одному зернышку...

Однажды три колхозницы, — Настя Пидык, мать шестерых детей, Приська Довбня и Наталка Кияшко, —

шли из колхоза в станицу, мимо большого колхозного поля с кукурузой. Вечерело. Вблизи никого не было видно и они, не вытерпев, зашли втроем в гущу высокой кукурузы, сорвали по несколько початков и завернули в свои передники. Початки кукурузы были еще не созревшими, но вполне пригодными в пищу.

— Как только приду домой, обварю початки и это будет добрым гостинцем для моих карапузов, — говорила с подъемом Настя, вынимая из передника и запихивая за пазуху кукурузу.

— Мой Гаврило хоть и бригадиром, а толку мало, — сказала Приська, — его дети впроголодь живут. Я только три початка и несу им, пусть погрызут, да и мне хоть половинку дадут.

Две "расхитительницы" сразу же пошли назад к дороге, а Наталка еще продолжала ходить среди кукурузных стеблей, высматривая себе початки получше.

Едва Настя и Приська подошли к дороге, как вдруг откуда ни возьмись перед ними появился объездчик, на коне и с ружьем.

— Стойте! Что несете? — строго крикнул он.

Обе стали, как вкопанные, и молчали. Объездчик сошел с коня, безцеремонно обыскал их и обнаружив у одной три початка, а у другой за пазухой пять, сел опять на коня и погнал их по дороге в ближний участок милиции.

Наталка издали заметив появление объездчика, пригнулась, отошла от дороги еще дальше и сидела там. Объездчик ее не заметил, а Приська и Гашка не сказали ему про третью "расхитительницу" и это спасло ее от судебной кары.

В Старо-Минском Народном суде "расхитителей социалистической собственности" судили каждый день по несколько десятков, поэтому никого не удивило, когда, с группой других подсудимых, в зал суда привели Настю Пидык и Приську Довбня...

— Обвиняемая Анастасия Пидык, что вы считаете смягчающим вашу вину обстоятельством? — спросил Настю судья Венников.

— Та як же не обстоятельства, гражданин судья, шестеро малых детей у меня, есть хотяя, а шо ж я для них зароблю в колхозе? — сказала печально Настя. — На трудодни дают дуже мало, достать в другом месте

харчей нельзя, да и не за что. И я и дети мои живем впроголодь.

— Ха! Шестеро детей! А когда шли воровать колхозную кукурузу, вы подумали о судьбе своих детей?

— Як же не думала, гражданин судья, все время думала и думаю, для них то я и хотела принести пять початков кукурузы. Хиба ж я за два года не заробыла их в колхозе?

— А постановление ЦИКа и Совнаркома СССР от 7 августа 1932 года вы знаете?

— Та... немножко чула, — и Настя обреченно опустила голову.

— Все ясно, — сказал Венников и обратился к следующей подсудимой.

— Обвиняемая Евфросинья Тарасовна Довбня, признаете себя виновной?

— А шо толку з того, признаю я или не признаю, — сердито и не глядя на судью ответила Приська. — Все равно "червонца"*) не миновать, а у вас решение уже до этого готово. Мой первый муж добровольно воевал за советскую власть, был красным командиром и погиб от вражеской пули. Так неужели же его кровь, пролитая за эту власть, не стоит тех трех початков кукурузы, что я взяла на колхозном поле и хотела принести троиm детям другого мужа, Гаврила Довбни, который кстати и сейчас работает бригадиром в колхозе, и день и ночь не вылазит оттуда?

— Мы вас, гражданка Довбня, не судим за то, что ваш первый муж был красным командиром, а судим за расхищение социалистической собственности. И о детях Довбни нечего плакать, они уже большие и должны тоже работать в колхозе. Что же касается бригадирства вашего второго мужа, то возможно скоро доберемся и до него...

На этом "судебное разбирательство" двух женщин и закончилось.

Судья Венников, шепнув что-то вправо и влево обоим заседателям, вовсе не удаляясь на судебное совещание в другую комнату, как было раньше, и даже не вставая из-за стола, так сидя и объявил приговор:

— Гражданка Анастасия Пидык и гражданка Евфросинья Довбня признаны виновными в расхищении со-

*) Осуждение на 10 лет называлось, «получить червонец».

циалистической собственности и на основании постановления ЦИКа и Совнаркома СССР от 7 Августа 1932 года, приговариваются к десяти годам лишения свободы каждая, с конфискацией всего имущества и взятием под стражу...“

— Следующие? — обратился Венников*) к другим обвиняемым.

Опустив головы и тихо всхлипывая Приська и Настя сидели и ждали такого же "судебного разбирательства" и других, пришедших с ними обвиняемых, которых было больше десяти.

Уделив по одной-две минуте на каждого подсудимого и пошептавшись с заседателями, которые, ни разу не раскрыв рта, только механически кивали головами, как оловянные солдатики, Венников объявил всем по десять лет заключения и только тогда встал и вышел из зала заседаний суда.

Все осужденные под охраной милиционеров, были уведены из здания суда в местную тюрьму, а через несколько дней, когда их собралось около сотни, в тюремном вагоне были отправлены в отдаленные лагеря НКВД.

Через две недели после осуждения Приськи и Насти, был осужден и Гавриил Довбня со всем составом правления его колхоза "Герой Труда" за расхищение социалистической собственности и невыполнение плана хлебозаготовок. Председатель Прус и бригадир Довбня были приговорены к расстрелу, но Прусу приговор был заменен десятью годами, а через год он был совсем освобожден и вернулся в свой колхоз. Довбне же приговор изменен не был и он в станицу никогда не вернулся.

Через год начали пересматривать "дела" некоторых лиц, особенно тех, которых судил Венников, и Настя Пидык была освобождена и вернулась в станицу, но трое детей ее за это время умерло с голоду, а остальные были в детском приюте. Не выдержав такого потрясения, она в отчаянии бросилась в колодец своего двора и утопилась...

Приська Довбня через два года тоже вернулась в

* Народный судья Староминского района Венников, в том же тридцать третьем году был разоблачен, как примазавшийся бывший денкинский офицер, исключен из партии и выездной коллегией Округного суда осужден, как контрреволюционер и враг народа.

станцию, но уже выросшие дети расстрелянного Гавриила отказались принять ее к себе в дом, забыв, что она ухаживала за ними маленькими, как за родными. Махнув на все рукой, она уехала на чайные плантации в Грузию, где тогда пристроилось много староминчан и осталась там навсегда...

**

В 1932-33 годах продовольственный паек в станицах Кубани выдавался только железнодорожникам, милиции и некоторым государственным служащим. Остальное население было обречено на голод.

В магазинах никаких продуктов питания не было, вывезли даже те, что были до этого года, а достать их было негде. Трупы умерших от голода людей лежали не только в домах, но и на улицах — убирать их было некому.

В то же самое время, в портах Ейска, Новороссийска и других, день и ночь грузились зерном заграничные пароходы. Так выполнялся Сталинский экспортный план!

Проводилось такое варварство Сталинской тройкой: член Политбюро Лазарь Каганович, глава Северо-Кавказского крайкома партии Борис Шеболдаев и председатель Крайисполкома Ларин. Они постоянно давали в Москву, в Кремль абсолютно ложные рапорты о благополучии в Крае, и ни слова о голоде и прочем. И ни в одной газете, и ни слова по радио не было сообщено о катастрофическом положении с продуктами на юге России, о страшном голоде, а тем более о массовой гибели людей от голода.

"За границу отправляются излишки зерна, в которых наши люди не нуждаются", — вот официальная версия исходившая от Ростовской тройки.

Станицы Полтавская, Урупская и Уманская были полностью выселены, в том числе и все местные коммунисты, бывшие красные партизаны с их семьями и все другие.

Через несколько лет Шеболдаев и Ларин были объявлены "врагами народа" и ликвидированы, но Каганович, при жизни Сталина, был все время в ореоле славы и за гибель миллионов колхозников никто его не обвинил...

Только с 1934 года жизнь в колхозах Советского

Союза стала понемногу улучшаться. Оставшиеся в живых и те колхозники, что вернулись из лагерей, после пересмотра их "дел", стали работать не за страх, а на совесть, больше стали получать на трудодни и усердно залечивали раны первых лет колхозной жизни.

Голодный год в станицах Кубани не прошел бесследно и мимо героев нашего повествования. Летом тридцать третьего года от истощения умер престарелый Шевченко Василий. После его смерти, чтобы спастись от голода, Николай и Гашка Шевченко с дочкой Катей, бросив дом на произвол судьбы, бежали в Харьков, где их Николай и Клава жили в достатке и давно уже звали отца к себе.

Петра Кияшко и его семью спасло от голода в тридцать третьем году только то, что его сын Михаил работал трактористом в МТС, а трактористов и в голодный год хорошо снабжали хлебом и другими продуктами. Сын часто отделял часть своего пайка отцу. Даша устроилась на колхозной молочной ферме дояркой вместе с Наталкой, а это в тот год было весьма неплохо.

В 1934 году голод остался уже позади и все облегченно вздохнули.

Но вот 1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит Сергей Киров и спокойная жизнь опять была поколеблена. Всю страну охватил небывалый в истории Сталинско-Ежовский террор. "Ежовские рукавицы" затронули не только руководителей партии и высшего командного состава Красной армии, но расстрелы, аресты и ссылки не прошли мимо колхозных станиц и городов всей страны

ГЛАВА 4.

Тайна убийства Кирова так и осталась неразгаданной.

Сергей Миронович Киров (в юности Сережа Костриков), секретарь Ленинградского областного комитета и секретарь Центрального комитета ВКП(б) и член Политбюро, был на редкость популярен и любим, как в партийных рядах, так и в среде ленинградских рабочих. Сравнительно молодой, жизнерадостный, с приятной внешностью, Киров вызывал симпатии многих граждан своей страны.

Друг и соратник Серго Орджоникидзе, по револю-

ционной деятельности на Кавказе, Киров своей деловитостью превзошел своего товарища Серго и был одним из тех, кто мог бы заменить Сталина, на что многие и надеялись. И Сталин об этом прекрасно знал.

И вот... сумеречным вечером 1 декабря 1934 года, в коридоре Смольного раздался выстрел, зловещим эхом пронесшийся по всей стране. Выстрелом в затылок был убит глава самой большой, после Москвы, партийной организации Сергей Киров. Убийцей оказался бывший чекист, старый член коммунистической партии, Леонид Николаев.

Николаев знал, что Киров в шесть часов вечера будет выходить из Смольного и ехать в Таврический дворец для доклада ленинградскому партийному активу. Каким-то способом он свободно прошел к дверям кабинета своей жертвы и, по каким-то мотивам, после убийства, не пытался бежать, хотя скрыться в создавшейся суматохе было нетрудно.

Через час после события в Смольном пришла в движение машина НКВД. Всю ночь напролет по Невскому и Литейному мчались "черные вороны", наводя ужас на обывателей, почуявших что-то неладное.

И буквально через час после получения в Москве сообщения из Ленинграда об убийстве Кирова, президиум ЦИКа СССР опубликовал постановление о приведении в исполнение всех приговоров всем приговоренным к расстрелу до 1-го декабря 1934 года, ожидавшим после подачи апелляции, пересмотра дела.

Еще не остыло тело Кирова, как уже были сообщены по радио сотни фамилий расстрелянных в тот же вечер.

На второй день после выстрела в Смольном, уже утром по городу распространилась кем-то пущенная версия, что Киров убит на почве ревности, что у него были, якобы, любовные связи с женой Николаева и поэтому, де-мол, Николаев так расправился со своим соперником.

Эта подозрительно быстро пущенная "кем-то" версия убийства, остается одной из загадок, как и все, что связано с обстоятельствами выстрела в Смольном. Если бы убийство было совершено на почве ревности, то почему-же буквально через час после этого началась в Ленинграде (да и по всей стране) "Варфоломеевская ночь", и были расстреляны сотни людей?

Пока на заводах шли траурные митинги, из Москвы в Ленинград мчались два экспресса. В одном ехало не-

сколько сот отборных чекистов Ягоды, а в другом сам Сталин со свитой. Московские чекисты, прибыв в Ленинград, со своим шефом Ягодой, сразу же оцепили вокзал, отстранив от участия по встрече Сталина ленинградское НКВД и взяв на себя всю работу по следствию.

Сойдя с поезда, и даже не подав руки, стоявшим тут, ленинградским "вождям" Чудову, Струппе, Кадакому, Позерну и другим, Сталин прямо с вокзала поехал к телу Кирова, а затем пожелал лично видеть убийцу...

Через несколько дней после торжественных похорон Кирова на Красной площади в Москве, в печати и по радио было сообщено, что убийство Кирова было организовано и совершено троцкистами и зиновьевско-каменевскими "подонками". Хотя Зиновьев и Каменев были исключены из партии задолго до этого события, но находились на свободе. Теперь они были арестованы и на их первом процессе приговорены к десяти годам тюрьмы. Так, по официальной кремлевской версии, и вошло в историю, что убийство Кирова организовали Зиновьев и Каменев. Вскоре был обвинен в том же и расстрелян и сам глава НКВД Ягода. На его место наркомом стал Николай Ежов.

По приказу Сталина, все карательные функции в стране были возложены на нового наркома Внутренних дел Николая Ивановича Ежова. И по всей стране началась страшная волна террора, вошедшая в негласную историю под именем "Ежовщины".

С конца 1934-го и в последующие три-четыре года было арестовано и расстреляно большинство руководящих партийных работников из старой "Ленинской гвардии" не только в Москве и Ленинграде, но почти во всех областных, краевых и республиканских центрах. Один судебный процесс следовал за другим, где в качестве "врагов народа" фигурировали видные деятели партии и советского правительства.

Чтобы не быть голословным, надо указать хотя бы часть лиц из руководящих партийных работников и командиров Красной армии, ликвидированных при Ежове.

Если на первом процессе Зиновьев и Каменев отделались только десятью годами тюрьмы, то через два года состоялся другой "гласный" процесс, на котором обвиняемыми (и затем расстрелянными) оказались: Г. Зиновьев, Л. Каменев, Г. Евдокимов, А. Гертик, И. Бакаев,

А. Куклин, Я. Шаров, Г. Федоров, И. Горшенин, А. Перимов, И. Тарасов, Л. Файвилович, А. Герцберг, С. Гесен, Б. Сахов, А. Башкиров, И. Царьков и др.

Было ликвидировано почти все высшее командование Красной армии и из пяти "сталинских маршалов" остались только Ворошилов и Буденный, а Блюхер, Егоров и Тухачевский были расстреляны, вместе с начальниками своих штабов и старшими политработниками. Командующие почти всех военных округов были арестованы и расстреляны, среди них надо указать хотя бы таких: командармы 1-го и 2-го рангов: Якир, Корг, Фельдман, Примаков, Уборевич, Эйдеман, Путна, Каширин, Белов. Покончил, якобы, самоубийством Гамарник, таинственно и скоропостижно скончался Серго Орджоникидзе, исчезли "вожди" советской Украины Постышев и Коссиор, "вожди" Северо-Кавказского края Борис Шейболдаев и Владимир Ларин. И, конечно, не миновал Сталинско-ежовых рукавиц и прежний нарком Ягода, который был расстрелян, вместе со своими видными сослуживцами...

В 1938 году окончательно была ликвидирована и право-бухаринская группа: Н. Бухарин, А. Рыков, Крестинский, Раковский, Розенхольц, Иванов, Чернов, Гринько, Файзула Ходжаев, Шарангович, Зеленский, Икрамов и другие. Все они были старыми революционерами и лидерами в коммунистической партии и советском правительстве.

Среди расстрелянных деятелей из Ленинской гвардии оказались такие видные партийные работники:

И. А. Акулов — бывший главный прокурор Советского Союза и секретарь ЦИКа СССР, Алкснис — начальник военно-воздушных сил Красной армии, Антонов-Овсеенко — руководитель захвата Зимнего дворца в 1917 году, С. Андреев — секретарь ЦК Комсомола, Берман — заместитель наркома Вн. Дел СССР, Андрей Бубнов — нарком Просвещения РСФСР и бывший начальник политуправления Красной армии, Вейцер — нарком внутренней торговли СССР, Дыбенко — командующий войсками Приволжского военного округа (известная фигура в Гражданскую войну), Авель Енукидзе — секретарь ЦИКа СССР, Карахан — заместитель наркома иностранных дел, Николай Крыленко — бывший Верховный командующий в 1917 году, назначенный Лениным вместо генерала Духонина и нарком Юстиции РСФСР,

Пахомов — нарком Водного транспорта СССР, Рудзук — заместитель председателя Совнаркома СССР и член Политбюро ЦК ВКП(б), М. Рухимович — нарком Путей Сообщения СССР, Д. Сулимов — председатель Совета народных комиссаров РСФСР, А. Червяков — председатель ЦИКа Белорусской ССР, Влас Чубарь — заместитель председателя Совнаркома СССР, Эйхе — нарком Земледелия СССР, Яковлев — бывший нарком Земледелия СССР и заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦК ВКП(б) ... и многие тысячи и десятки тысяч других видных деятелей партии и правительства.

Когда грандиозный план кровавой расправы "отца народов" был выполнен по всей стране, тогда Сталин ликвидировал и главного исполнителя этого плана, "сталинского наркома" Николая Ивановича Ежова, а на его место поставил своего земляка-грузина Лаврентия Берия, который тоже продолжал расправы до смерти диктатора, но в меньших размерах ...

Так убийство Кирова стало причиной расправы с Ленинской гвардией в Советском Союзе ...

Хочется добавить еще несколько строк, касающихся загадочного убийства Сергея Кирова в Ленинграде.

В 1944 году, в одной газете в Германии были напечатаны интересные сведения инженера В. Подгорского, сидевшего в конце 1934 года в тюрьме на Шпалерной, по соседству с камерой, в которой находился один из главных обвиняемых по делу Николаева, секретарь парткома Индустриального института, бывший секретарь КИМа (Коммунистического Интернационала Молодежи), И. Каталынов.

"... Было уже за полночь, — рассказывал В. Подгорский, — когда меня разбудил резкий, но тотчас же придушенный крик в тюремном коридоре. В соседней камере щелкнул замок — туда ввели нового узника — и снова все погрузилось в тишину. Внезапно я услышал легкие, едва уловимые удары о стенку. Это стучал мой сосед. Выбивая по азбуке "Морзе" легкие удары о стенку, он сообщил следующее: "... Знаю, что меня не оставят в живых. Я не виновен, но знаю слишком много и поэтому должен умереть ... Я — Каталынов! Никто из нас не участвовал в организации убийства Кирова... Николаев получил инструкции из Кремля. Сталин боялся Кирова, как конкурента ... И оппозиции боялся. Николаев — приятель Поскребышева, личного секретаря

Сталина. У Николаева не было никакой связи ни с левой, ни с правой оппозицией... Я все равно умру. Вы слышали правду и передайте ее всем, чтобы..."

Стук на этом оборвался. В соседнюю камеру кто-то вошел, снова раздался придушенный крик, а затем все стихло..."

Такое сообщение живого свидетеля "кировских репрессий" инженера Б. Подгорского приподнимает занавес над делом группы Николаева и тайной убийства Кирова. По сообщению советской печати, Николаев был расстрелян после всех других "кировских" процессов, но были слухи, что он вовсе не расстрелян, хотя вряд ли Сталин оставил бы в живых такого страшного свидетеля.

Тайна этого события усугубляется еще и тем, что по прибытии из Москвы в Ленинград, Сталин имел беседу с Николаевым один, без посторонних, с глазу на глаз. И их беседа тоже осталась тайной.

Но из сказанного выше не надо думать, что Сталинско-Ежовский террор обрушился только на высшее командование армии и на старых, видных партийных работников. Террор тех страшных лет не миновал и простых людей в колхозах и в промышленности.

Перед началом войны 1941 года, в Советском Союзе трудно было найти такую семью, в которой, за годы Сталинского деспотизма, кто-либо не пострадал. Смело можно сказать, что в эти годы из десяти семейств — девять познали "отцовство" Сталина: хоть один из семьи был арестован и сослан, или осужден, или погиб от голода в 33-ем году. Кстати, от голода погибали целыми деревнями и по самым скромным подсчетам насчитывается не меньше шести миллионов жертв искусственного голода. "Искусственным" назван этот голод потому, что в год голода сотни миллионов пудов хлебного зерна отправлялось за бесценку за границу, дабы выполнить Сталинский экспортный план...

И ничего нет удивительного, что большинство Качества и других жителей Советского Союза, даже те, кто до этого был за советскую власть, по воле Сталина превратились сначала в тайных, а потом и в явных врагов советской власти. Эти люди стали ждать избавления, хотя бы с помощью иностранной интервенции. Сталин и его партия создали себе миллионы врагов внутри страны, мало задумываясь о возможных последствиях...

ГЛАВА 5.

Земли колхоза "Хуторок", Староминского юрта, в котором работал Петр Кияшко с семьей, простирались от левого берега реки Ея, на десять километров до самого моста к селу Соннино (или по-местному "Мыхи-нивка"), стоявшему уже на Донской стороне. В этом же колхозе, на молочной ферме, работали Даша и Наталка Кияшко.

Михаил, старший сын Петра и Даши, работал трактористом в МТС до 1936 года. Потом его призвали в армию, зачислили в школу танкистов, и он покинул Кубань, направившись к месту назначения военной службы.

С 1934 года с продуктами питания стало лучше и в городах, и в станицах, но в частной жизни рядовых колхозников кроме хлеба и овощей, в остальном по-прежнему был недостаток...

Однажды в день 1-го мая, после митинга и обычных шествий по улицам станицы, к Софрону Падалко пришли в его двор и знакомые соседи: Петр Кияшко, Еромолай Фоменко, Василий Кунда и Григорий Гордиенко. чтобы как-то отметить праздник.

Посевы яровых и пропашных культур были закончены и всех колхозников в этот день освободили от работы.

Между роскошными вишневыми и яблоневыми деревьями в саду Падалки, прямо на траве положили развернутое большое рядно, поставили две бутылки водки и уселись все вокруг, поджав ноги по-турецки. Спиртного тогда в магазинах было достаточно, но для закуски возле бутылок лежала только полбуханка хлеба и больше ничего не было.

— Я, так сказать, ничего не понимаю, — разведя руками, недовольным тоном сказал Софрон Падалка. — Водка у нас есть, а закусывать, так сказать... нечем. Раньше бывало, если в моей хате или дворе появлялась такая славная компания, как, например, сейчас, то я только крикну: "А ну, Варька, давай-ка сюда сало, колбасу, пирожки!" И вмиг, все это оказывалось среди бутылок. В самых колхозах в степи то можно и теперь еще так-сяк поесть, а дома кроме хлеба, нэма ничего.

— Софрон Капитонович! А то разве не сало? — и Петр показал на грядку с зеленым луком.

— То правда, Петро Тарасович, цебуля вот уже не-

сколько лет часто заменяет нам сало. Хорошо хоть хлеб есть, а в тридцать третьем и хлеба не было, — и встав с ряднушки, Софрон Капитонович подошел к ближайшей грядке с зеленеющим луком, вырвал несколько пучков, вытер об траву приставшую к корням землю, и принес это "сало" гостям.

— Варя! — обратился он к тут же сидевшей жене.
— Сходи в хату и принеси нам...

— Чего принести тебе, Софроша, сала и колбас?
— не дав ему договорить, усмехнувшись, сказала Варя.

— От жебисова душа, ше й насмехается. Принеси нам соли, шоб цебулю присалить!

Хозяйка сама знала, что ничего больше она не может им принести, поспешно пошла в хату, завернула в газету щепотку соли, принесла и положила на рядом возле лука.

— Ну, дорогие станичники, с праздником! Выпьем и закусим, чем Бог послал, — сказал Падалка, подняв полный чайный стакан водки, залпом выпил, понюхал кусочек хлеба, потом очистил несколько стебельков луку, обмакнул в соль и стал закусывать.

Другие последовали его примеру, выпили по стакану водки и стали закусывать луком, только Гордиенко только "пригубил" стакан, но пить почему-то не стал.

— Все наше сало пожрали в Москве Сталин та Ворошилов, — заметил как бы про себя Ермолай Фоменко.

— Та воны там, мабуть, день и ночь сало с салом едят, а у нас даже в праздник теперь одна вот цебуля с хлебом, — откусив зеленое перышко пробурчал Падалка.

— Раньше в каждой нашей казачьей хате свиное сало не выбывало, трехпудовые чучалы с кусками сала были почти у всех и ели его, сколько хотели, а теперь вот вспоминаем о сале, как о каком-то лакомстве, — сердито проговорил Василий Кунда.

— Та шо вы, станичники, все про сало, та про сало, как будто больше не о чем и говорить, — усмехнувшись сказал Петр. И правду москали говорят, шо хохлу давай только сало, та бабу и больше ему ничего не надо, но мы сегодня што-то и про баб не вспоминаем, а только бредим салом. Оно, как говорят "голодні кумі, хліб на умі", но у нас же хлеб все-таки есть и то добре. Были такие "сальные" мечтатели и в старое время. Жил один такой хохол, только из иногородних, так он часто повторял, что если бы стал царем Всероссийским, то сало с салом ел бы целый день и даже без

хлеба. Неужели вы думаете, что Сталин, Ворошилов и другие там в центре интересуются нашим салом, как сказал Ермолай? Пожалуй у них хватает продуктов и посмачнее сала и они о нем, наверняка, и не вспоминают. Окрепнем еще лучше, тогда и сало появится на наших столах, а сейчас надо сказать спасибо и за то, хоть хлеб та цебуля есть, а на работе в колхозе иногда и молочка дают попить, и борщ с курицей. А что было в тридцать третьем? Забыли?

— То правда, станышнык Петро Тарасович, стало все же лучше с харчами, а про тридцать третий год то аж страшно згадувать, — крутнув головою, сказал Падалка и опять потянулся к бутылке.

Выпив с другими еще по стакану, он повернулся к Гордиенку и с удивлением сказал:

— Я, так сказать, одного тоже не понимаю: почему Грыцько наш сидит и только глядит, как мы пьем, а сам еще и капельки не хлебнул? Шо, може наше сало не нравится? Но ты такой же станишник, как и мы!

— Не могу я пить спиртного, Софрон Капитонович, доктор совсем запретил, сердце мое не в порядке, — не поднимая на него глаз, ответил Григорий Гордиенко.

— Ну, если то правда, то шо ж, тебе виднее: пить или не пить...

После этого спели несколько казачьих песен, опорожнили до дна обе бутылки и все мирно разошлись по домам.

Прошло два или три дня после этого, как вдруг ко всем участникам празднования Первого мая во дворе Падалки, после полуночи, явились органы НКВД и арестовали Софрона Падалку, Петра Кияшко, Ермолая Фоменко и Василия Кунду, предъявив им обвинение в антисоветской злостной пропаганде против партии и правительства, и лично против Сталина и Ворошилова.

Оказалось, что Григорий Гордиенко состоял на службе НКВД секретным агентом, и сразу же донес своему тайному начальству все то, что в саду Падалки его станичники говорили в праздник Первого Мая о нехватке продуктов и что "Сталин и Ворошилов поели все ихнее сало..." Никто из станичников и не подозревал, что Гордиенко был "сексотом", так как последний был из местных зажиточных казаков, а в колхозе был простым колхозником.

При очной ставке, Гордиенко подтвердил все то, что и написал в своем доносе, да обвиняемые и не отказывались полностью, хотя до этого такому разговору не придавали никакого значения. Но то был 1937-ой год и "Ежовы рукавицы" простирались во все уголки страны, арестовывая и расправляясь со всеми хотя бы за одно неудачно сказанное слово.

И все четверо староминчан были осуждены за "антисоветскую агитацию" по статье 58-ой пункт 10 УК РСФСР, за "клевету" о нехватке продуктов в СССР. Однако сроки наказания получили все разные. Ермолай Фоменко, как лично и сердито высказавшийся против "вождя народов" Сталина, был приговорен к десяти годам заключения. Петр Кияшко и Софрон Падалка получили по пять лет, а Василий Кунда только два с половиною года, хотя "вина" его была та же самая...

— Все это ваше сало наделало, что б его век не видать, — сердито заметил Падалке Петр, когда их уводили под стражей из зала суда. Немного помолчав, он спать сказал ему:

— Софрон Капитонович! Почему вам дали в два раза больше лет заключения, чем Василию Кунда? Ведь ваша вина, как и всех нас, если вообще считать это "виной", у всех одинаковая!

— Так наверное наметили в НКВД и так решил судья, — сказал Падалка. — Раньше в тридцать третьем году, проклятый Венников всем давал по десятке, как под гребенку, а теперь для разнообразия стали давать разные сроки, чтобы придавать видимую законность судебного разбирательства.

— То, правда, теперь за колхозный колосок пшеницы уже не дают десятков лет, как раньше, — согласился Петр, — но тогда меня кара не коснулась, а теперь вот и я не избежал этой чаши страданий. Но все же вряд ли кто может считать справедливым, что вам дали в два раза больше, чем Кунде.

— Возможно это еще и потому, Петро Тарасович, — сказал болезненно улыбнувшись Падалка, — что у меня и на роду записано, чтобы всю жизнь все двоилось. Еще перед войной в тринадцатом году Варька моя двойняшек привела, овцы и коровы, почти каждый год, принесли мне по двое ягнят и по двое телят. Еще в тот год перед войной, на крестинах моих двойняшек, покойный кум, Тарас Охримович, царство ему небесное, мне гово-

рил, шо у меня всегда всё будет в два раза больше, чем у других, и хорошего и плохого. И так всю жизнь и было. Но шо б мне на старости лет дали тюрьмы в два раза больше такого же "виновника", как я, то этого уж не ожидал.

— Значит суд наш по своей "доброте" гарантировал вам еще пять лет жизни, не унывайте!

— Нет, Петро Тарасович, чувствую, что так двоиться больше не будет, это последнее двоение в моей жизни. Стар я стал, ведь я ровесник покойного Тараса Охримовича, — и Падалка грустно опустил голову.

Кассационная коллегия Краевого суда утвердила приговор Старо-Минского суда и вскоре все четверо были отправлены в пересыльную тюрьму города Новочеркаска, где через несколько дней Софрон Падалка внезапно заболел и... умер.

Кияшко, Фоменко и Кунда, с тысячами других заключенных из Новочеркасской тюрьмы, были отправлены большим эшелонном в тюремных и простых товарных вагонах на далекий север, где попали в Печорский лагерь НКВД, вскоре разделенный на два самостоятельных лагеря: Печорский и Ухто-Ижемский лагеря, в Коми А.С.С.Р.

Так Петр Кияшко вторично был насильно лишен жительства на родных привольных Кубанских степях...

ГЛАВА 6.

Школу танкистов и срок военной службы мирного времени Михаил Кияшко закончил благополучно, но демобилизован не был. Между Финляндией и Советским Союзом началась война и его сразу же направили в танковую часть действующей армии на Финляндский фронт.

Мало кто предполагал, что сопротивление финнов скажется таким ожесточенным и серьезным. И не только в боях, но и в тылу. За линией фронта на финской стороне вся местность была минирована финнами. На замаскированных минах взрывались и танки и бойцы и, казалось, в таких местах, где меньше всего можно было ожидать подобные сюрпризы врага. Серьезное положение советских войск усугубляла еще и суровая зима 1939 года. Из-за недалекости наркомата обороны зимнего обмундирования в советских войсках было не-

достаточно и некоторые войны форменным образом замерзали на передовых линиях фронта...

В боевых операциях против северо-западного соседа участвовала и танковая часть армии, с танковым экипажем Михаила Кияшко...

Однажды, после прошедшего боя, Михаил остановил свой танк, выглянул наружу и заметил, как два бойца, шагавшие по дороге впереди танка, остановились возле лежавших на снегу золотых часов. Один из бойцов протянул руку к часам и не успел танкист крикнуть на него, как оттуда раздался оглушительный взрыв и оба красноармейца были убиты на месте.

Строгий приказ красного командования: не прикасаться ни к каким предметам в прифронтовой полосе оставляемой финнами — некоторые бойцы игнорировали, за что нередко расплачивались жизнью. Не только дороги, тропинки и улицы оставляемых финнами населенных пунктов, но даже и внутри домов многие предметы были заминированны...

Однажды разведывательный взвод лыжников, а почти следом за ними и танк Михаила Кияшко, вошли в только-что оставленную финнами небольшую деревушку. Ни одной живой души в деревне заметно не было.

Остановившись, Михаил вышел из танка и с несколькими лыжниками, с большими предосторожностями начал ходить по избам, стараясь обнаружить возможно скрывшихся жителей деревни, или притаившихся финских солдат. Возле последней избы ему послышался приглушенный детский плач. Осторожно открыв дверь, он сразу же заметил в углу комнаты обыкновенную детскую люльку, в которой лежал уже охрипший от крика младенец.

Оглянув в избе обе комнаты и не обнаружив ничего подозрительного, Михаил подошел к люльке.

— Какие же сволочи твои родители, — сказал он, с жалостью глянув на ребенка, — сами убежали из хаты, а малютку оставили на произвол судьбы, — и он протянул руку к ребенку.

Только он начал приподнимать его из люльки, как оттуда вдруг раздался страшный взрыв. Воздушной волной взрыва Михаила выбросило в раскрытые двери в сенцы и он потерял сознание. Тот боец, что находился с ним возле люльки и сам ребенок были убиты...

Михаил Кияшко пришел в себя только в финском лазарете.

И только позже он узнал, что взрыв под люлькой ребенка нужен был как сигнал для притаившихся за деревней финнов. Едва услышав взрыв, большой отряд вооруженных финских лыжников вмиг окружил деревню, забрал в плен советских лыжников и двух танкистов, не успевших пустить в ход свой танк, а также и бесчувственного Михаила, и всех пленных отправили в тыл.

Несмотря на то, что Михаил был над самой минированной люлькой, каким-то чудом ранение его не было тяжелым: его только сильно ушибло при падении, когда взрывная волна отбросила его в сенцы.

За месяц своего пребывания во вражеском лазарете, он почти оправился от ушиба, разговаривал с легко ранеными финскими солдатами, тоже находившимися на излечении в том же лазарете. К его удивлению, многие финские солдаты и офицеры, особенно старшего возраста, хорошо говорили по-русски.

Однажды, после ужина и обычной поверки, Михаилу захотелось поговорить с кем-нибудь о войне вообще. Подойдя к одному легко раненному солдату старшего возраста, он сказал:

— Почему ваша армия и все солдаты так упорно сопротивляются Красной армии? Все равно вы не осилите нашу большую армию и скоро будете побеждены! За что вы так сражаетесь?

— Мы сражаемся за родину, за свою родину, — ответил гордо финский солдат, — а вот за что вы сражаетесь и гибнете, мы не знаем.

— Мы тоже сражаемся за родину, за свою советскую родину.

— Это похвально, каждый гражданин своей страны должен сражаться за свою родину, но мы сражаемся на своей земле, защищаем свою землю, а почему вы пришли на нашу родину и воюете? Ты, братишка, и сам не знаешь, что такое родина, и за что сражался, тоже не знаешь.

— Приказали идти и сражаться, вот и пошел, — сказал Михаил неуверенно, потом задумался.

"Оказывается, что финны тоже сражаются за родину, — думал он. — Что же это за магическое слово "родина", что за него все сражаются? Политрук еще в школе танкистов говорил, что "родиной" всех трудящихся

мира является Советский Союз, а теперь вот оказывается, что и у других, не советских, тоже есть родина! Свою Финляндию финны тоже называют родиной! И они сражаются за Родину! Как же это понять?..

Когда Михаил полностью выздоровел, его выписали из лазарета и перевели в лагерь советских военнопленных, где он встретил много своих однокашников...

Война с Финляндией была непродолжительной и закончилась присоединением к Советскому Союзу Выборга и всей западной Карелии, находившихся до этого в составе Финляндии...

**

Даша Княшко с нетерпением ждала весточки с Финляндского фронта от своего первенца, но вместо этого она вдруг получила известие, что танкист Михаил Княшко "пропал без вести". Горько плакала Даша, но продолжала работать по-прежнему в колхозе. Возле нее был только пятнадцатилетний сын Федя, а другие в неизвестности. Муж, милый ее Петрусь, где-то далеко в лагере НКВД, "осваивает" социалистический Север, куда попал по глупости, а сын, красный танкист, "пропал без вести".

"И что это за выражение, "пропал без вести", — думала в тревоге Даша. — Может это так только написали, а Миши и совсем уже нет?" — и она еще больше плакала.

Наталка, работавшая с нею в том же колхозе, отлично понимала ее горе, но утешать ничем не могла. Она и сама была все время в горе, двадцатый год уже ожидает возвращения своего Никифора из Югославии, но раньше хоть были от него обнадеживающие письма, а теперь и писем никаких нет. Сын ее, Григорий, жил и работал раньше в Донбассе, отбыл срок военной службы, но недавно опять был призван по частичной мобилизации Киевского военного округа. На финский фронт он не попал, а был направлен с войсками к Польской границе. После нападения Гитлера на Польшу и занятия советскими войсками Западной Украины, он был задержан там, находясь в советском гарнизоне Львова. Хотя ему шел уже тридцатый год, но он по-прежнему оставался холостяком и не хотел жениться...

Обе невестки покойного Тараса Охримовича, Даша и Наталка, после работы на ферме часто вечером выходили вместе к одиноко растущему возле фермы высоко-

му тополию, садились на мягкую траву на землю и долго душевно беседовали о своей судьбе и оплакивали тех, которые милее всех для них, но которых по злой иронии судьбы с ними нет сейчас. И будут ли когда вообще с ними, неизвестно . . .

ГЛАВА 7.

Пятилетнее заключение Петр Кияшко отбывал в Ухто-Ижемском лагере НКВД, Коми А.С.С.Р., в районе города Ухта (бывшее Чибью), мимо которого текла река с тем же названием, впадавшая в Печору.

В ОЛПе № 2 — Отделение Лагерных Пунктов № 2, — недалеко от Ухты, он работал возчиком в бригаде гужевого транспорта и на возах или санях, с упряжкой двух быков, вместе с другими заключенными вывозил из леса заготовленные бревна. Дрова от этих бревен шли для отопления барачков в зоне лагерного пункта, для кухни, а также привозились и на квартиры "вольнонаемных".

По прибытии в лагерь, он встретил там сотни своих земляков-кубанцев, попавших туда в основном за такие же "преступления", как и он. И это он считал в порядке вещей. Но его очень удивило то, что среди общей массы заключенных было очень много бывших видных деятелей Ленинской гвардии большевиков и советского правительства, старших командиров Красной армии и видных ученых. И многие из них работали по двенадцать часов в сутки, на такой же тяжелой черной работе в лесу, как и другие. Некоторые такие заключенные были членами партии большевиков еще с 1905 года и участниками Октябрьской революции 1917 года; на фронтах Гражданской войны храбро сражались против белых армий Деникина и Врангеля, или против армий Юденича, Колчака, Миллера и других, и были награждены боевыми орденами. Теперь же они попали в те же самые лагерные условия, что и Петр, как известно, в Гражданку воевавший против красных. Осуждены они были в основном при Ежове.

И хотя "сталинский нарком" Ежов вскоре тоже был осужден и ликвидирован с той же кличкой "врага народа", но им обвиненные лица из лагерей освобождены не были и приговоры их оставались в силе. И дело было не в "перегибе палки" Ежовым, ибо когда на его место был назначен земляк и друг Иосифа Джугашвили, гру-

зин Лаврентий Берия, то почти ничего не изменилось: большие партии осужденных "врагов народа" чуть не ежедневно по-прежнему прибывали в отдаленные лагеря НКВД.

Работая возчиком транспортно-гужевой бригады, Петр имел пропуск для бесконвойного хождения в районе лагерного пункта и имел возможность общаться с теми, которые хотя и были "Зе-Ка", но жили и работали не в зоне с колючей проволокой.

Вскоре Петр познакомился и подружился с одним таким заключенным работавшим и жившим за лагерной зоной, ленинградцем Александром Мироновичем Петрашко. Называл он его всегда просто "Мироныч".

— Там в Ленинграде у вас был еще один видный Мироныч, Сергей Киров, — сказал как-то Петр. — Может земляки или даже братья, бо я слышал, что Киров это его не настоящая фамилия.

— Верно, Киров это не его старая фамилия, — сказал Петрашко, — прежняя его фамилия была Костриков, но я своей никогда не менял. И не то, что братья, но мы с ним даже и не земляки. Сережа Костриков из Уржума, из Вятских лесов, почему и Вятку теперь переименовали в город Киров, а я родом из Белоруссии, но еще мальчиком убежал из Минска и больше в родной край не возвращался.

— А я где-то читал, что Киров жил и работал у нас на Кавказе?

— И это отчасти верно: Сергей Миронович был на Кавказе в период своей горячей революционной деятельности, кажется от 1910-го по 1919-й год и всегда был верным ленинцем...

Петр полностью доверял Миронычу, рассказал ему кто он и откуда, с кем в свое время воевал, за что попал в лагерь и т. д. В свою очередь и Петрашко кое-что рассказал ему о себе. Оказалось, что Петрашко стал членом Ленинской партии с 1905 года, в семнадцатом году был матросом на крейсере "Аврора", в Гражданскую войну получил два боевых ордена "Красного знамени" и т. д. Арестован был за "троцкизм" и "Особкой" был осужден на 25 лет заключения в отдаленных лагерях НКВД. "Троцкизм" же, по его словам, выражался лишь в том, что в Гражданскую войну он несколько раз встречался с Троцким и этим же Наркомвоенмором был представлен к первому боевому ордену.

Однако в Ухто-Ижемском лагере Петрашко все же повезло. Начальником ОЛПа № 2, куда его доставили после осуждения, оказался старый его друг по революционной деятельности еще в Петрограде, некто Добрыдень, который в последние годы был помощником команданта Кремля и направленный сюда, как вольный, за такую-то "изогнутую линию" партии. И Мироныча назначили заведующим мясокомбинатом лагеря в одном километре от лагерной зоны. Там убивали и разделявали доставляемый из других областей страны скот, а в другом отделении того же комбината коптили заготавливаемую местными зырянами и засаливаемую потом треску. Готовые продукты этого мясо-рыбного комбината, разумеется, абсолютно не попадали для заключенных, а шли исключительно для, так называемых, "вольнонаемных", живших в благоустроенных бараках, но в некотором отдалении от колючей проволоки. В это привилегированное число потребителей входили, конечно, и все начальство Ухто-Ижемского лагеря, чекисты, ВОХР (Военизированная охрана), и некоторые инженеры-специалисты разных отраслей, которые хотя и не числились в списке "ЗК", но были под надзором Третьего отдела и покидать пределы лагеря не имели права...

Случайно попав на такую должность в лагере, Александр Петрашко сумел пристроить у себя на комбинате нескольких "ЗК" из бывших людей интеллигентного труда, деятелей искусства, бывших военных командиров и т. д. Хотя на мясо-комбинате тоже иногда приходилось тяжело работать, но в лучших условиях, чем в других пунктах лагеря, а, главное, с питанием здесь дело обстояло гораздо лучше. Не даром была поговорка, что "своя рука владыка", а "ловить рыбку в воде и не замочиться", тоже нельзя.

Когда Петр Княшко привозил на мясо-комбинат воз дров, Петрашко всегда встречал его любезно и тайком от других обильно кормил его мясным супом или копченой рыбой-треской. Иногда он вступал с ним в откровенные беседы, зная, что "белобандит", — как он называл его в шутку, — не выдаст.

Однажды, под вечер, по установленной разнарядке, Петр привез на мясокомбинат воз дров и начал складывать их в штабель возле дверей кухни.

— А, Петр Тарасович с дровишками прибыл, хорошо, — встретил его Петрашко. — Ну, как дела, белобан-

дит? Шамать хочешь? Конечно хочешь, скорее сваливай дрова, потом зайдешь в коридор, я туда принесу тебе кастрюлю с пережаренными с картошкой мясными обрезками и хлеба. И не отнекивайся! Знаю, как вас в зоне кормят...

В другом месте и другому человеку за слово "белобандит" Петр сразу бы дал по физиономии, так как фактически бандитом он никогда не был, но теперь слыша это, он только молча усмехнулся и еще быстрее стал сгружать с воза дрова, чтобы скорее хорошо поесть. От самого утра, кроме пайки хлеба и заправленной хвоей горячей воды, он ничего еще не ел. И вечером в зоне его ожидала горячая жидкость, без всякой крупы и жиров, но официально называемая "супом", а ЗК называли это "баландой".

Сгрузив дрова, он зашел в коридорчик, где Петрашко уже стоял с приготовленной ему едой. Отойдя в угол, Петр с жадностью съел из кастрюли все мясо с картошкой и хлеб и так как до конца рабочего дня оставалось еще более получаса, он зашел в комнату Петрашко, где сидело еще несколько человек, все из "бывших".

— Знакомтесь, товарищи, этот "враг народа" не опасен, хотя когда-то и боролся против нас, — сказал Петрашко. — Это бывший белый казачий офицер, Петр Тарасович Кияшко, с привольных степей Кубанских.

— Что не опасен, то это верно вы сказали, Мироныч, — сказал Петр, здороваясь за руку со всеми, но меня сейчас заинтересовало вот что. Вот я, бывший "белобандит", как Мироныч иногда дразнит меня, в Гражданку был у Деникина и воевал против вас, и ничего нет удивительного, что теперь попал в лагерь. Но вы то ведь с оружием в руках защищали советскую власть, воевали против нас, были Ленинскими коммунистами и кровь свою проливали за коммунизм, почему же вы тоже очутились в одном лагере с "белобандитом"? За что же вы воевали в Гражданку? За то, чтобы на старости лет быть за колючей проволокой в числе заключенных уголовников?

— За что мы воевали в Гражданку мы хорошо знали, не ошибались и не раскаиваемся, но почему теперь с нами так поступили, вот этого мы то совершенно не знаем, — сказал со вздохом Петрашко. — Конечно, "лес рубят, щепки летят", но уж слишком много стало лететь невинных "щепок" из социалистического "леса".

Много, очень много натворил и творит зла людям советской России Иоанн Грозный.

— Причем тут Иоанн Грозный, живший чуть ли не четыреста лет тому назад, — возразил Петр, не поняв намека. — Мы рассуждаем о нашем времени, о первой половине двадцатого века, а не о днях давно минувшей старины.

— Эх, ты, балда, а еще был казачим офицером! Разве не слышал, кого народ в наше время так окрестил? Разве никогда не читал Пушкина, где в одном месте есть такая строчка: . . . "Тень Грозного меня усыновила, убийцею из гроба нарекла"? Не бойся моих друзей, здесь присутствующих, им уже терять больше нечего!

— Что-то похожее помнится еще в школе читал, но это, кажется, Борис Годунов так говорил о себе . . .

— И еще раз балда! Ты, конечно, не знаешь, что в наше время один советский писатель по заданию Сталина написал книгу, в которой полностью реабилитирует и даже превозносит царя Ивана Грозного, за что "вождь над вождями" очень благодарил его и хорошо наградил. О чем это говорит? За что я попал сюда, ты знаешь. Ты вот спроси моего помощника, бывшего художника Сыромятникова, за что он попал в лагерь, — и Александр Миронович кивнул в сторону высокого худощавого мужчины, прислонившегося спиной к стене и молча слушавшего разговор.

Тот немного пошевелился, хотел что-то сказать, но закашлялся и, ничего не сказав, еще больше сгорбился и продолжал молча стоять.

— Скажи, скажи, товарищ Сыромятников, не бойся! Этот простой мужик не предаст нас и никому о нашем разговоре не скажет, говори смело, не бойся.

— Что не предам и никогда никого не предавал, и никому ничего лишнего не скажу, то это верно, — спокойно сказал Петр. — Но что вы, Мироныч, назвали меня "мужиком", то это неправда. Хотя в хозяйстве отца и потом в колхозе я только и знал, что хвосты коням крутил и в земле копался, но мужиком я никогда не был, а был казаком. Мужики жили по правому течению реки Ея на Донской стороне, хотя и недалеко от нас, но и я, и отец мой, и дед — всегда были казаками-хлеборобами, а не мужиками.

— Ну, вот, уж и обиделся!

— Ничуть! Я только исправил вашу небольшую

ошибку. Так за что же все-таки попал сюда Сыромятников?

— Э, братец, страшно даже и повторять, — выправившись во весь рост, сказал бывший художник. — Но раз уж Александр Миронович хочет, чтобы я рассказал, то что ж, можно еще раз повторить. В 1935 году я жил в Москве. Однажды я пришел в государственную Третьяковскую галерею и стал возле замечательной картины Ильи Ефимовича Репина "Иоанн Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", написанную в 1885 году. На картине была так красочно изображена сцена, как Грозный, после убийства своего сына, обнимает его. И я несколько минут глядел на полотно, не отрывая глаз. Со мной рядом стал один молодой художник, из комсомольских выдвиженцев, и тоже глядел на этот шедевр Репина. Через минуту, он сказал мне:

— Правда, хорошая картина?

— Замечательная, — ответил я. — Какое высокохудожественное мастерство Репина на этом полотне!

— Несомненно! И какая трагедия изображена! Подобные сцены и в наше время могут иметь место, но некому изобразить это.

— Не знаю таких случаев, да и царей-то в наше время нет.

— Царей-то нет, но... А почему бы вам, товарищ Сыромятников, не написать другую подобную картину, но только с другими действующими лицами?

— Например? — и я подозрительно глянул на него.

Он подошел ко мне вплотную и прошептал на ухо:

— Например: "Иосиф Джугашвили убивает свою жену Надежду Аллилуеву". Замечательная бы картина получилась, ведь вы опытный портретист.

Я отшатнулся от него и строго сказал:

— Не болтай, молодой человек, контрреволюционную чушь, а то попадешь в нехорошее место, — и сейчас же ушел отсюда.

Тогда по Москве ходили слухи, что Надежда Аллилуева не умерла естественной смертью, как сообщали газеты, и не покончила самоубийством, а что Сталин собственноручно убил ее после очередной попойки со своими соратниками, когда она стала упрекать его в жестоких репрессиях против многих людей своей страны.

Был ли тот молодой художник сексотом НКВД, или, может, испугался, что я донесу на него первым, (чего

я, конечно, делать и не собирался), но через два дня после этого меня арестовали и я попал на Лубянку. Тот гадкий мальчишка секретно сообщил в НКВД, что якобы, я говорил ему, что собираюсь писать большую картину в своей мастерской, на сюжет "Джугашвили убивает свою жену Аллилуеву", то-есть повторил то, что он на ухо шептал мне в Третьяковской галерее.

У меня в мастерской было много разных портретов и фоторафий, потому что в основном я был портретист и копировщик. И среди этого лежал портрет Сталина, а рядом фотография Аллилуевой. И "вина" моя была "доказана": я собирался писать страшную и лживую картину на вождя страны. Когда я стал опровергать подобную ересь и рассказал от кого это и как вышло, мне не хотели верить, а применили Ежовы "методы допроса" и я... сознался. Ибо легче было умереть, чем быть на таких "допросах". На судебное разбирательство меня совсем и не вызывали. "Особка" заочно приговорила меня к расстрелу, как это практиковалось и с тысячами других жертв. Потом расстрел заменили мне двадцатью пятью годами заключения. Вот какие дела теперь творятся, братцы, в Белокаменной...

Некоторое время все подавленно молчали.

— Мне кажется, товарищ Сыромятников, что сюжет картины, подсказанный вам сексотом, все-таки когда-нибудь будет написан, — сказал все время молчавший, тут же присутствующий мужчина со стройной военной выправкой, но в лагерном бушлате ЗК.

— Не знаю, товарищ Кармелюк, не знаю, возможно, — не поднимая головы и как-то нехотя прошептал Сыромятников. — Если такой шедевр и появится, то только после нас, вернее после меня, ибо мне уже недолго осталось жить и мои кости тут в болоте скоро и истлеют: туберкулез у меня открылся, — и как бы в подтверждение сего, он стал сильно кашлять, задыхаясь.

С большим вниманием Петр стал глядеть в сторону Кармелюка.

— Петр Тарасович! Что ты так глядишь на этого человека? Не припомнишь, кто это? — усмехнулся Петрашко. — Это бывший комбриг Красной армии Кармелюк, которого на Белорусских маневрах сам Ворошилов усердно хвалил и расцеловал при всех. Об этом печаталось в свое время во всех газетах. Разве не читал?

— Как же не читал? Помню, что-то об этом было в

нашей Ростовской "Колхозной правде", заменившей "Советский пахарь", — сказал Петр, продолжая почти-тельно глядеть на бывшего комбрига Кармелюка. — Я только сегодня перед вечером, когда вез сюда дрова, пел песню про Кармелюка:

"За Сібіром сонцэ сходэ, хлопці нэ зівайтэ, и на мэнэ Кармелюка всю надію майтэ", — и он спел один куплет.

— То был, пожалуй, другой Кармелюк, — улыбнулся бывший комбриг. — Бо я при крепостном праве, при панщине еще не жил, но песню эту знаю, бо сам я с Украины.

— Не удивляйся, казаке Кияшко, тут ты кого-только не встретишь, — Петрашко похлопал Петра по плечу. — Вот видишь, тут с нами сидит еще один молчаливый человек, — и он указал на старенького небольшого роста мужчину, тупо и молча слядевшего себе под ноги. — Это бывший заместитель наркома Земледелия СССР, профессор Земский. Наркома совсем ликвидировали еще в тридцать восьмом году, а заместителей и весь его наркомат запрятали в лагеря. В нашем лагере находится в заточении Косарева, жена генерального секретаря Комсомола. Недалеко от нас, где-то около Сыктывкара обретается в ссылке знаменитый поэт Демьян Бедный, и в нашем ОЛПе, на опытном поле прозябает профессор Оболенский, и много, много других. Так-то, орел земли Кубанской. И ты не забыл, что тебе с быками надо уже возвращаться?

— Конечно пора, еще начнут розыск, — спохватился Петр забыв, что уже давно надо сдавать быков на конюшню, а самому возвращаться в зону. — Спасибо, Мироньч, за все, за все. До свидания, друзья по-несчастью! — и он поспешно вышел из комнаты.

С тяжелым чувством от всего услышанного возвращался Петр к зоне лагеря. Подъехав к конюшне, он сдал быков "бугаятнику", как называли того, кто кормил волков и пошел в зону. Никаких придинок, к счастью, за споздание не было в проходной будке и он благополучно вернулся в свой барак. Хотя "супа" на ужин ему уже и не осталось, но он и не нуждался после обильного угощения Мироньча...

ГЛАВА 8.

Через несколько дней после беседы с Петрашко и его друзьями, доставив вечером воз дров на квартиру уполномоченного опер-чеккистского отдела лагеря, Петр Кияшко сразу же направился в зону своего лагерного пункта.

В зоне к нему подошел лагерный почтальон и вручил письмо от Даши.

Петр с радостью схватил конверт и тут же стал читать. Даша писала, что получила из военкомата известие, что сын их Михаил на Финляндском фронте "пропал без вести", хотя такое известие она получила уже после окончания войны с Финляндией. Дальше она сообщила, что другой их сын Федя учится хорошо, закончил семилетку и теперь уже в восьмом классе десятилетки. Просила беречь свое здоровье и всегда помнить, что она день и ночь плачет от такой жестокой судьбы, обрушившейся на них...

Несколько раз Петр перечитал милые строчки от жены с родимого края, сильно занервничал, хотел закурить, но в кармане не оказалось и крупинки махорки. Он взял в бараке свой котелок, получил на кухне свою порцию супа, тут же отдал его другому возчику за цыгарку махорки и с наслаждением закурил.

В лагерной зоне кухня была недалеко от проходных ворот и Петр, не спешивший уходить в барак, увидел в воротах входивших в зону в две шеренги сотни две молодых заключенных. Стоявшие в воротах с обеих сторон "вохровцы" производили поверхностный обыск и потом по десятку вели их в назначенный для них барак. На многих "новичках" были серые армейские шинели или красноармейские старые фуфайки.

— Откуда, ребята, приехали? — не удержавшись, спросил Петр проходивших мимо него заключенных. — И все такие молодые, как на подбор! Из какого края или области?

— Много знать будешь, дядя, скоро состаришься, — сердито ответил один из них и вся группа молча прошла за барачным комендантом.

Петр махнул безразлично рукой и пошел было в свой барак, но потом опять вернулся в воротах...

Подняв голову и заглядевшись на смену часовых на угловой вышке зоны позади забора с колючей прово-

локой, Петр подошел почти вплотную к проходу в зону и загородил собой дорогу отходившим от ворот новичкам.

— Посторонись старик, отойди в сторону! — буркнул ему зацепившись рукавом своей фуфайки за толстый бушлат "старого лагерника". — Не видал раньше никогда, как сменяются на вышках "попки"? Стань в сторону и гляди потом, зева...

Петр быстро повернулся к говорившему и последний запнулся.

— Что я вижу! Миш-ша! И ты с ними сюда же попал?

— Батя! — и недавно сердито говоривший новичок в фуфайке, повис на шее "старого лагерника" в бушлате. — Батя, вы..., — и он целовал его в заросшее волосами лицо и не сдерживал слез.

— Боже мой, вот так встреча! Мишенька, родненький, да каким же ты образом тоже очутился здесь? — прижимая к себе сына и с трудом веря своим глазам говорил Петр. — Только сегодня я получил письмо из Староминской от твоей мамы, что ты "пропал без вести", а ты вот...

— Все мы, которых здесь видите, "пропали без вести", — усмехнулся сквозь невысохшие слезы Михаил.

— Но ты же был танкистом на Финляндском фронте, война там давно закончена, почему же тебя пригнали в лагерь?

— Потому и пригнали, что был на Финляндском фронте...

— Вот видишь, товарищ лейтенант Кияшко, ты и приехал домой, — сказал рядом остановившийся другой новичок в армейской шинели. — Встретил отца, чего еще тебе нужно?

— Давайте, проходите, не задерживайте остальных, — крикнул помощник коменданта, разводивший новоприбывших по баракам. — Позже поговорите...

— Подождите, батя, подождите, где-нибудь здесь недалеко! Я сейчас вернусь сюда и тогда лучше поговорим, — и молодой Кияшко пошел с группой новичков в предназначенный им барак.

Петр остался на месте и в сильном возбуждении стал ходить вблизи проходных ворот по зоне, с трудом веря непредвиденной встрече, и все время поглядывая на барак, куда пошла последняя группа "новобранцев".

Наконец, Миша вышел из этого барака и подошел к отцу.

— Мне как-то не верится, батя, что я тут встретился с вами, — сказал он полушопотом. — Я узнал, что вы осуждены, но никому в армии не говорил, иначе меня выгнали бы еще из школы танкистов.

— Это правильно сделал, сынок, что не распространялся про меня среди своих начальников, — сказал Петр, — но почему же тебя осудили и за что?

— А это Аллах их знает, вернее и Аллах, пожалуй, не знает. Да нас, собственно и не судили. Коротко так: я попал в плен раненым и очутился в финском лазарете, потом по выздоровлении меня переотправили в лагерь военнопленных красноармейцев. Война кончилась, нас всех освободили и направили на Родину. Но едва мы перешагнули Финляндско-советскую границу, как всех нас, кто был со мной в финском лагере задержали войска НКВД и под усиленной охраной направили в лагерь заключенных. Вот и всё. В нашей группе вначале было больше тысячи бывших бойцов и командиров Красной армии, но в большом лагере Котласа половину оставили, а остальных отправили в лагерь Княж-Погоста, где тоже многих оставили. Так что сюда к вам прибыло человек двести, не больше. Неприятное впечатление было у всех, когда еще по дороге к Котласу и на всем протяжении путешествия сюда до Ухты, по обеим сторонам от железной дороги мы видели непрерывные вышки с часовыми и лагеря с многочисленными бараками, окруженные колючей проволокой.

— Это я видел, когда ехал сюда, но тогда мы больше шли пешком, так как железная дорога до Ухты закончена только недавно.

— Да, батя, — продолжал Михаил, — перед отправкой в лагерь от каждого из нас взяли секретную подписку, строго предупредив, чтобы все и обо всем, что мы видели и слышали на территории Финляндии, чтобы никому и слова не говорили, иначе будут считать это как "государственная измена". И вы, батя, никому ни слова не говорите о том, что я вам сейчас рассказал.

— Но ваш же лагерь военнопленных был в Финляндии, вероятно, не один. Куда же тех девали по возвращении на родину?

— Не знаю, батя, абсолютно не знаю. Конечно, лагерей военнопленных было там несколько. Говорят в пле-

ну было около сорока тысяч наших бойцов и командиров, но где они теперь, неизвестно. Возможно, тоже отосланы в другие лагеря, а может и нет. Слышно было, между нами говоря, что так приказал сам "отец народов"...

— Тсс, ради Бога не упоминай этого имени, бо и здесь, среди заключенных есть сексоты.

— Знаю, они везде есть. Но наш народ не понимает того, что еще с 1939 года Сталин и Гитлер вдруг стали закадычными друзьями. Сам недавно читал в "Известиях", как Гитлер высокопарно поздравлял нашего вождя с 60-летием, а Сталин так же любезно отвечал ему, повторив еще раз, что "наша дружба, кровью скрепленная, будет расти и развиваться".

— Не читал этого, но какой же кровью скреплена эта дружба?

— Как же! А в Польше разве мало было крови? Разве не вместе с немцами наши войска напали и оккупировали Польшу? И еще: когда гитлеровцы в Польше стали очень преследовать евреев, то Сталин якобы взял их под свое покровительство и разрешил всем евреям переселяться в СССР. Многие евреи обрадовались и пожелали уехать от немцев, но едва они оказались на советской стороне, как их всех арестовали и без суда и следствия направили в лагеря. Разве в вашей зоне лагеря нет польских евреев?

— Как же нет! Полно! С прошлого года нагнали сюда не только польских евреев, но и живших там на Западной Украине и Белоруссии украинцев, белоруссов и других. "Пшехов", так мы называем поляков, теперь у нас полно. Но откуда ты все это знаешь про польских евреев? Ведь ты же был в армии, в плену, потом изолирован в лагере, а газеты про это ничего не писали.

— Земля слухом полнится, батя, — оглянувшись в стороны сказал бывший лейтенант-танкист, — да мы и сами уже видели польских евреев в двух лагерях, пока сюда добрались, — и понизив до шопота голос, он продолжал:

— Мы знаем много еще такого, что даже отцу родному об этом говорить страшно. Мы знаем, и весь советский народ и весь мир это чувствует, что Гитлер готовит нападение на Советский Союз, но "отец народов" "мудрец над мудрецами" и слышать про это не хочет и все это называет ложью, враждебным вымыслом. Мало

того, если кто нечаянно вслух заикается о непрочности Сталинско-Гитлеровской дружбы, тех арестовывают и сажают на десять лет, как за злостную контрреволюционную агитацию. Знаете ли вы это?

— Знаю, — так же шопотом сказал Петр, — в моем бараке находится два таких осужденных: один на пять, а другой на десять лет за то, что высказали недоверие к дружбе с Гитлером: один врач из Баку, другой учитель из Ростова...

— Вот, вот! И еще я уверен: что то, что было в Финляндии, когда по официальным сообщениям советской печати наша армия потеряла 149 тысяч убитыми и 200 тысяч ранеными, это были только "цветики", а "ягодки", настоящие ягодки еще впереди. Эти "ягодки" будут в ближайшей войне с фашистской Германией. Тогда, наверняка, вспомнят и про нас, но второй раз плохими мы будем вояками... Ну, батя, прощайте! Завтра встретимся еще, а сейчас надо разойтись, а то еще обратят внимание на нашу длинную беседу, и тогда... знаете. И... молчок!

— Иди, сынок, иди в свой барак, — согласился Петр. — Не забудь, что я нахожусь в девятом бараке, а про наш разговор не беспокойся: я даже не скажу своим сожителям по бараку, кто ты доводишься мне...

Постояв еще немного на месте и посмотрев на тот барак, в который зашел его сын, Петр медленно пошел в свое барачное жилье, с трудом разбираясь в том, что ему говорил сейчас Михаил.

"Надо завтра же коротко сообщить бедной Даше в Старо-Минскую, что Миша жив и здоров и что я достоверно знаю об этом, — подумал Петр шагая к своему бараку. — Подробно, и даже то, что он в лагере заключенных, писать не следует: и лишние тревоги бедной маме, да и цензура лагерная, пожалуй, такое письмо не пропустит. Жив и все! Вот скоро закончу срок, вернусь в станицу и тогда могу все ей подробно рассказать...

Прежде чем залезть на верхние нары, Петр веником стал сметать тысячи клопов, темневших на сером полотняном, набитом стружками, матрасе, этих дополнительных мучителей всех лагерников, потом лег, но заснуть смог только перед рассветом.....

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ГЛАВА 1.

Вечером 22 июня 1941 года почти во всех пунктах Ухто-Ижемского лагеря многие уже знали, что Германия объявила войну Советскому Союзу.

Тысячи польских евреев, очутившихся в лагерях благодаря сталинскому "покровительству гонимых", совсем пали духом.

— Мы надеялись спастись от гитлеризма в вашей стране, пусть даже временно и на положении заключенных в лагере, но теперь фашизм протянул свои когти и на Россию и мы вряд ли спасемся и здесь, — уныло говорили польские евреи.

Правда, такой упадок духа был в основном у лиц еврейского происхождения, что же касается многолетних советских заключенных, то многие относились к этому почти безразлично, а были и такие, которые радовались началу войны:

— Только начавшаяся война, возможно, освободит нас от долголетнего пребывания за колючей проволокой, — втихомолку и не при всех, говорили некоторые долголетние заключенные, — а кто идет войной и что потом будет, нам безразлично...

Такие настроения были в основном у некоторых политических заключенных. Что же касается так называемых "бытовиков", то-есть лиц осужденных за воровство, убийства, растраты, халатность и тому подобное, то настроения были совсем другие. Большинство их было осуждено справедливо и эти лица знали, что при любом социальном строе за такие преступления по головке не гладят. Общеизвестно, что из некоторых бывших в заключении воров-рецидивистов и других "бытовиков", были сформированы отдельные воинские части и они храбро и честно сражались на фронте против немцев.

Настроение политзаключенных и их семей понятно: перед началом войны при "отце народов" в Совет-

ском Союзе было такое число политзаключенных в лагерях НКВД, какого никогда не было во всей истории Российского государства при всех его системах. За границей это число определялось в восемнадцать миллионов! Насколько это точно, автор судить не собирается, но знает, что были сотни лагерей с десятками тысяч заключенных, осужденных по разным статьям УК. Плюс к этому, нельзя забывать и того, что больше половины высшего командного состава армии перед началом войны было физически ликвидировано. И вот при таком внутреннем положении, диктатор страны Джугашвили Сталин собирался бить врага на его территории...

Через несколько дней после начала войны с Германией, Ухтинский военкомат вызвал всех прибывших в лагерь с Финляндского плена, в том числе и Михаила Кияшко. В военкомате торжественно объявили об их "освобождении" из лагеря заключенных и направили в действующую армию на Западный фронт, дав им перед этим один день отдыха...

В последний час перед отправлением из зоны лагеря, Михаил еще раз наедине встретился с отцом, при прощании успев тихонько сказать:

— Пусть не очень на нас надеются; мы им навоюем! Видите вон, что понамалевано над входными воротами, на бараках и повсюду: "За Родину, за Сталина!" Не лозунг, а насмешка, вроде того, как было в царское время! "За Веру, Царя и Отечество!" За Родину, не зирая ни на что, я готов и теперь воевать, но за Сталина — никогда!

— Осторожно, сынок, с такими словами, — сказал Петр Тарасович, — а то война теперь и законы военного времени: подслушает кто, донесет и сразу же могут шлепнуть. Нам всем тяжело пришлось при Сталине, но кто знает, что несет нашей стране Гитлер? Хрен редьки не слаще. Теперь мы вот, хотя и в лагере заключенных, но все же среди своих людей, с нашей понятной речью, а если придут чужие завоеватели, да еще фашисты, то кто знает: боюсь, как бы еще похуже не было. На фронте не думай о жестокостях и ошибках правителей, а думай о своей Родине. Особенное геройство в боях не проявляй, но не будь и трусом, дезертиром или предателем: это тоже нехорошо. Держись лучше золотой середины: в хвосте не оставайся и вперед не выскакивай без надобности. Береги свою жизнь, но не ценой пре-

дательства или позорного бегства от врага. Я верю, что после этой войны, как бы она ни кончилась, но жить станет лучше. Через год я кончаю срок, может тоже и меня отправят на фронт, а не на Кубань? Все может быть. Такова наша эпоха. Но... за свою Родину надо сражаться, а внутренние дела страны, по внутреннему и будут разрешены.

— Ну, иди, сынок, и храни тебя Бог, — и Петр крепко поцеловал его и трижды перекрестил, чего раньше никогда не делал, так как был почти неверующим.

И они расстались. Миша еще раз грустно посмотрел отцу в глаза и поспешил на грузовик, который отвозил мобилизованных на станцию железной дороги, где они грузились в вагоны воинского эшелона. И хотя им в военкомате объявили, что они "свободные воины Красной армии", но каждый вагон и на станции, и в дороге был под строгой охраной войск НКВД.

Долго стоял Петр и печально глядел вслед ушедшему с его сыном грузовику и на душе стало еще тяжелее и тревожнее. И они расстались навсегда.

Через несколько месяцев, в тяжелых боях под Смоленском, лейтенант-танкист Михаил Петрович Кияшко "пал смертью храбрых". Такое извещение немного позже Петр получил из штаба армии. И это было правдой...

ГЛАВА 2.

Весной 1942 года Петр Кияшко закончил срок заключения, но его не освобождали. На его заявление об освобождении, как отбывшего срок заключения, Второй отдел лагеря ответил: "До конца войны освободить нельзя..."

Но через два месяца после такого ответа, всех "малосрочных" заключенных (ниже десяти лет заключения) и закончивших свои сроки, формально освободили, но в личных документах об освобождении указывалось: "До окончания войны из пределов Ухто-Ижемского лагеря НКВД выезжать воспрещается..."

Таким образом "освобожденные" продолжали оставаться в лагере на той же работе, что и прежде, с той лишь разницей, что поместили их в других бараках за колючей изгородью охраняемой зоны. На работу они стали ходить без вохровских стрелков, не шли с котел-

ком за "баландой" к лагерной кухне, а питались в столовой "вольнонаемных" за наличный расчет и жалованье свое получали на руки...

Однако такое положение продолжалось недолго. Через месяц после такого формального освобождения, еще не очень старых и физически здоровых сотни две бывших ЗК, в том числе и Петра Кияшко, вызвал военкомат Ухты, выдал всем военные билеты и через день всех их уже грузили в товарные вагоны воинского эшелона на станции Ухта (бывшее Чибью). Хотя они считались "вольными", но к каждому вагону были приставлены по три стрелка из войск НКВД, которые бдительно наблюдали за "вольными" всю дорогу...

От Ухты до Княж-Погоста, до самого Котласа и еще дальше, по обеим сторонам направо и налево от железной дороги виднелись сплошные лагеря НКВД, с многочисленными бараками, огороженными высокими заборами с колючей проволокой и с часовыми на высоких вышках по углам.

И только через сотню километров от Котласа, когда поезд пошел дальше на запад, Петр и его спутники облегченно вздохнули, радуясь, что наконец-то, хоть частично, скрылись с глаз страшные колючие проволоки лагерных зон, где в многочисленных, деревянных и холодных бараках кормили вшей и клопов миллионы страждущих полуголодных узников страшной эпохи сталинского деспотизма...

Призванные в Ухте, и теперь ехавшие на фронт, знали, что попадают "из огня, да в полымя", но о том, "что день грядущий им готовит" не хотели думать. Все были рады, что, наконец, избавились от клейма "ЗК" и окриков лагерной охраны.

Прибывших в город Вологду "ухтинцев", после зачисления в военные казармы, всех постригли "под машинку", выдали военное обмундирование, вместо военных билетов вручили красноармейские книжки и зачислили в маршевые роты 29-ой Стрелковой бригады. Несколько дней потом обучали обращению с огнестрельным оружием и политграмоте на учебных плацах и в казармах. После этого однажды ночью, после полуночи, в пять минут подняли всех "новобранцев" собравшихся в казармах Вологды, построили в шесть маршевых рот, тихо провели по затемненному и безмолвному городу, на запасных путях за вокзалом погрузили в вагоны во-

инских эшелонов и, без свистка паровоза, поезд помчался по засекреченной железной дороге в сторону фронта.

Петру Кияшко воевать не надо привыкать: он участвовал уже в двух войнах. И отправку из Вологды он встретил почти хладнокровно, считая предстоящие бои с немцами, как продолжение своей старой профессии. Да и волноваться было не к чему. В конце 1942 года вся Кубань была занята немцами, поэтому о возвращении к своей семье после отбытия срока заключения теперь не могло быть и речи.

Но воевать Петру пришлось недолго. Через несколько дней после прибытия на передовую линию Волховского фронта, в бою под деревней Синявино, со всей его поредевшей ротой, он попал в плен к немцам.

Вначале их поместили в большом сарае возле станции Мга, но когда пленных собралось большое число, их всех перевезли на грузовиках в другой, немного отдаленный от фронта лагерь Ушаково, возле Октябрьской (бывшей Николаевской) железной дороги. Через несколько месяцев военнопленных из Ушаково пешим порядком перегнали в Псков.

Все "прелести" прозябания советских военнопленных в немецких лагерях, голод, палкование, как эсэсовцами так и своими старшинами, Петр полностью испытал на себе, и только железный организм и казачья выносливость не дали ему погибнуть, как погибли тысячи и миллионы его однокашников.*)

В лагерь военнопленных в Пскове несколько раз приезжали вербовщики от бывшего советского генерала Андрея Власова, попавшего в плен на Волховском фронте, а потом ставшего на антисоветскую платформу на стороне немцев. Так называемые Власовские уполномоченные формировали воинские части из советских военнопленных, для борьбы против Советской армии, но охотников среди умиравших от голода и побоев военнопленных находилось мало, хотя им и сулили хороший немецкий паек и прочее.

Но вот в лагерь Пскова приехали и другие вербов-

*) О пребывании советских военнопленных в гитлеровских лагерях написано уже много книг и рассказов, и автор повторяться не желает.

щики — казаки. Они привезли с собой и прокламацию Германского правительства, в которой указывалось на немедленное освобождение из лагерей военнопленных всех казаков. Вербовщики объявляли о формировании добровольческих казачьих частей, для службы на стороне немцев.

Внимательно слушал Петр речи своих братьев-казачков, читал по-русски прокламацию немецкого командования и долго не знал, как быть. Служить под эгидой гитлеровцев ему до смерти не хотелось, но хотелось жить, как и каждому. Если же еще и дальше будет оставаться в лагере военнопленных, то его хотя и здоровый, но уже немолодой организм не выдержит: он погибнет от голода и побоев, как и погибли уже миллионы таких же, и он не увидит никогда ни семьи, ни родного края. В конце концов он поверил обещаниям казачьих пропагандистов, согласился с некоторыми их практическими доводами и подписал соответствующую анкету. Вместе с несколькими казаками он был освобожден из лагеря военнопленных и был направлен в город Барановичи, в Западной Белоруссии, где тогда находился штаб походного казачьего атамана, полковника Павлова.

В Барановичах и в районе Новогрудок Петр, к своему удивлению, встретил тысячи гражданских беженцев с Кубани, после поражения Шестой немецкой армии Паулюса под Сталинградом. Людей вольно и невольно отступивших вместе с немцами с Северного Кавказа и, после странствований по Украине, очутившихся в Западной Белоруссии. Только одних своих станичников, эвакуировавшихся на подводах через Таганрог, в том числе и нескольких женщин, он встретил более полсотни. Среди командного состава казаков он встретил и несколько старых офицеров, с которыми служил он еще на Кавказском фронте и в Белой армии, но которые в Советском Союзе скрывали свои офицерские чины и только теперь открыто показали себя теми, кем они были на самом деле.

Но всеми беженцами с Северного Кавказа и новоиспеченными казачьими воинскими подразделениями руководили немцы.

Нечего и говорить, что Петра Кияшко в Казачьем стане Павлова приняли с полным доверием и вскоре он

был назначен помощником командира Кубанской казачьей охранной сотни.

Открылась новая страница в истории кубанца Петра Тарасовича Кияшко . . .

ГЛАВА 3.

Северо-восточную часть Кубанского Края немецкие и румынские войска заняли летом 1942 года. Немного задержались на Кушевском направлении; вскоре, почти без сопротивления, были заняты этими войсками Армавир, Краснодар и другие части центральной Кубани. И только на Туапсинском направлении немцы встретили серьезное и упорное сопротивление и дальше не продвинулись.

Не мешает заметить, что в казачьих областях немецкие оккупанты относились к местному населению более благосклонно и редко производили тот произвол и насилие, которые творили в других, оккупированных ими частях Советского Союза. В некоторых станицах старые казаки встречали немецкие войска традиционным "хлебом-солью" и всячески помогали им в борьбе с дьявольскими советской власти людьми.

В станицах Кубани стали вводиться старые дореволюционные порядки. Вместо станичных и районных исполкомов, были избраны (вернее, назначены немцами) атаманы станиц; вместо милиции, из местных антисоветски настроенных казаков и дезертиров Красной армии была сформирована полиция, под возглавлением немецкого Гестапо. Был оформлен и утвержден "показательный" Уманский отдел, атаманом которого стал староминчанин вахмистр Трофим И. Г.*)

Конфискованные у зажиточных казаков (кулаков) и купцов при сплошной коллективизации дома и другая недвижимая собственность, стали возвращаться прежним их владельцам, если таковые вдруг появлялись в станице и заявляли свои права на отобранную раньше собственность.

*) Ейский отдел на Кубани (или округ на Дону и уезд в России) существовал еще до 1917 года. Хотя управление отдела находилось в основном в станице Уманской, но он назывался Ейским. В его подчинение входило больше двадцати станиц и хуторов.

Ф. К.

Однако не все, даже обиженные советской властью казаки, радовались старым порядкам, вводимым реставраторами и немцами. Более дальноркие сомневались в постоянстве вводимых старых порядков, не верили в непобедимость Германской армии и хотя редко выступали против, но чаще благоразумно соблюдали свой нейтралитет...

Немцы и румыны недолго продержались на Северном Кавказе. После разгрома 6-ой немецкой армии под Сталинградом, немецкие войска в январе 1943 года поспешно стали отступать с Кубани, поддерживая и поощряя уходивших с ними казаков и их семьи. Много оказалось таких кубанцев и горцев, которые без особого насилия со стороны немцев, почти добровольно уходили с ними, боясь расправы соответствующих органов советской власти за сотрудничество с врагом.

Немцы, и особенно румыны, отступали почти хаотически и только создав предместное укрепление между станицей Крымской и Новороссийском, они некоторое время упорно сопротивлялись.

Командующий Германской армией на Южном фронте генерал фон-Клейст энергично содействовал эвакуации тех, кому грозило возмездие от большевиков за службу врагу. Он хвастливо заверял всех, что они отступают временно, через "месяц-два вернутся на Кубань с победой", используя новое оружие, которым "непобедимая Великогермания" покорит всю советскую Россию и все отступавшие теперь с ними казаки и их семьи благополучно вернутся в свои родные станицы. Были сомневающиеся, были и верившие в слова фон-Клейста. И волна эвакуации охватила многие станицы и города Северного Кавказа.

От Моздока и до Ейска, от верховьев Дона и Хопра, от Терека, Дона и Кубани и горских областей, вольно и невольно эвакуировались тогда вместе с немцами около ста тысяч человек, иногда со своими семьями...

29 января 1943 года, около семидесяти подвод с одной лишь станицы Старо-Минской с казаками и частично с их семьями, покинули родной край и двинулись в неизвестность. Эвакуировались почти все те, которые сотрудничали с немцами: полиция с начальником Кривленко во главе, атаман станицы Федор Костенко, не захотевший почему-то взять с собой на подводу свою

плачущую жену Самойловну, следовательно при немцах тоже по имени Федор Костенко и другие, подобные им.

Одним из командиров группы эвакуировавшихся из Старо-Минской был Григорий Никифорович Кияшко. Перед началом войны он был красноармейцем в гарнизоне города Львова, на Западной Украине и буквально за несколько дней до войны его с десятком других направили на краткосрочные курсы младших командиров в Киев, которые ему не суждено было закончить.

Участвуя в боевой операции под Киевом, он был легко ранен, но из строя не ушел и все время с боями отступал вместе с Советской армией. И только на Кушевском направлении, летом 1942 года, он попал в плен к немцам. Тогда была уже опубликована немецкая прокламация об освобождении казаков из лагерей военнопленных. Удостоверившись, что Григорий Кияшко казак, и что его станица находится всего лишь в сорока пяти километрах от Кушевки, немцы освободили его из лагеря военнопленных и отпустили домой. И он вскоре прибыл в родную Старо-Минскую, к великой радости Наталки, его матери.

Свое освобождение из плена Григорий принял, как "благородный" жест немцев относящийся ко всем казакам, и помня, что его отец находится за границей, как белый офицер, он стал активно сотрудничать с немцами. Хотя он вскоре и разочаровался в некоторых поступках немцев, но изменить свое отношение к ним он уже не мог. Зная, что оставаться в станице после их отступления ему было опасно, он вынужден был эвакуироваться вместе с другими казаками. Но ни его мать, Наталка Кияшко, ни Даша Кияшко с сыном Федей эвакуироваться никуда не захотели. И несмотря на запугивания и даже угрозы убежавших коллаборационистов, они остались на месте в своей станице...

Подводы староминчан двигались и по суше до Ейска и Азова, и по льду Азовского моря на Бердянск и Таганрог, шли на Украину до самого Херсона и только в селе Музыковка оставались на более продолжительное время.

Возле Музыковки и Херсона собрались эвакуированные казаки и из других станиц Кубани, и там из боевых казаков была сформирована казачья сотня, получив полное вооружение от немцев. Вскоре эта сотня участвовала в боях против советских войск на реке

Миус, за что казаки получили от немцев похвальный отзыв.

После боевых операций у реки Миус, в день Пасхи 1943 года, в том же районе Херсона было положено начало формирования антисоветских казачьих полков, под общим возглавлением немецкого командования...

Чтобы более детально нарисовать картину эвакуации казаков с Кубани и начало формирования казачьих полков на Украине, ниже приводится сокращенный текст дневника атамана Уманского отдела на Кубани при немцах, оригинал которого находится у автора...

ГЛАВА 4.

"...На 21 января 1943 года, фельдкомендатурой № 810 в ст. Уманской было создано совещание районных атаманов, начальников полиции и агрономов от Уманского, Старо-Минского, Ново-Минского, Каневского, Крыловского и Павловского районов. Совещание началось в 10 часов утра.

Фельд-комендант полковник фон-Келлер объявил, что положение на фронте заставляет нас эвакуировать часть Кубани и в сферу эвакуации попадает весь Уманский отдел полностью...

Эвакуация гражданского населения со станций Уманского отдела намечалась через Азовское море на Таганрог и его окрестности. Полиция и казаки-добровольцы должны собираться на сборный пункт в станицу Каневскую. Туда сразу же переехали из Уманской фельдкомендатура и Гестапо.

В Каневскую прибыл и генерал фон-Клейст...

Я выехал из Уманской в Старо-Минскую в 12 часов ночи. В станичном правлении, дав указания по эвакуации, я в тот же день выехал в Ново-Минскую. Со мной был и мой второй заместитель есаул Л. Ф. Митла.

Переночевав в Ново-Минской у районного атамана Р. Г. Андрос, я с есаулом Митла отправился в Каневскую, дав атаману Андрос указание, чтобы при эвакуации на все подводы попадали местные казаки, под ответственность которых и предоставлялись подводы. Такое указание было вызвано тем, что бывший начальник Ново-Минской полиции Чернега, взяв себе подводу, нагрузил ее продуктами и посадив спекулянтов, ничем не

связанных со станицей, уехал в неизвестном направлении...

В Каневской мы нашли уже только полицию, с ее начальником есаулом Гречаным. Атаман Черныш с управлением района уже эвакуировался в направлении станицы Роговской, не выполнив инструкции: "Атаманам и полиции выезжать последними"...

Саломаха был назначен Походным атаманом не только Уманского отдела, но и всех Кубанских казаков... Положение на фронте заставило нас эвакуироваться из Каневской немедленно, чтобы не быть отрезанными у Кагальника и Азова...

29 января, в 7 часов утра, из станицы Каневской выехала на автомашинах фельдкомендатура, с которой уехал и я. Путь наш лежал через Ново-Минскую, Старо-Минскую, Азов и Таганрог. Начиная от Старо-Минской и дальше все грунтовые дороги были заняты отступавшими румынскими частями. Шел мокрый снег. В Старо-Минской 29 января не было уже никого из администрации. Полное безвластие. Мы проехали Старо-Минскую не останавливаясь и к вечеру прибыли в Азов, где и заночевали...

30 января утром мы переезжали через Азовское море. Был сильный мороз, который хорошо скрепил лед и мы к вечеру благополучно прибыли в Таганрог. Там я узнал, что бывшему атаману в Старо-Минской еще до 1914 года, Емельяну Ивановичу Усу, бомбежкой оторвало ногу... 2 февраля на тех же машинах я выехал с коммендатурой в направлении Таганрог-Запорожье.

В Таганроге и на всей Украине я замечал, что среди местного населения есть много сочувствующих большевикам. В Бердянске это характеризовалось отчасти тем, что многие охотно обменивали немецкие марки на советские денежные знаки...

10 февраля на станции Семеновка я узнал, что сбор кубанцев назначен в г. Бердянске, где остановился и генерал фон-Клейст. 11 февраля поездом я один отправился в Бердянск.

12 февраля в село Новоспасовское (под Бердянском) прибыл и В. С. Саломаха с адъютантом Павлоградским и с ними 60 казаков и обоз. Там же, в Новоспасовском, и начал формироваться 1-й Кубанский полк, в котором сразу же стало 800 казаков. Но много эваку-

ированных казаков направлялось также в Запорожье, Кривой Рог и дальше за Днепр.

Вскоре из Херсона прибыл и 2-й пеший Кубанский полк, который к 15 марта насчитывал уже более тысячи казаков. Командиром полка был Маловык, помощником есаул Тюхин. Полк временно расквартировался в тех же селах, что и 1-й Кубанский полк... Уполномоченным от Кубанских казаков был назначен есаул Тарасенко, которому было поручено объединить всех эвакуированных с нашей старой эмиграцией...“

Атаман Уманского Показательного отдела, Т.И.Г..

ГЛАВА 5.

По дорогам Украины двигались разнорасовые подводы казаков и не казаков, вольных и невольных беженцев, шли и ехали на запад и юго-запад, не имея представления — куда и зачем.

При эвакуации с Северного Кавказа лошади и подводы забирались в колхозах, записывались на имена уходивших из станиц и самовольно потом считались их собственностью.

Лошади с подводами — бричками, дрожками и другими повозками — пришлись не всем одинаковые. Кто не надеялся на начальство, а сам обманным путем или насильем постарался, тот имел хороших коней и приличный гужевой транспорт...

Бывшие "шабаи" (барышники-перекупщики лошадей) Хомяк и Штепенко, раньше неоднократно сидевшие в тюрьмах за перепродажу краденых лошадей, ехали на новой бричке, имея в запряжке тройку хороших коней. Другие, как например староминчанин Корж и Косогон, дрожки имели неплохие, но тащили их две старые клячи, которые вот-вот откажутся служить. Следом за ними ехал на бричке с парой хороших коней маленького роста староминчанин Федор Костенко, бывший милиционером еще до тридцатого года, а при немцах следователем по уголовным делам...

Со дня оставления территории Кубанского края, все эвакуированные сопровождали свои будни почти ежедневным поголовным пьянством, благо самогонку тогда можно было достать на Украине в каждом селе. Некоторые занимались даже грабежами местного населе-

ния, но делали это умело и никогда не попадались...

Однажды, при очередной пьянке с близкими станичниками, Косогон и Корж одну свою клячу променяли на самогонку и целый день веселились. Но протрезвившись увидели, что другая их лошадка не может одна тянуть их двуконную повозку. Тогда они променяли свою повозку на одноконную, небольшую и легкую повозку с оглоблями, надели на свою клячу обыкновенную дугу и поехали.

Прибыв вместе с другими станичниками в село Музыковка на базар, они думали в тот же день ехать дальше, но их кляча больше не хотела двигаться. Исхудалая и старая, она после очередного удара батоном рванулась было идти, но потом пошатнувшись упала и не встала, поломав при падении одну оглоблю.

— Шо ж ты, тварюка проклятущая, надумала, а? Вставай, а то убью! — ругался Корж и схватив обломок оглобли, начал лупцевать клячу по чем попало, но она только мотала головой, а вставать и не собиралась.

— Вижу я, шо наша буланая кобылка больше не поднимется, — с горькой усмешкой, сказал Косогон, глядя на "работу" своего приятеля. — И где ты достал такую старую клячу, как будто бы лучших коней не было?

— Это мне всучил наш следователь Костенко, а сам, сволочь, на хороших конях едет, — продолжая пинать оглоблей в бока лошади, сердито сказал Корж.

— А ты ж куда смотрел, когда брал ее? И еще полицаем был, тоже мне соучастник.

— Ругаться бесполезно, но что же нам теперь делать?

— Добить надо подлюку, а повозку пропить! Шо мы не пристроимся на подводах других станичников? Мы без баб, и без детей.

— Согласен, так тому и быть, — и Корж еще с большим усердием стал бить бедное животное оглоблей, стараясь поскорее расчитаться с клячей, но она по-прежнему только мотала головою и дрыгала ногами, а не доходила.

— А еще собирался большевиков бить! Ты и дохой кобылы не можешь докончить. Стой, вот смотри, как я буду, — и Косогон выдернув из под лошади дугу, зашел с ней наперед и крутым изогнутым концом дуги изо всей силы стукнул клячу прямо в лоб. После такого

удара буланая кобыла задрожала вытянувшимися ногами и испустила дух.

Добив таким образом лошадь, они сняли с нее упряжь и уздечку, откатили назад от нее повозку, сложили на нее все и решили как-то убраться с этого места. Косогон сам вместо лошади впрягся в повозку, взял в обе руки полусломанные оглобли и потянул ее по базару, громко выкрикивая:

— Кому надо одноконку, очень дешево продается! Кому надо повозку? Навались!

Корж шел позади и издевательски помахивал на "мерина" батоном, а когда тот оглядывался, старался подпихивать повозку.

— Вот это настоящий трудящийся! — сказал кто-то сбоку их. — Иной запряжет в повозку коней, сядет на нее, едет посвистывая и говорит, что он трудящийся. Какой же он трудящийся, когда сидит, а лошади его тянут? А этот сам тянет, вот это и есть настоящий трудящийся...

Но староминцы не слушали такие насмешливые высказывания и продвигались дальше по базару.

— Почекайте, люды добрые, а що вы хочете за цю колымагу?

Подняв голову Косогон увидел перед собой старого украинца с большой кошелкой в руке и рядом немолодую женщину, державшую за веревку худую и высокую корову.

— Чуешь, Ягор, иди сюда ближе! — крикнул Косогон шагавшему за повозкой соучастнику. — Тут вот встретились покупатели на наше добро.

Слыша вопрос украинца и зов приятеля, Корж подошел и сказал:

— Шо, чоловіче добрый, хочеш нашу таратайку приобрести? Пожалуйста! Ведро самогонки и еще чего-нибудь смачного на закуску. Это недорого.

— Ведро многовато, да и нет у нас такой посуды, — ответил старик и оглянулся на женщину. — Есть вот у меня в кошелке полная сулия — три литра скаженной горилки, кусок сала и одна "пэрэпичка" и все. Хватит?

— Давай и это, согласны! — крикнули оба продавца в один голос.

Украинец и женщина, державшая за веревку корову, вероятно его жена, вынули из кошелки и отдали ка-

закам трехлитровую посудину с самогоном, кусок сала и "перепичку" (широкую круглую пышку), потом запрягли свою корову в повозку, старуха села в нее, а хозяин взял за веревку свое новое рогатое тягло и они поехали с базарной площади.

Косогон и Корж подошли под ближнее роскошное дерево, сели возле ствола на траву и приступили к "пиршеству". Ни рюмок, ни стаканов у них не было, но в карманах оказались два больших свежих огурца. Они разрезали один большой огурец пополам, вычистили из него всю мякоть, наливали в такую зеленую, но вместибельную "рюмку" самогонку и, опоржнив ее, закусывали "смачным" салом и "перепичкой".

Вскоре к ним присоединились Хомяк и Штепенко, которые принесли несколько штук вяленой тарани, что еще лучше подходило для закуски. Содержимое в сулии заметно уменьшалось.

— Теперь мы с Ягором стали настоящие "пролетарии всех стран", — усмехнувшись сказал Косогон, наливая в огурцовые рюмки мутноватую, но очень хмельную жидкость. — Наша последняя коняка сдохла, вернее мы ее добились, повозку свою променяли вот на эту сулию самогонки и кусок сала и у нас теперь остались только батожок и уздечка. Теперь берите нас на свои подводы!

— Еще чего не хватало! Шо ж вы, хлопцы, достать себе другое тягло не можете теперь? — сказал Хомяк.

— Где же его тут так легко можно достать? — спросил Корж.

— Еще спрашиваешь! Посмотрите вон какие лошади и бричка у нашего бывшего следователя Федьки Костенко. Вот и наложите на них свою лапу!

— Как так можно наложить свою лапу? Ведь и кони и бричка у него от самой Старо-Минской!

— Сумейте, как! Вот послушайте меня, бывалого: пойдите сейчас к нему и строго потребуйте его тягло себе. Он, конечно, будет артачиться, тогда вы скажите ему, что он не казак, а еврей, и пригрозите разоблачением. Я не выдумываю: если хорошенько покопаться в его биографии, то он и на самом деле жидовского происхождения.

— Шо вы, станишник, балакаете? Он зять нашего православного диакона Бирюка, в церковь нашу всегда

ходил, пять лет был на севере в лагерях за антисоветскую агитацию, а вы...

— Рассказывай, рассказывай! Шо он зять православного диакона и пять лет сидел в лагере, это верно, но он не казак. Его еще маленьким взял на воспитание наш бездетный Алексей Костенко от одного овдовевшего еврея из Ейска, усыновил, вот он и вырос с фамилией Костенко.

— Точно так же называется и наш атаман Федор Костенко, так что же, он тоже...

— Попал пальцем в небо! Наш атаман, Федор Алексеевич, природный казак и его знает вся станица, а этот... Та шо я вас буду уговаривать, як молодых дивчат, чи шо? Не хотите слушать меня и не надо, но на свою подводу я никого не приму.

Поговорив еще немного, Корж, Косогон и Хомяк направились к бричке Федьки Костенко.

— Слушай, гражданин Костенко, — обратился Косогон к спокойно сидевшему на бричке хозяину. — Мы с Ягором остались совсем без тягла. Без всякого скандалу отдай нам своих коней и бричку!

— Это же с какой стати? — удивился Костенко. — Не в одно ли и тоже время мы все запаслись тяглом в станице и выехали? Где же ваши кони и подвода? Пропили? Ну так теперь пеняйте сами на себя, а мне головы не морочьте! Эти лошади и бричка принадлежат мне из самой нашей станицы и никому я их не отдам.

— Меньше бы рассуждал о такой своей собственности! Не все ли мы выехавшие из Кубани самовольно забрали в колхозах и коней и подводы? Но не в этом дело! Вот ты нам говоришь "пеняйте на себя", так послушай же, если не отдашь нам того, чего мы просим, то тоже пеняй на себя, ты горько раскаешься. Думаешь, мы не знаем, кто ты есть на самом деле? Ты не станичник наш и не казак Костенко, а... жид. И если не отдашь нам коней и бричку, мы сейчас же пойдем в Гестапо и заявим, что ты еврей.

Глянув на них, как на сумасшедших, Костенко не стал больше разговаривать, тронул коней и отъехал от них немного в сторону.

В этой гнусной затее Штепенко не захотел участвовать и пошел к своей подводе, но трое других собутыльников не успокоились.

Достав листок чистой бумаги, они отошли к пустым

деревянными стойкам и состряпали донос, подробно указав, что бывший следователь Федор Костенко не казак, а еврей и указали откуда он появился в станице. Все трое подписались и понесли листок в местное Гестапо. Задав несколько обычных в этих случаях вопросов, там обещали им срочно расследовать это дело, тем более, что один из подписавших донос, был при немцах старшим полицейским в станице, а таким немцы безусловно верили.

Вечером того же дня к бричке Костенка пришли два эсэсовца, арестовали и увели Федора с собой. Назад он не вернулся и никто из казачьих беженцев его больше не видел.

Бричкой и лошадьми бывшего диаконского зятя Федора Костенко, по разрешению немецкого коменданта обоза, завладели Корж и Косогон.

Известный в станице маленького роста бывший милиционер, а позже следователь при немцах Федор Костенко, лицом был немного похож на еврея, но кем он был на самом деле, точно никто не знал. Возможно он и сам этого не знал, если еще младенцем стал жить в станице в семье казака Алексея Костенко.

Немного позже этого случая, в казачьем стане в Белоруссии стало известно, хотя официально и не подтверждено, что бывший при немцах следователь по уголовным делам Федор Костенко, расстрелян гестаповцами еще на Украине вместе с другими евреями, как еврей...

Узнав об этом, Косогон и Корж сильно терзались гнусным доносом при своей пьяной выходке на Украине, погубившей невинного человека, в еврейской принадлежности которого многие сомневались. Они с горя пропили опять и этих коней и бричку, нечестно присвоенных себе, и опять остались безлошадными...

ГЛАВА 6.

В Херсоне и его окрестности формирование казачьих полков происходило под начальством ротмистра Лемана, назначенного для этой цели генералом фон-Клейст. Было сформировано несколько неполных полков следующего наименования:

1-й Донской казачий полк, 2-й Терский полк, 3-й Кубанский и 4-й Кубанский казачий полк.

По другим данным, из эвакуированных с Кубани казаков были сформированы 1-й и 2-й Кубанские полки, а не 3-й и 4-й.

Но эти полки, как боевые единицы, вовсе не были такими, как принято понимать "казачий полк". По своему виду эти, так называемые, "полки" напоминали Таманскую полувоенную группу Ковтюха первого периода 1918 года. В полках и обозе находились и жены казаков или их любовницы, малые дети, старики. На бричках кудахтали куры, гоготали гуси, лежали вороха женской одежды и кухонной посуды. Кое-где за подводами шли привязанные веревкой коровы. На остановках, на дулах пушек и стволах составленных в козлы винтовок, сушились детские пеленки.

Было и другое формирование воинских частей из казаков. Из освобожденных советских военнопленных и "остарбайтер" из лагерей и других казаков, собирались особые воинские части, которые направлялись в город Млава, в Польшу, где вскоре и была сформирована 1-ая Казачья дивизия, под командованием эсэсовского генерала Гельмута фон-Паннвица. Эту дивизию после формирования сразу же перебросили в Хорватию, для борьбы с партизанами Иосифа Тито. Сначала в город Млаву, а потом в дивизию фон-Паннвица каким-то образом попал с полусотней кубанцев и Григорий Никифорович Кияшко. Еще в Херсоне он был произведен в хорунжие не то Кубанским походным атаманом Соломахой, не то новоявленным Войсковым атаманом Иосифом Белым...

Было еще при немцах и третье антисоветское формирование, в которое вошли в основном тоже казаки, но из старой белой эмиграции.

Как известно, в Югославии еще с двадцатых годов приспособились много эмигрантов, служивших в Белой армии Деникина и Врангеля, эвакуированных из Крыма вначале на Лемнос и в Галлиполи, и потом перевезенных в Югославию. Вот из этих бывших белогвардейцев немецкое командование и сформировало так называемый "Русский Белый корпус", воины которого имели возраст от пятидесяти до семидесяти лет и ни одного моложе.

По существу это воинское формирование никак нельзя было называть "корпусом", и даже с натяжкой "дивизией", так как шесть наименованных полков, входивших в этот "корпус" не имели и половины состава во-

инских чинов и никаких других особых подразделений. Но раз так захотели коллаборационисты и немецкое командование, то такое название за этим воинским формированием осталось навсегда. Вначале командиром корпуса был назначен генерал Штейфон, а после его смерти терский казак полковник Рогожин, но фактически командовали немецкие офицеры.

Этот Белый корпус, как и дивизия фон-Паннвица, вел борьбу с красными партизанскими отрядами исключительно внутри Югославии . . .

Никифор Тарасович Кияшко, проживавший в эмиграции в Белграде, тоже был зачислен в этот корпус. Он вначале противился вступлению в корпус, но его заставили свои же станичники, пригрозив донести в Гестапо, что он мол сочувствует красным.

Всех кубанцев находящихся в Югославии Кубанский войсковой атаман генерал Науменко несколько раз повышал в чинах, так что рядовых и даже нижних чинов не было. Войсковые старшины и есаулы стали полковниками, и даже генералами, как например, Соломахин; и даже некоторые хорунжие стали полковниками, как например, Зарецкий. Но это относилось к тем, которые состояли в кубанских казачьих или других воинских объединениях и поддерживали штабы этих объединений. Никифор Кияшко ни в каких организациях не состоял, никаких обязанностей по Кубанскому войску в Югославии не выполнял, а потому как стал после Лемноса есаулом, так и остался в этом чине вплоть до организации корпуса. И хотя в корпусе все были офицерами и взводами командовали полковники — даже генерал Морозов командовал только батальоном — но есаулу Кияшко дали все-таки офицерский взвод из шестидесятилетних "бойцов".

Хотя корпусные казаки сражались и храбро с сербскими партизанами, но оружие им дали старое — русские винтовки дореволюционного образца; тактики боевых операций они придерживались старой, поэтому партизаны их не очень боялись. Что же касается казачьих сотен дивизии фон-Паннвица, то те обладали современным оружием, автоматами, минометами и прочим.

Однажды, под городком Сисак, 3-й полк Белого корпуса, в котором находился и взвод Никифора Кияшко попал в окружение большого отряда сербских партизан. Этот полк далек был до своего полного состава,

имел всего лишь не больше двухсот штыков и полноценной боевой единицей считать его было более чем сомнительно.

Окруженные неприятелем корпусники знали, что пощады от красных сербских партизан для них, бывших белогвардейцев, да еще и ставших на сторону немцев, не будет, продолжали отстреливаться, по-пластунски, сползаясь вместе и готовясь к последней смертельной схватке.

И вдруг... в тылу партизанского отряда гаркнуло громкое казачье "ура" и лавина еще сравнительно молодых кавалеристов врезалась сзади в наступавших сербов. Такое внезапное нападение с тылу молодых воинов на хороших конях привело наступавших к панике. Ряды их смешались, от наступления сербы перешли к отступлению, а потом почти к бегству, поспешив скрыться в лесу. Остатки 3-го полка корпуса были спасены.

Корпусники с нескрываемым восторгом встретили своих избавителей, оказавшихся сотней казаков из 1-й дивизии фон-Паннвица. Старшие офицеры полка корпусников пошли навстречу подъезжавшим казакам.

ГЛАВА 7.

Казачья сотня спешила и остановилась. Ее командир, высокий стройный, лет тридцати пяти хорунжий, подошел к встретившим их офицерам.

— Каких орлов и откуда Бог послал нам в наш критический час? — спросил командир 3-го полка корпусников, беря под козырек.

— Кубанская сотня из Первой казачьей дивизии! Помощник командира сотни хорунжий Григорий Никифорович Кияшко! — тоже беря под козырек четко отрапортовал командир сотни.

Услышав этот рапорт, Никифор чуть не грохнулся на землю. Вздвогнув, он сразу же подбежал к хорунжему и глянув в упор в глаза, еле слышно сказал:

— Гришенька, мальчик мой... ты... ты...

— Батя! — громко выкрикнул Григорий и повис на шее отца.

Две фигуры сплелись в крепких объятиях, плакали и смеялись, не находя слов, чтобы выразить небывалую встречу.

— Хлопчиком десятилетним оставил я тебя, сыночек, двадцать четыре года не видел, — и Никифор опять обнимал и целовал сына.

Молодые казаки сотни и старые корпусники с умилением молча глядели на эту неожиданную встречу, тоже иногда смахивали непрошенные слезинки, вспоминая и своих детей, когда-то покинутых в родном краю.

Подобрав убитых и раненных корпусников, вся казачья сотня и чины из 3-го полка вернулись в Сисак, и там все вместе пообедали из котлов полковой кухни.

После обеда отец и сын уединились вдвоем под старую яблоню приусадебного сада одного хорвата, желая поговорить о многом, многом.

— Давно из родной станицы? — спросил Никифор.

— Точно 29 января 1943 года, — ответил Григорий. — Вместе с беженцами станичниками ушел с ихним обозом.

— Из наших никто не эвакуировался, кроме тебя?

— Никто не захотел. Мне же нельзя было оставаться, я сотрудничал с немцами в станице.

— Жаль, ну да теперь уж все равно. А как там мама твоя, Клава и другие?

— Мама работает в колхозе и все время плачет за вами, давно ведь обещали в письмах вернуться на родину, но так и не вернулись.

— Да, обещал. Бедная Наталочка! Наверное и состарилась уже, а настоящей жизни со мной почти и не видела. Едва поженились и ты родился, как пошел я на действительную службу на четыре года. Через год после возвращения с действительной забрали на Кавказский фронт воевать против турок, потом война Гражданская и самое страшное — 24 года вот уже на чужбине я без семьи, — и Никифор глубоко вздохнул и замолчал.

Григорий начал рассказывать о всех событиях в станице за последние годы, о семье всей Кияшко и семье Шевченко, о том, как он попал в плен к немцам под Кущевкой и т. д.

— А чего это ты вдруг вздумал служить у немцев? — спросил вдруг Никифор сына. — И знак эсэсовский повесил на свою шапку! Достойно ли это советскому гражданину и бойцу Красной армии?

— А почему вы, батя, тоже стали служить у немцев? — вопросом ответил не растерявшийся Григорий.

— Я был в Белграде и видел, что не все бывшие белые пошли в Русский корпус, который фактически на службе немцев! Даже генералы остались в Белграде, как например Ткачев и Фостиков, это Кубанские, но есть там и другие. В чем же дело?

— То правда, в корпус не все записались. Я тоже не хотел, но меня заставили... Но я не хочу здесь служить и... вернуться. Сначала в Белград, а потом... Собственно кому мы с тобой сейчас служим? Мне не привыкать воевать. Я воевал и с турком, и у белых, но там мы сражались за Родину, за край родной, а теперь за что? Ты тоже сражался за Родину будучи в Красной армии, а теперь за что?

— Зачем об этом говорить, батя? Нет у меня больше никакой родины, в том числе и советской, — почему-то вздрогнув сказал Григорий. — Теперь я изменник родины, предатель и чего хотите. И возврата нет! Раз попал в плен к немцам, значит изменник. Так Сталин приказал и о защите Родины со сталинским режимом не может быть и речи. И, собственно, где же наша Родина? Вот наш начальник дивизии, генерал фон-Панвиц, однажды говорил казакам, что мы и теперь сражаемся за Родину, за свой край родной. Мы, мол, службой у немцев ускоряем гибель Сталинизма, а следовательно боремся за свободу своей Родины. Откровенно говоря, батя, жизнь наша теперь пропавшая. На меня часто находят такое настроение: надо кого-то беспрерывно бить и бить: красных, белых, коричневых или совсем бесцветных — все равно, лишь бы бить. Сегодня мне приказали прийти к вам на помощь и разбить сербских партизан и я выполнил это приказание. И если бы сегодня же мне приказали с своей сотней помочь сербским красным партизанам и уничтожить ваш дряхлый 3-й полк корпуса, я с удовольствием тоже исполнил бы. Думаете я люблю этих ихних "фрицов" и "гансов"? Как не так! Подождите, я в подходящий момент покалечу еще не одного из этих коричневых "фюреров" и "фюреренят"...

— Так нельзя, сынок, всех бить и бить, — покачав головой, сказал Никифор. — И разочаровываться тебе полностью в жизни тоже преждевременно, ты еще молод и жизни еще не узнал по-настоящему. Пусть нас, старших казаков Гражданская война выбила из нормальной житейской колени, и мы теперь уже ни рыба, ни мясо; ни туды и ни сюды. Скучно мне жить на чужбине без семьи

и я все время теперь раскаиваюсь, почему я с Лемноса не вернулся еще в 1921 году?

— Очень правильно сделали, что не вернулись тогда. И в ссылке не были, и тюрьмы не пробовали, как дядя Петро. Ведь ваши родители, мои дедушка Тарас и бабушка Ольга, в ссылке на севере и умерли. Думаете белого офицера, хотя бы и добровольно вернувшегося из-за границы, пощадили бы?

— Не знаю, но высказывания твои что-то уж слишком непримиримые. Все могло быть, и ошибки, и "перегиб палки", а все же... Кстати, где теперь может быть твой дядя Петрусь?

— Где теперь, не знаю. Перед войной дядя Петро был в Ухто-Ижемском лагере НКВД, потом уже в период войны его направили на фронт и после этого от него ни слуху, ни духу.

— А Клава? Ведь она уже взрослой стала!

— Она давно замужем за Николаем Шевченко. Поженились они еще тогда, когда в тридцатых годах бежали из ссылки.

— Николай Шевченко, муж ее? Ничего не понимаю! Ведь ему уже за пятьдесят, и наша Гашка за ним замужем!

— Да нет, не Николай Васильевич, а его сын, тоже Николай! Они давно уже уехали из станицы в Донбасс и так там и остались.

— А, сынок его! Помню, помню, был у него маленький Коля. Так, так. Ну, что ж, пусть живут... Ну, прощай, сынок! Иди с Богом! Только вот что напоследок я хотел сказать: прилично ли казаку сражаться под немецким флагом? Подумай об этом хорошенько!... Хотя...

Григорий удивленно глянул на отца и молча, не сказав больше ни слова, повернулся и пошел к своей сотне.

"Мама плачет и ждет", моя Наталочка ждет, — с камнем на сердце думал Никифор, идя от сына к своему полку. — Так сказал Гриша, так оно и есть. Двадцать четыре годика ждет, бедняжка! За что же ей такое наказание? Она для меня была в юности милейшей девушкой кубанской, а в замужестве вернейшей женой. Да, верю, она и теперь осталась незапятнанной. А, я? И Гнедой мой в родной земле почивает, а где же я сложу свои кости?..

С такими тяжелыми думами шел Никифор от сына и сердце его ужасно колотилось.

На должность командира взвода он глядел спустя рукава, да собственно от его взвода почти уже никого не осталось.

Вскоре Никифора перевели в хозяйственную часть Белого корпуса, но через неделю он заболел, был отправлен в Белград и в корпус больше не вернулся...

С такой же тяжелой мыслью в голове шел от отца к своей сотне и Григорий Кияшко. В его душу глубоко запали слова родителя: "Лучше бы ты воевал за Землю родную, а не за немцев..." "А он то сам теперь за чью же землю воюет? — мысленно оправдывал себя Григорий. — Он тоже сражается на стороне немцев, за старый Белград, за королевскую Югославию? Разве это его родина? А в ихнем корпусе так и смердит старыми порядками, вроде: "Ваше благородие, ваше превосходительство, господа офицеры"! Кому и зачем это теперь нужно? Собственно, а кто же теперь я? От "товарищей" ушел, к "господам" не хочу, а "гансы" и "фрицы" тоже противны. А... может батько и прав, что я сам не знаю за кого сражаюсь? Что ж, если мои очи вскоре не отлетят вместе с головой, то еще посмотрю и подумаю. Еще не все потеряно..."

— Господин хорунжий! Командир вашего полка, полковник Кононов, приказывает вашей сотне немедленно двигаться к городу Сунь! — приблизившись к подъехавшему Григорию, отчеканил его станичник Михаил Хайло, служивший в 3-м полку Белого корпуса то фельдфебелем, то обыкновенным связным.

— Хорошо! Передайте полковнику Кононову, что вверенная мне сотня сейчас же направляется в Сунь, — ответил Григорий, потом повернувшись к станичнику, дружеским тоном добавил:

— Вы же, Михаил Иванович, служите в корпусе! Почему же приказание от нашего командира полка из 1-й казачьей дивизии привезли вы, а не кто другой?

— Такое приказание передал через меня полковник Кононов по просьбе командира корпуса полковника Рогожина, бо где-то там возле Сунь 1-й наш полк терпит сейчас беду. Из вашего полка мне и коня дали, вот я и примчался к вам.

— Добре, пусть будет так. Езжайте назад и передайте полковнику Кононову: сейчас же идем в Сунь спасать еще один полк Белого корпуса, — усмехнулся Григорий.

— Слушаюсь! — и козырнув, Хайло повернул коня и наметом помчался назад.

Григорий Кияшко быстро построил сотню и сейчас же направился туда, куда ему и было приказано полковником Кононовым . . .

ГЛАВА 8.

Двадцатилетняя Катя, со своими родителями Николаем и Гашкой Шевченко, и во время войны жила в Харькове.

Вся территория Украины была занята гитлеровскими войсками. Немецкие эсэсовцы хватали молодых девушек прямо на улице среди бела дня, на базаре и насильно отправляли на работу в Германию.

Катя Шевченко в школьные свои годы на Кубани была всегда передовой пионеркой, а перебравшись с родителями в Харьков вскоре стала активной комсомолкой, хотя Николай Васильевич и не одобрял такую активность дочери. Еще при начале войны она понимала, что при немцах ей не сдобровать и старалась поскорее уехать подальше на восток, но не успела попасть на последний поезд эвакуируемых и так и застряла в Харькове, оставшись в домике отца, вблизи тракторного завода.

При приближении немцев Николай Шевченко был призван в тылополчение, служил там в хозяйственной части и тоже с некоторой частью ополченцев не смог эвакуироваться и остался в Харькове. При немцах он продолжал жить в своем домике и работал сторожем на одном небольшом заводе.

Вначале Катю никто не трогал и она даже при немцах оставалась служить на старом месте, телефонисткой на городской подстанции, благо немецкий язык она учила еще в средней школе, десятилетке. И так продолжалось месяц или полтора.

И вот однажды, глубокой ночью, немецкие и местные украинские эсэсовцы ворвались в домик Шевченко и арестовали Катю. На следующий же день ее вместе с сотней других девушек отправили в товарных вагонах на работу в Германию . . .

Когда поезд шел по Украине, охрана была очень бдительная: днем и ночью очень строго следила за все-

ми невольницами. Но когда поезд новых немецких рабынь вышел за пределы советской Украины и очутился не то на территории Венгрии, не то на какой-то другой земле, охрана ослабела. Глубокой ночью, выбрав удобный момент, Катя на ходу поезда выпрыгнула из вагона и благополучно скрылась в ближайшем темном лесу..

Она одиноко несколько дней блуждала по лесу, избегала заходить в населенные пункты, шла и шла в южную сторону, сама не зная куда, а питалась ягодами лесной черники, или корнями рогоза вблизи болотистых речек.

И, вдруг, Катя наткнулась на сербский партизанский отряд. Она и не подозревала, что уже была в Югославии . . .

После проверки ее личности, она так и осталась в этом антифашистском сербско-хорватском партизанском отряде, оперирующем в районе города Драговичи. Скоро она привыкла к боевой партизанской деятельности, часто одна ходила в опасную разведку и всегда благополучно возвращалась, а иногда и лично участвовала в боевых стычках с врагом. В отряде ее полюбили и ценили, как равного своего боевого товарища.

О жизни в Советском Союзе Катя всегда отзывалась похвально и ни одним словом не обмолвилась в разговоре с сербскими товарищами об ужасах сплошной коллективизации, о высылке ее семьи и родственников на северный Урал, о тяжелом тридцать третьем годе. Она старалась как можно красочней рисовать все стороны жизни на своей Родине. Она была и осталась настоящей советской патриоткой.

"Зачем теперь говорить о наших недостатках сербским товарищам, борющимся против того же общего врага, что и моя Родина, — думала она. — Что ж, были у нас и ошибки и "перегибы палки", но это исправлено, и если бы не эта война, то жить стало бы действительно лучше и веселее. Ничего не буду говорить отрицательного о моей родине, чтобы не поняли нашу жизнь превратно, да еще в такой период, когда мы ведем смертельную борьбу с общим врагом-гитлеризмом" . . .

Вскоре отряд, в котором находилась Катя, был перебросен к городу Сунь, потому что там слишком активно стали оперировать не только немецкие эсэсовцы, пронемецкие четники и усташи, части Русского Белого корпуса, но и отборные казачьи части из дивизии гене-

рала фон-Паннвица. В районе Сунь находилась небольшая группа сербских партизан Войтича, но они не могли успешно противодействовать всем этим вражеским силам...

И вот Катю, под видом учительницы местной школы, однажды направили на разведку в самый город Сунь, чтобы хоть приблизительно определить: сколько там находится вражеских воинских частей всяких оттенков.

Километрах в трех от Сунь, когда она шла по небольшой лощине, ее вдруг окружил небольшой отряд военных в разношерстном обмундировании, но кто они, она и не подозревала.

— Здрава була, красавичка! Куда путь держишь? — спросил ее один из отряда, мешая сербские и русские слова.

И Катя тут совершила непоправимую роковую ошибку.

— Вы, случайно, не из отряда товарища Войтича? — не подумав о последствиях такого вопроса, спросила она.

— Ого-го! Оказывается, ты с "товарищами" знаешься? — и повернувшись, он стал говорить по-немецки с кем-то старшим. Потом спросил ее:

— Ты кто: дочь русских эмигрантов из Югославии, или советская парашютистка, прыгнувшая из советского самолета здесь для разведки и шпионажа?

Опустив глаза, Катя молчала. Она поняла к каким воинам попала, но было уже поздно. Ее сразу же бесцеремонно обыскали. Под платьем на поясе нашли маленький браунинг, две небольших гранаты и на небольшом листке бумаги топографический план местности. И участь ее была решена.

— Что ж ты так оплошала, молодайка, а? — зло-радно усмехнувшись сказал тот, кто первый заговорил с ней, вероятно переводчик. — Плохо, плохо старалась, теперь ордена Ленина не получишь, нет. Сплоховала!

К ним подъехал на коне немецкий офицер.

— Господин оберштурмфюрер! Красную шпионку поймали мы, вот она! — доложил по-немецки переводчик показав на Катю.

— Гут, гут! Такая милая девчушка и такими грязными делами занималась! Откуда и кто такая? — подхватив к ней вплотную, спросил оберштурмфюрер.

Опустив голову еще ниже, Катя молчала.

— Мне не отвечаешь? Я спрашиваю, кто такая и откуда? — и он ударил ее ладонью в висок.

Катя слегка пошатнулась, но по-прежнему стояла на месте. Потом выпрямилась, гордо подняла голову и устремив злобный взгляд на оберштурмфюрера, громко заговорила:

Я, кубанская казачка! Бейте, фашисты проклятые, бейте! Всех не перебьете! Люди нашего Кубанского края никогда чужого ярма не любили и вы это уже видите. От моря и до моря поднялись народы моей Родины и всем вам скоро капут...

Слабо понимавший по-русски оберштурмфюрер, бопротительно уставился на своих помощников.

— Кубанская казачка? — пробормотал он, — Может она из казачьей дивизии генерала фон-Паннвица?

— Откуда ты, красавица? — еще раз спросил ее переводчик.

— Я уже сказала: я кубанская казачка, родилась и выросла на привольных степях Кубанских, вот и все. Больше ничего я вам не скажу...

Переводчик дословно перевел по-немецки слова Кати.

— Доставьте ее в казачий отряд в Сунь, там пусть проверят, кто она и откуда, а потом вместе с нею немедленно возвращайтесь, — и оберштурмфюрер животным взглядом смерил ее с ног до головы...

Катю повели в город Сунь. Когда стали подходить ближе, оттуда слышалась голосистая песня:

«Расцветали яблони и груши,
Полегли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой...»

"Так петь эту песню могут только наши хлопцы, — глубоко вздохнув, подумала Катя. — Служат немцам во вражеском стане, а родных песен не забыли, поют про нашу девушку Катюшу. Как нарочно вздумали петь сейчас именно про девушку с тем же именем, что и у меня. Как обидно..."

Катю привели на широкий двор, где повсюду ходили или стояли вооруженные воины в немецкой или казачьей форме, некоторые в смушковых шапках-кубанках и все говорили по-русски, да еще и с черноморским диалектом.

Очувтившись в таком окружении, Катя смутилась и

не знала, кто же здесь? Она пристально вглядывалась в лица проходивших мимо нее казаков, как будто старалась увидеть кого-то знакомого. И, вероятно, на секунду забыв, где находится, спросила:

— Может тут есть кто из кубанцев из станицы Старо-Минской?

— Я кубанец из Старо-Минской! — и Григорий Кияшко, услышав название своей станицы, сразу же подошел к ней. — Мать честная! Да это же наша станичница Катюша! Какими судьбами очутилась здесь? Здравствуй, сестрица! — и он улыбаясь протянул ей руку.

Но Катя не подав ему своей руки, отступила назад, сердито и с брезгливостью посмотрела на эсэсовскую эмблему — человеческий череп на его шапке-кубанке.

Григорий в недоумении остановился и в упор глядел в ее лицо.

— Шо ж то за сестра такая, шо цурается брата? — сказал кто-то из стоявших рядом черноморцев. — Не выдумываешь ли, господин хорунжий, что это твоя станичница, да еще и по имени Катюша, про которую мы пели недавно?

— Нет, братцы, я не выдумываю: эта девушка точно моя станичница и двоюродная сестра, дочь моей родной тети Агафьи Тарасовны Шевченко, бывшей до замужества по фамилии Кияшко.

— Была на Родине твоей сестрой, но теперь нет. И не смей именовать меня сестрой, изменник и предатель! — зло сверкнув глазами проговорила Катя. — В форме фашистов не может быть моих братьев!

— О, теперь все ясно: это же советская парашютистка, не сумевшая скрыться! — слышались вокруг голоса. — Не отдавай ее назад немцам, господин хорунжий! Все равно там натешатся ею, а потом кокнут. Дай нам ее хоть на одну ночь, мы тоже...

— Прекратить трепаться! — строго крикнул на них Григорий. Потом повернувшись к пленнице, зло сказал:

— Так ты, значит, против своих же казаков выступаешь? Идешь против освободителей нашей Родины?

— Как тебе не стыдно, Гриша, говорить слово "освободителей"? От чего "освободителей", от жизни? Как тебе не стыдно, бывшему бойцу Красной армии находиться в стане фашистов? Там наши Орлы Земли родной сражаются за край Кубанский, а за что же ты теперь воюешь?

— Мы боремся за свободную от диктатуры Сталина Родину нашу, — слегка побагровев сказал Григорий. Забыла, как и мои и твои родители были насильно высланы на север в тридцатом году? Забыла, что на Кубани творили в тридцать третьем году посланцы Сталина? И ты ратуешь за такую Родину?

— Даже за такую! — ничуть не смутившись, сказала Катя. — То что ты сейчас сказал было, не спору, но теперь нет. И речь идет не о Сталине, а о защите всей Родины нашей, а не становиться врагом только потому, что когда-то, кто-то творил у нас "перегиб палки".

— О Родине, говоришь? Ха! Но почему же на всех перекрестках и в газетах СССР пестреют громадные лозунги: "За Родину, за Сталина!"? Неужели ты думаешь, что даже в Красной армии есть хоть один дурак, который воевал бы за Сталина только потому, что он правитель страны? В старое время был лозунг: "За Веру, Царя и Отечество" и сталинская пропаганда все время насмеялась над таким девизом, а почему же теперь призывают сражаться за Сталина, как раньше за царя? "Нэ вмэр Даныло, болячка задавила"! И раньше и теперь все войны сражаются только за Родину, а не за царей и правителей!

— Сталин не царь, а наш вождь, и стоит он не ниже даже царя Петра Великого.

— Чушь! Историю учила? Помнишь, что перед Полтавской битвой Петр Великий сказал своим войскам? Он сказал примерно так: "Воины, не думайте, что вы сражаетесь за Петра, но за Отечество, а о Петре ведайте, что ему жизнь недорога, лишь бы Россия жила...". Так? Почему же твой Сталин не скажет своим войскам что-нибудь подобное, а самодовольно поощряет лозунги: "Умрем за Сталина!" Неужели он верит такому кощунству? Да, что говорить! Наши дедов и отцов на Кубани не раскулачивали при царях и не высылали на север только потому, что они были хорошими хлеборобами. А что при грузине Иосифе Первом творилось? За что наши родители были высланы?

— Выслали, потом вернули назад, значит исправили ошибку местных властей. Для таких изменников, как ты, Сталин, конечно, враг, но для честных граждан советской страны, он отец, вождь и учитель.

— Кто тебе это вдолбил в твою башку? И ты не отказываешься от своего заблуждения?

— Не я, а ты заблуждаешься, но запомни: все ваши фашистские банды изменников родины будут вскоре раздавлены Красной армией и Освободительной армией Югославии. Агония гитлеровского фашизма не за горами. Я не жду пощады ни от кого: ни от твоих предателей, ни от твоих хозяев, которые привели меня сюда. Всех не уничтожите! Стреляй в меня здесь на месте, сейчас, но вам всем скоро капут. Да здравствует советская родина и ее непобедимая армия! — и она вызывающе глянула на всех.

— Как она сказала, Сталин капут? — осведомился подошедший к ним немецкий офицер, хорошо не поняв последних слов пленницы.

— Нет, не то! — повернувшись к офицеру выкрикнула Катя. — Я сказала "Гитлер капут!"

— Молчи, безумная! — крикнул на нее Григорий. — А вы чего здесь рты разинули? Разойдись! — тоном приказа обратился он к казакам, собравшимся вокруг них. Глянув на сестру еще раз, он резко повернулся и пошел прочь, не сказав больше ни слова.

Не добившись точных данных, немцы повели Катю обратно в свой отряд. И только они отошли от двора, как за их спиной опять раздалась громкая песня: "Расцветали яблони и груши . . ."

ГЛАВА 9.

— Ну, что, установили личность этой особы? — спросил оберштурмфюрер эсэсовцев, вернувшихся с Катей.

— Да, немного выяснили. Она неисправимая советская патриотка, горячо защищавшая Сталина, и даже посмела говорить угрозы по адресу нашего великого фюрера.

— Расстрелять! — побагровев, злобно приказал оберштурмфюрер. С такими элементами у нас нет времени церемониться и возиться.

Но пристально поглядев на соблазнительный стан обреченной, добавил:

— Расстрелять завтра на рассвете, а сейчас привести ее ко мне лично на допрос!

Катю ввели в небольшую, но комфортабельно об-

ставленную землянку и оставили наедине с оберштурмфюрером.

— Ты ясно слышала, советская зазнобушка, что я приказал тебя расстрелять, но отсрочил это до завтра, надеясь на твое благоразумие, — более вежливо сказал эсэсовский офицер.

— Слышала, знаю, — спокойно ответила Катя, — ну и что еще?

Такой спокойный ответ видимо ошеломил немца и он даже замялся, не зная, что же дальше говорить. Потом немного подумав, сказал:

— Так, я приказал расстрелять, я же могу и отменить это, при двух небольших условиях, которые зависят целиком от тебя. Первое: скажи мне, где именно находится сейчас партизанский отряд Войтича, о котором ты по глупости своей спросила при задержании тебя здесь, сколько у него приблизительно солдат, а также — какие вообще отряды красных титовцев находятся в районе Сунь, Драговичи и других ближайших к нам местях?

— Откуда я могу знать такие подробные данные? Я же не ходячее информационное бюро. Не знаю.

— Раз ты шла к ним, значит хоть приблизительно знаешь?

— Ничего не знаю, — еще раз повторила Катя. — Откровенно говоря, красные партизанские отряды имеются по всей Югославии, в районах всех городов и сел оккупированной вами страны, и вы их никогда не победите. У Войтича, например, тысяч десять воинов, у других еще больше, а скоро все население до единого станет партизанским, чтобы изгнать фашистов.

— Что? Молчать! Ты что, за мальчишку меня принимаешь? Если бы у Войтича было десять тысяч бойцов, то почему бы ему не войти в Сунь, где находится только сотня казаков, да наших солдат с полсотни? Чушь, ложь!

— Если не верите, зачем же спрашивать меня? Пойдите и сами узнайте!

— Молчать! — еще суровее крикнул оберштурмфюрер. — Наши непобедимые тигры скоро всех красных уничтожат, а тебя, как миленькую, я заставлю говорить только правду.

— Я тоже из породы тигров, казачьих тигров, но

не ваших, — зло сверкнув глазами изменила тон Катя. — Вы хотите, чтобы я говорила правду? Так слушайте: что вам нужно в Югославии? Что вам нужно было в стране моей родной? Чем вы прославились? Грабежи, насилия, убийства неповинных людей, вот ваши действия были при начале "дранг нах остен" и остались по сей день. И многие ваши "тигры" уже получили от нас "награду": сотни немецких кладбищ красуются на том пути, где проходили гитлеровские завоеватели! Густой лес деревянных крестов с фашистскими значками заполнили эти кладбища! И всем вам не миновать этой "награды"! Советская армия и другие Освободительные армии в оккупированных вами странах скоро раздавят вас как гадину. Гитлер капут! Вот та правда, которую вы от меня добивались...

Глаза оберштурмфюрера налились кровью, он вскочил, схватил за горло девушку и, казалось, всему конец. Но потом он вдруг захохотал, отступил от нее и придвинул к ней свой стул, сиюсь быть вежливым, сказал:

— То я пошутил, душить тебя я совсем не собирался. Поговорим еще. Так, первое условие ты проиграла, не сказав ничего, что я хотел. Но есть еще одно, второе условие, которое тоже может спасти тебе жизнь, — и он нахально придвинулся к ней вплотную и с наглой улыбкой стал глядеть в ее лицо.

— Что вы еще хотите от меня? Что вам надо?

— Неужели ты не понимаешь? Один миг девичьей покорности и все в порядке. И... не сопротивляйся!

Отшатнувшись в ужасе, Катя плюнула ему прямо в лицо и одновременно пнула его ногой с такой силой, что он упал вместе со стулом, но тут же вскочив на ноги, одной рукой вытирал лицо, а другой расстегивал кабуру маузера. Направив револьвер на беззащитную жертву, он слегка нажал курок, потом остановился, приоткрыв дверь позвал двух солдат, строго приказав им:

— Связать и бросить эту дрянь в бункер! Я поговорю с ней позже.

— Яволь, оберштурмфюрер! — ответили солдаты, скрутили веревкой Кате руки, привели и втолкнули в какую-то бетонированную яму с крепкой дверью, закрыли и ушли.

Катя осталась одна в этом темном бункере...

ГЛАВА 10.

"Так вот, где таилась погибель моя, мне смертью кость угрожала", — стараясь прилечь поудобнее на земляном полу бункера почему-то вспомнила Катя "Песнь о вещем Олеге" А. Пушкина. — И Олегу "смертью кость угрожала" и мне, гитлеровская эмблема на фуражках инквизиторов — кости черепа — тоже смертью угрожает. Что ж, так тому быть! Не я первая жертва фашистов и, наверное, не я и последняя...

Но Катя меньше всего думала о собственной участи. Сердце ее сжималось от боли при мысли о молодых казаках-кубанцах в дивизии фон-Паннвица, которых она недавно видела в городе Сунь.

— Неужели они не понимают, какому страшному врагу стали служить? — думала она с болью в сердце. — Правда, семьи некоторых этих казаков обидели на родине в тридцатых годах, но разве можно за это расплачиваться ценой предательства, ценой службы в стане врага? Чуждого и извечного врага России! И с ними... мой брат. Эх, Гриша, знаешь ли ты, где твоя сестрица сейчас, и что грозит ей в ближайшие минуты? О чьей победе и славе ты, безумец, бредишь? Ты, заблудшая овца, неожиданно попавшая на пир к волкам, но эти же волки тебя и съедят...

Ее тревожные мысли прервали шаги и голоса возле бункера.

— Стой! Пропуск? — раздалось по-немецки за дверями бункера.

— Бисмарк! — послышался ответ оберштурмфюрера. — Ты, что, Фриц, и меня уж не узнаешь?

— О, майн Гот! Дасс ист оберштурмфюрер? Хайль Гитлер! — щелкнув каблуками, четко сказал часовой.

— Хайль Гитлер! — как-то вяло ответил оберштурмфюрер. — Хочу еще один вопрос, последний вопрос задать этой советской шпионке, а потом уж спать пойду. Впрочем, это ее последняя ночь. Если я ее сам там сейчас не прикончу... собственноручно, то утром можете ее расстрелять...

Тяжелая дверь бункера наполовину приоткрылась и перед арестанткой появился оберштурмфюрер с ручным электрическим фонариком в руке.

— Что, пташечка, приятно здесь отдыхать? — с насмешкой спросил он. — Может уже поуменела, то

участь твою я могу вмиг изменить, — и он осветил ее лицо фонариком.

Зажмурив от яркого света глаза, Катя откатилась к стене. Она отлично понимала, зачем он пришел к ней в это время.

— Слушай, красавица, ты обречена и с такими у нас долго не панькаются, но ты можешь избежать своей участи и даже уйти отсюда, куда хочешь, если примешь мое второе условие. Я немецкий офицер, гитлеровский разбойник, как ты выразилась недавно, но я мужчина и еще молодой, а ты молодая женщина. Стоит ли тебе из-за двухминутного пустяка терять свою молодую жизнь? Две-пять минут и ты свободна, — и он, поставив фонарик в нише, подошел к ней вплотную.

Изогнувшись, Катя встала на ноги и беспомощно прислонилась к стене. Ей хотелось кричать, биться головой о стенку, кусать зубами этого ненавистного садиста, но все это, конечно, не помогло бы ей. Она только теперь заметила, что этот фашист небольшой, почти одного роста с нею, и если бы не связанные руки и ноги . . .

— Я не понимаю, что вы хотите от меня? — сквозь зубы сказала она.

— Не притворяйся незнакомой, отлично понимаешь, что мне надо!

Он вмиг протянул руку к ее груди, сильно рванул и сорвал с нее платье с нижней сорочкой.

Она задрожала, хотела кинуться на него, вцепиться зубами в горло и не выпускать до тех пор, пока или не перегрызет или он не прикончит ее, но отдаваться живой на посмеяние она и не помышляла. И тут в ее голове скользнула фантастическая мысль.

— Развяжите меня! Ведь совсем неудобно со связанными ногами и руками, — сказала она тихо и даже с силой улыбнулась.

— Ну, конечно же, неудобно, я сам это думал. Я люблю, чтобы женщины при этом меня обнимали, а как же ты связанная можешь обнять? Вижу, ты умная девушка, — и он поспешно стал развязывать ее.

Почувствовав себя свободной от веревок, Катя приготовилась. И когда оберштурмфюрер на секунду наклонил голову, чтобы распоясаться, она в тот же миг выхватила у него висевший сбоку клинок. В следующий миг клинок был уже в груди немца. Последний слегка "ойкнул", упал навзничь и попытался одной рукой вынуть кли-

нок из груди, но девушка навалилась на него всей фигурой, вцепилась обеими руками в горло и не отпускала до тех пор, пока он не перестал дышать.

Дверь в бункер была закрыта и часовой, ходивший снаружи взад и вперед, ничего этого не видел и ничего не слышал.

— От одного зверя освободилась, но что же дальше делать? — прошептала сама себе Катя, став в позе победителя над поверженным врагом. — Оставаться здесь нельзя, придут, и наверняка скоро, другие звери и тогда мне и пискнуть не дадут. Выскочить наружу и бежать вслепую "на авось", тоже бессмысленно. — И тут она заметив свое платье на полу вспомнила, что она стоит сейчас обнаженной, но надевать свою разорванную одежду не стала.

Быстро стянув с мертвого оберштурмфюрера его шинель, сапоги и фуражку, она все это напялила на себя. Потом надела его пояс с кобурой и решила выйти. Она немного знала по-немецки.

Неуверенно приоткрыв дверь бункера, она оглянулась и твердым чеканным шагом вышла наружу с наклоненной головой.

— Может, гер оберштурмфюрер, сами уже прикончили эту шпионку? — спросил ее по-немецки часовой, не приближаясь.

Она молча кивнула головой.

— Я могу оставить это место и уйти теперь на отдых?

Катя опять молча кивнула головой и сделала жест, чтобы уходил. Часовой козырнул и ушел.

По дорожке между кустарниками Катя направилась к лесу и пройдя десятка два шагов, только хотела пуститься бежать со всех ног, как вдруг перед нею, словно из под земли, выросли два эсэсовца.

— Кто идет? Пропуск! — загородив ей дорогу, спросил один эсэсовец.

— Бисмарк! — ответила Катя, запомнив это слово сказанное оберштурмфюрером, когда тот шел к ней в бункер. Но от неожиданности она забыла в какой форме и сказала пропуск обыкновенным женским голосом. Эсэсовцы переглянулись и заподозрив неладное подошли к ней вплотную и осветили фонариком лицо. Из под фуражки выбивались девичьи косы и когда сняли ее головной убор, эсэсовцы ахнули:

— Наша арестантка! Что же случилось? — заговорил один. — А мы с Гансом только что думали о женском наслаждении, а это наслаждение само к нам пожаловало. Bravo, bravo! Все наши сейчас спят и разберут этот вопрос позже, а первое мы...

Опоздав воспользоваться револьвером в кобуре, Катя стала усиленно сопротивляться, но бороться с двумя огромными немцами ей было трудно. Они вскоре заткнули ей рот тряпкой и сдернули с нее шинель...

ГЛАВА 11.

Когда со двора казачьей сотни в городе Сунь немцы увели Катю в свой отряд, Григорий Княшко места себе не находил. В голове непрерывно сверлили осуждающие его слова Кати и он глубоко задумался:

"Станичница и двоюродная сестра, девушка-казачка назвала его изменником, предателем и негодяем, — думал он, вспоминая ее обвинения. — И отец мой родной не одобрил службу мою у немцев, а он же ведь белый эмигрант и сам боролся против красных в Гражданскую войну. Ничего не понимаю! Неужели я ошибаюсь и на самом деле являюсь мерзавцем и негодной тварью? Мне уже больше тридцати лет, а я еще не женился, значит "негодная тварь". И что теперь могут сделать с бедной Катюшей немцы?"

В его голове представилась вероятная картина, что вот немцы ее допрашивая бьют, истязают, мучают за ее любовь к своей Родине, потом раздев до гола, насилюют...

— О, нет, нет! До этого допустить нельзя! — прошептал он сам себе. Как бы она его ни оскорбляла и ни клеймила, но она ведь кровная моя родственница, девушка-казачка с родной Земли! И вдруг допустить, чтобы над ее телом насмехались фрицы, которых я тоже ненавижу?

Кроме жалости к родственнице, в нем непонятно почему вспыхнула еще и глупая ревность, когда он представил, что немцы могут ею наслаждаться.

"Надо как-то спасти ее, хотя бы и ценою собственной жизни, — думал он возбужденно. — Все равно моя жизнь не стоит ломанного гроша в базарный день, ее же жизнь ценнее, она имеет цель жизни, а моя цель... сли-

шжом туманная... Да что же я топчусь в бездельных рассуждениях, а уже вечереет и ее может этой же ночью и расстреляют, предварительно насмеявшись? Надо что-то предпринять, иначе я...

— Урядник Пятак! — крикнул он своему вестовому. — Проедем со мной к немецкому охранному отряду, маленькое дельце есть. Да и ракии надо будет им прихватить, фрицы ведь любят хорватский "шнапс".

Захватив флягу очищенной под крепость спирта ракии, они вдвоем сели на коней, выехали за город и вскоре были в становище эсэсовского отряда.

Сойдя с коней, они разыскали помощника командира отряда из "фольксдойчей" говорившего по-русски и передавая ему флягу с ракией, Григорий спросил:

— Сегодня ваши приводили к нам девушку-казачку Екатерину Шевченко, признанную советской разведчицей, и увели обратно. Что с ней сделали здесь и где сна?

— Пока ничего не сделали, — ответил фольксдойч, — но несомненно с ней скоро сделают то, что и с другими советскими парашютистками. Оберштурмфюрер сам допрашивал ее и ничего не добившись, приказал завтра расстрелять. Э, стоит ли говорить о какой-то советской шпионке. Давай-ка лучше выпьем того, что ты принес в фляге, — и достав три стакана он налил все до половины.

Все трое выпили до дна.

— А, где та шпионка находится теперь? — спросил Григорий.

— Вон в том бункере, специально для таких оборудованном, — и фольксдойч показал на замаскированную ветками землянку на опушке леса, возле входа, в которую прохаживался эсэсовский солдат с автоматом. Оглянувшись и внимательно посмотрев в сторону бункера, Григорий ничего больше не сказал. Выпив еще ракии, оба казака вернулись в Сунь.

Получив от коменданта города пароль на эту ночь, Григорий приехал к своим и узнав, что командир сотни из Берлина еще не вернулся, поставил посты в определенных местах, подошел во дворе к коновязи, сел на толстый пень и задумался. Он был против того, что говорила Катя, но в то же время и жалел ее. И он решил спасти ее, но как? Зная двух близких ему казаков, ко-

торые хотя и служили у немцев, но в то же время и ненавидели их, он решил поговорить с ними.

Отозвав обоих в сторону, Григорий тихо сказал им:

— Братцы-станичники, я хочу спасти жизнь нашей Кати Шевченко. Хотите помочь мне?

— Она не в нашем лагере, — сказал Василий Сергань, — но разве можно отказать в спасении девушки-казачки? Кто бы она ни была! Я с Серёгой тоже это думал недавно, но раз ты просишь, то не сомневайся: мы с тобой и в огонь и в воду готовы.

— Я и не сомневался, спасибо! Этой ночью...

После полуночи три всадника выехали со двора сотни и направились к стану немецкого отряда. Не доезжая сотню шагов, они остановились за стеной густых деревьев. На тропинке, ведущей к штабу отряда, они заметили немецкого дозорного. Шагов через десять прохаживался другой, но находились оба не в скрытом месте, а на тропинке, открыто. Оставив возле коней Сергея Петренко, Григорий и Сергань подползли с двух сторон незаметно к этим постовым и вмиг прикончили их без шума кинжалами. Вернувшись к коням, прислушались: кругом стояла полная тишина.

Привязав поводья коней к веткам деревьев, все трое пошли дальше, к штабу, одновременно по дороге оттянув в кусты убитых ими немцев. Уже в конце лесных зарослей, вблизи стоянки эсэсовского отряда, они вдруг, увидели троих борющихся между собой немцев. Два рослых немца старались повалить третьего, в офицерской форме, и этот третий отчаянно сопротивлялся; слышалось от него какое-то мычанье, как от немого, вероятно во рту последнего был кляп. И вдруг с этой третьей фигуры была полностью сдернута офицерская шинель и под ней обнажилось голое женское тело.

Григорий сразу же смекнул, что это могла быть "она". Не думая и секунды, он дал знак товарищам и те в миг прикончили кинжалами обоих эсэсовцев, не дав им и опомниться. Обнаженная девушка прислонившись к дереву в ужасе глядела на совершившееся.

— Не Бойся, Катенька, это я! — прошептал Григорий накидывая на нее шинель и вынимая кляп изо рта. Я приехал спасти тебя и, как удачно поспел сюда. Бежим скорее отсюда, бежим туда, куда прикажешь: я полностью в твоём распоряжении. И мои два казака с нами...

Катя, еще не веря своим глазам об избавлении от врагов такими же, по ее недавнему мнению, врагами, в недоумении с минуту молчала, натягивая и застегивая на себе шинель, но видя двух убитых ее истязателей, сразу же поверила Григорию и тихо сказала:

— Если это так, то слушай: бежим сейчас к нашему партизанскому отряду, тут не очень далеко. Только.. тут могут скоро спохватиться и нас пеших догнать, тогда что?

— Не догонят, мы не пешие! За деревьями стоят три наших коня. Сядешь на одного из них и все вместе помчимся. Скорее, пока не рассвело, айда!

Пробежав по тропинке несколько десятков шагов, они вскочили на мирно стоявших у деревьев коней — Катя с Григорием на одном коне, а те два на своих двух — и, выехав на дорогу, наметом понеслись в другую сторону от города Сунь, по направлению к селу Падина.

Промчавшись несколько километров по дороге они свернули в лес и некоторое время блудили по кривым тропинкам, то въезжали, то выезжали из леса и так больше часа. Направлением руководила Катя и никто ей не противоречил. И только, когда почти рассвело, в конце одной заваленной бревнами тропинки, они неожиданно наткнулись на два направленных на них советских автомата.

— Стой, стрелять буду! Руки вверх! — крикнул один по-сербски.

— Не стреляйте! Это я — Катя Шевченко! Направлялась в отряд Войтича! — сказала Катя, сняв немецкую фуражку.

— О, наша Катрюся вернулась! И в форме немецкого офицера! — послышался радостный возглас одного из тех, что держал автомат на изготовку. — А эти три немца с тобою, почему?

— Это не немцы, это казаки, мои земляки! Они теперь переходят служить к нам. Они-то и спасли меня этой ночью от гитлеровцев и на своем коне привезли сюда. Подробности об этом узнаете позже.

— Хорошо, товарищ Шевченко, — сказал серб. — Сойдите с коней, братушки, положите здесь на землю свое оружие и братка Дража проведет вас в наш штаб.

Казаки сошли с коней, положили на землю оружие и пошли с одним сербским партизаном по тропинке,

еще дальше в лесную глушь. С ними пошла и Катя в шинели, но без немецкой фуражки.

В замаскированной густыми деревьями землянке, возле неприметной двери, у которой стоял часовой, они увидели не только командование сербского партизанского отряда, но и двух, недавно присланных сюда советских инструкторов.

— О, наша Катя вернулась живой! — восторженно сказал один из сидевших за столом и вскочив подошел к ней, приглядываясь к ее обмундированию.

— Хвала Богу, живая, — добавил он, — а мы все решили, что наша милая разведчица попалась и, значит, капут. На тебе немецкая офицерская шинель! Что же случилось?

— Стучилось страшное и я действительно по своей глупости попалась тем, чья шинель сейчас на мне, — сказала Катя, — но подробности расскажу позже. Я очень измучилась и устала, и на теле под шинелью ничего на мне нет.

— Хорошо, потом расскажете. Скажите только, а кто это с вами пришел?

— Это казаки, мои станичники: помощник командира сотни из дивизии фон-Паннвица, Кияшко и его два товарища. Они то и спасли меня от смерти и теперь согласились перейти на службу к нам, разочаровавшись в фашистах.

— Это не та самая казачья сотня, что когда недавно мы окружили группу старых эмигрантов Белого корпуса, напала на нас с тыла, расстроила наши ряды убив двадцать два наших бойца и ранив больше тридцати? — серьезно поглядев на казаков, спросил другой сербский командир.

— Возможно то была и наша сотня, — немного замямвшись, сказал Григорий. — Сотня послана была на помощь остаткам окруженного полка из Белого Русского корпуса. Мы тогда спасли этот полк от уничтожения, а партизаны отступили. Известно, бой без убитых и раненых не бывает. В полку старых корпусников потери были еще большие.

— И потом вы пошли вместе пировать победу в город Сисак?

— Да, в тот день мы обедали вместе с ними в Сисаке. И я в том полку встретился со своим отцом, эмигран-

том с двадцатого года, почему и согласился пообедать вместе.

— Выходит совсем некрасиво: отец, бывший белогвардеец, продолжает бороться за старые порядки против народного движения, и сыночек пошел по отцовской дорожке, став изменником советской Родины, — заметил угрюмо советский инструктор.

— Человеку свойственно ошибаться, но сегодня я ваш и пришел к вам добровольно, — оправдывался Григорий. — Минувшей ночью мы уже уложили четырех эсэсовцев и уложим еще не одного...

— Вы, товарищи, не очень придирайтесь к моим станичникам, — вмешалась в разговор Катя. — Не ошибался только тот, кто еще не родился, на ошибках учиться надо, так говорил товарищ Сталин. Хлопцы еще молодые, наши орлы Кубанские...

— Хорошо, товарищ Шевченко, отставим пока это, — сказал партизанский командир. — Идите в нашу хозяйственную землянку, там найдете и женскую одежду, переоденьтесь и отдохайте. Потом составите подробный рапорт о всем случившемся с вами. Прибывшие с вами казаки, конечно останутся у нас, но мы должны ближе познакомиться с ними и произвести небольшую проверку...

И Катя ушла из командирской землянки, приветливо помахав рукой Григорию и двум казакам.

После ее ухода, казаков перевели в другую, тоже хорошо замаскированную землянку, но без всякой обстановки, закрыли дверь на замок и поставили у дверей охрану. Документы ихние отобрали еще в первой землянке....

ГЛАВА 12.

— Дослужились, братцы, — глубоко вздохнув и садясь на пол землянки, сказал Григорий Кияшко. — Расправились с несколькими немцами, пришли к своим, а свои заперли нас под замок. И что теперь будет нам?

— Ничего не будет, — уверенно сказал Сергей Петренко. — Ничего удивительного: служили у немцев против красных, явились в немецкой униформе, что ж ты думаешь, так нам сразу и поверят? Проверка нужна, а потом впишут в свой отряд, вот и все.

— И проверять то нас не особенно трудно: они теперь точно знают, что это наша сотня покорежила их отряд, убив несколько красных партизан; они знают теперь и то, что мой отец в Белом корпусе и тоже воюет против ихних партизан.

— А зачем ты сказал им про своего отца? Они сами, может, и не дознались бы этого.

— Я и сам не знаю, с чего эта дурь мне вскочила в голову. Ясно не надо было упоминать об отце, они же про это и не спрашивали. Ум за разум зашел, а скорее всего, что ум был в г...

А заметили, друзья, что у них в отряде и наши советские комиссары есть, — сказал Серьгань, — и не только те, что в землянке сидели, но и снаружи ходили наши.

— Наши они или не наши, но видно, что советские. Что ж, идет общая борьба против общего врага, и взаимная помощь нужна. Помолчим мы до завтра, а потом потребуем для объяснения Катю. Фактически, вель через нее мы здесь очутились. Нам все равно возвращаться в сотню уже нельзя было. Да, кажется, сегодня вернется из Берлина командир, непримиримый антибольшевик есаул Назаренко, и сотня отправится в свой 3-й Кубанский полк в район села Падина. Представляю, какой там в Сунь теперь переполох! Эх ты, сеструшка, Катюша, что ты сделала со мной?

И забыв про свое положение, он вдруг запел:

"Расцветали яблони и груши, полегли туманы над рекой..." Сергей и Сергань подхватили:

"Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой..."

И тут они услышали, что часовой снаружи тоже подпевает вместе с ними эту песню. Но он спел только один куплет, потом подошел к двери и не открывая, сказал:

— Ребята! Я знаю, что вы из наших и любите эту песню, так же, как и я, но петь здесь не разрешается. Лучше перестать, а то влетит и вам и мне.

И они перестали. Говорил невидимый за дверьми постовой чисто по-русски, видно было, что он не серб.

Под вечер им принесли в землянку рисовую кашу с "чевапчиками" обжаренными на огне кусочками мяса, по кружке кофе, сводили тут же рядом в клозет, но об их дальнейшей судьбе не сказали и слова.

Настала ночь, вторая ночь, как они уехали из сотни.

И вдруг в щелку двери упала на пол нацарапанная карандашом записка:

"Ребята! Один из вас, Григорий Кияшко, на рассвете будет расстрелян... Два других будут отправлены в штаб Тито, а потом в СССР. Через полчаса меня сменит серб, который сейчас пьет ракию и будет полупьян. Спасайтесь, если сможете..."

— Вот и дослужились! — прошипел Григорий, прочитав над освещенной дверью записку. — Но живым, я все равно не дамся!

— Видно среди них есть сочувствующие нам, что подсунули записку? — сказал шопотом Сергей. — Вероятно это написал тот боец, что подпевал с нами "Катюшу".

— Катюша! Все из-за нее! И неужели же она не может вступить за нас? — сказал Сергань. — Она же у них известная разведчица!

— Кто же теперь будет слушать Катю, когда мы виновны по всем правилам закона военного времени? — нервно оглядываясь во все стороны шептал Григорий. — О своем приговоре они ей докладывать не будут и она, наверняка, и не знает ничего. Скорее всего, что ее даже умышленно послали куда-нибудь, чтобы не была здесь...

Поговорив с полчаса, они услышали, что за дверями землянки сменился караул.

Ожидая с минуты на минуту прихода исполнителей, Григорий нервно стал крутить большую цыгарку и многочисленные планы спасения, один глупее другого, чередовались в его голове. Как спастись?

— Братка, дай спичку прикурить! — заглядывая в щелку двери, сказал он находящемуся снаружи караульному.

— Спичек нет у меня, братушка, только зажигалка, — сказал тот.

— Все равно, можно прикурить и от зажигалки.

Приоткрыв дверь, вооруженный серб черкнул колесиком своей зажигалки и поднес огонек к цыгарке во рту Григория. От него несло ракией и просто удивительно, что такого допустили на пост. Примериваясь прикурить, Григорий вместо этого в тот же момент изо всей силы ударил его носком сапога ниже живота. Последний слабо "ойкнул" и приседавая выпустил из рук автомат. Вмиг его добила и втащила в землянку.

Недолго думая, Григорий натянул на себя все его обмундирование, взял в руки автомат и осторожно выглянул в дверь. Вблизи никого.

— Теперь еще поборемся! Все равно кого бить, лишь бы бить, — повторил он те слова, которые говорил недавно своему отцу.

Петренко и Сергань, шли держа позади руки, как арестанты, а Григорий в партизанском обмундировании и держа автомат на изготовку, шел следом за ними, вроде как-бы куда-то их конвоировал.

Пройдя мимо землянок благополучно, они свернули в лес, но тут вдруг в нескольких шагах впереди увидели привязанными под шалашом из веток три лошади и возле них два вооруженных партизана. Скорее всего, что это были их лошади, на которых они прибыли из Сунь.

— Стой! Пропуск! — крикнул один из партизан.

— Громко нельзя говорить пропуск, враги могут услышать, — сказал Григорий и подошел к ним вплотную.

— Наш пропуск сегодня, — и с этими словами он стукнул его прикладом в подбородок, а потом размахнувшись автоматом, добил. Другой не успел и опомниться, как на него навалились два "арестанта", оглушили его же прикладом винтовки и обезоружили.

Вскочив на оседланных коней, все трое помчались к городу Сунь.

Они договорились скрыть полностью свои действия последнего времени, сказать, что гуляли и пьянствовали у "гулящих" сербок, и хотя за это взыскание тоже было бы строгое, но, конечно, не расстрел. Но во дворе, где они оставили сотню, расхаживали четники Михайловича, а казаков — никого. Оказалось, что командир сотни есаул Назаренко днем прибыл из Берлина и сразу же ушел с сотней в сторону села Падина, попросив командира эсэсовского отряда разыскать его трех казаков.

Что делать? Не думая о последствиях, Григорий и его товарищи помчались в этот немецкий отряд.

В штабе эсэсовского отряда сидел новый начальник, в чине хауптштурмфюрера и рядом с ним стоял тот же переводчик из "фольксдойчей".

— Хайль Гитлер! — приветствовал его Григорий.
— Мы сейчас убежали из красного партизанского от-

ряда. Я был приговорен к расстрелу, вот записка, которую кто-то из сочувствующих просунул нам в щелку двери, — и он подал ему записку.

— А как вы оказались в партизанском отряде? — не глядя на записку, спросил через переводчика хауптштурмфюрер.

— Мы защитили от насмешек и отвезли туда девушку Катю, мою сестру, но нас там арестовали...

— Катю? Не ту ли советскую шпионку, что убила в землянке нашего оберштурмфюрера?

— Наверное ту самую, потому что другой Кати тут не было.

— Возможно вы те самые три казака-негодяя, что из-за этой шпионки убили моих четырех солдат?

Григорий замаялся, но свалить вину было не на кого, и он сказал:

— Яволь! Мы это сделали из-за спасения той же девушки, но этой же ночью мы уже уничтожили трех партизан, и еще...

Хауптштурмфюрер молниеносно выхватил браунинг и в упор выстрелил в Григория, не дав ему договорить последней фразы.

Как подкошенный колос грохнулся на пол Григорий, успев только прошептать: "Катя... тато...", — и замолк.

Петрашко и Серганя тут же связали, вывели из штаба и посадили в тот же бункер, где сидела Катя. Что с ними стало дальше — неизвестно...

Так и погиб бесславно Григорий Никифорович Кияшко, метавшийся из одного лагеря в другой, так до конца и не решивший: За что надо сражаться? Кому служить?

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ГЛАВА 1.

Казачи Северного Кавказа, эвакуировавшиеся вместе с отступавшей немецкой армией, некоторые со своими семьями, в конце 1943 года на сотнях подвод прибыли в Западную Белоруссию и остановились в районах Новогрудок и Барановичей...

Вскоре из лагеря военнопленных в Пскове, прибыл в Барановичи и Петр Тарасович Кияшко.

В этом разношерстном становище в Барановичах, он встретил тысячи беженцев с родного Кубанского Края и других казачьих областей. Только с одной его Старо-Минской прибыло около семидесяти подвод; из соседних станиц Уманской, Канеловской и Ново-Минской тоже не меньше.

Одни бежали с отступавшими немцами добровольно, боясь советского возмездия за сотрудничество с врагом; другие, под угрозой своих полицаев — расправиться с ними, — вынуждены были эвакуироваться, а третьи — и сами не знали почему они очутились в этом передвижном казачьем стане, далеко за Пределами своего родного Края.

С понятным животным страхом бежали от наступающей Красной армии все новоиспеченные при немцах "атаманы", бывшие полицаи, дезертиры и некоторые темпераментные реставраторы старых порядков. Слишком наивно они поверили в "непобедимость" армии "Великогермании" и некоторые позже сильно раскаивались за такую свою наивность...

Через несколько дней после прибытия в Барановичи, Петр встретился с "атаманом" своей станицы (при немцах), Федором Костенко, заслужившим нехорошую славу пьяницы и бабника. Станичники говорили, что даже во время своего "атаманства" (три месяца) его находили в канаве под забором вдребезги пьяным. Днями и ночами, он и его помощники из полиции, разъезжали на линейке с гармошкой по улицам станицы и пьянствовали до потери сознания.

— Федор Алексеевич! — встретившись с этим "атаманом", спросил Петр. — Не можете ли сказать, кто из нашей семьи эвакуировался из станицы вместе с вами?

— Ничего не знаю! Из ваших родственников кажется никто не ехал с нами при эвакуации из Старо-Минской, — ответил Костенко.

— Неужели никто? Ни Даша моя с сыном Федей, ни Наталка, и из семьи Шевченко никто?

— Шевченки и не жили в станице, а в Донбассе. Вашей же семье, если бы они и хотели, то и выехать было не с кем. Моя Самойловна и жена начальника полиции Кривича и те остались в станице. Даже своих жен мы не смогли вывезти, а о других не было времени и думать. Очень спешили.

— А шо ж это за бабье вокруг нас копошится, смотрите, сотни!

— Сумели своевременно приобрести подводы и лошадей и вот на своем тягле выехать.

— На "своем", говорите? А откуда же у них могло взяться "свое тягло"? Лошади были только в колхозах, в частном пользовании ни у кого не было!

— Наши отъезжающие казаки самовольно забирали в колхозах и лошадей, и подводы, и все, что нужно и власти им не препятствовали. Ведь и колхозное живое имущество образовалось-то из нашего же казачьего добра. Потом, когда двигались через Украину, то наши и в украинских колхозах кое-чем поживились. Теперь у некоторых наших беженцев по пять-шесть своих лошадей и подводы.

— Вернее, не своих, а награбленных в Кубанских и украинских колхозах.

— Как хотите, так и считайте.

— Так, так... Значит, никого из рода Кияшковых не выехало с вами? Костенко сосредоточенно стал думать.

— Постой, постой! — спохватился он. — Да ведь Григорий Кияшко то выехал же с нами! Он служил в Красной армии, под Кущевкой попал в плен к немцам, но его сразу же освободили и он явился в станице. Начал тоже сотрудничать с немцами, а значит, при эвакуации побоялся оставаться и был даже во главе обоза станичников. Но когда прибыли на Украину, он отказался состоять в "бабском войске", как он выразился о нашем становище, и по разрешению немецкого коменданта, с

полусотней казаков выехал в казачью дивизию фон Паннвица, куда-то в Польшу.

— Вот видите, значит один Кияшко, мой племянник Гриша, на этой стороне. Мне тоже не хочется быть в этом "бабском войске", и я тоже уйду на живое дело...

Во время этого разговора, к ним подошел бывший атаман "показательного" Уманского Отдела при немцах. Это был казак старшего возраста, лет под семьдесят, но еще бодро держался и в кубанской черкеске, с большими запорожскими усами, в шапке-кубанке выглядел не хуже тридцатилетних.

— Здравствуйте, станичники! — приостановившись приветствовал он Кияшко и Костенко. — Про што вы тут балакаете?

— Та от бачытэ, Трохым Сыдоровыч, — сказал Костенко, — наш дорогой станишник хорунжий Кияшко, узнав, шо Григорий Никифорович ушел от нас, тоже не хочет быть в нашем "бабском войске", а думает отправиться вслед за племянником в Казачью дивизию фон Паннвица.

— Никуда вы, Петр Тарасович, от нас не поедете, — сурово сдвинув сильно отрошенные с сединкой брови, сказал Трофим Исидорович. — Нам очень нужны сейчас такие люди, как вы, чтобы пресекать некоторых, слишком разнуздавшихся казачьих беженцев. Да и поздно-вато вам идти в боевую дивизию, там в основном молодые казаки. Сколько ваша жизнь уже налепила годков?

— Та... сорок восьмой уже прилепился, — поморщившись, сказал Петр.

— Вот видите, куда же вам! В Первую дивизию принимают казаков в основном не старше тридцати лет, некоторые тридцати пяти. Так вот, хорунжий Кияшко: вместо вашего племянника Григория, станете у нас старшим над беженским обозом из Уманского отдела. Только вы можете там навести порядок, но хотя вы будете и в обозе, как вы сказали в "бабском войске", но винтовки из рук никогда не выпускайте: кругом нас рыскают белорусские партизаны, всех нас страшно ненавидят и нередко сурово расправляются. До этого обозным начальником был у нас станичник Пятак Иван Васильевич, но его недавно назначили адъютантом командира нашего Кубанского полка. Тут есть много наших хороших станичников: Фоменко Александр, Волик Иван, Яценко Никита, Пятак Михаил, Мороз Иван, Якименко Федор,

Шавлач, Ганжула, Кононенко Пантелей и другие. Из них любого берите себе в помощники. Наведите порядок тут, а то некоторые слишком разнуздались, много и вольготно безобразничают. Надо следить и одергивать таких молодчиков, — и бывший атаман Уманского отряда пошел дальше.

Петр и сам понимал, что по возрасту его в казачью дивизию не примут, да кроме того ему совсем не хотелось служить в дивизии немецкого генерала. И он остался в Казачьем стане среди своих людей. Вскоре он переехал в Новогрудок, где тоже было много своих казаков и где находился штаб Походного атамана, полковника Павлова.

Кого в Казачьем стане он только не встретил! И знакомых и незнакомых кубанцев, многих сослуживцев не только по Белой армии, но даже и по Кавказскому фронту в Турции, служивших с ним до 1917 года...

Однажды пробираясь между подводами и задумавшись, он чуть не столкнулся с Оксаной.

— Свят, свят... кого я вижу! — воскликнул Петр, расставив руки и широко открыв глаза. — Та чи то правда, ты, Оксаночка, чи то может мне так мерещится?

— Боже мой, Петро Тарасович, и вы тут!? — и Оксана в радостном порыве подбежала к нему и прижалась, потом оглянувшись, отступила немного.

— Как видишь, и я тут оказался, — улыбаясь, сказал Петр. — В этом казачьем сборище, скорее похожем на "бабское войско", кого только не встретишь: тут больше знакомых, чем было на нашей Ивановской ярмарке. Прибыла сюда тоже на подводе?

— Ясно на подводе, не на ароплане же: вместе с нашими староминцами и ехали.

— Очень приятно, что ты староминцев тоже считаешь "нашими". Одна прибыла, или еще с кем, другим?

— Я прибыла сюда с казачим обозом вместе с мужем. Сын, Петрусь, с первых дней войны был призван в армию и... пропал без вести. И живой ли он вообще, не знаю.

— Жаль, жаль! Помню твоего хлопчика Петруся, когда оказался в твоей хате при поездке за саженцами в Ленинское лесничество. Э... Оксаночка, как тебя правильнее величать надо теперь?

— Как была, так и осталась Оксаной Терентьевной.

— Это так, но фамилия то твоя теперь другая? Не

Кислая, и не Токарева? Мужа то твоего как фамилия?

— А, мужа? Муж, Иван Павлович Мищенко, следовательно и я Мищенко. Он казак станицы Канеловской. Я стала его женою после того, как вы, Петр Тарасович, в усадьбе Токарева, вернее у меня, доставали саженцы. И вот при немцах его выбрали в атаманы станицы, а из-за этого нам пришлось теперь оставить край родной и бежать с казачим обозом. Он очень хороший человек и добрый муж. Куда там первому мужу, деникинцу Токареву!

— Не спорю, ведь другие всегда кажутся лучше, — и Петр улыбнулся.

— Не говорите глупостей, Петр Тарасович, я сказала правду.

— Шо ты это, Оксаночка, сегодня таким серьезным тоном балакаешь? Мы же ведь старые знакомые и одноклассники. Ни разу даже не захохотала, как когда-то и мне то очень нравилось.

— Хохотала . . . когда-то, — и Оксана глубоко вздохнула. — Тогда нам было по восемнадцать лет и о завтрашнем дне мы даже и не думали. Теперь же я уже старуха, под пятьдесят подбирается, не до веселья.

— Ну и сказанула, "старуха"! — и Петр пристально на нее поглядел. До пятидесяти ей оставалось теперь два года, но постарела она мало: и лицо и стан по-прежнему были привлекательны. Правда, немного потолстела, да над переносицей две морщинки появились, но волосы оставались такими же темными, густыми, и без единой сединки.

— Шо ты, Петрусь, так меня разглядываешь? Первый раз видишь? — заметив его пристальный взгляд сказала, улыбнувшись, Оксана, обнажая ряды прежних белоснежных зубов.

— Да вот гляжу я на эту "старуху" и не вижу никакой перемены в ее внешнем виде. Вот ты назвала меня сейчас по-старому, "Петрусь", и я сразу же вспомнил все наше "старое" и приятное. Скажу правду: от такой "старухи" я и теперь не отказался бы.

— О, нет, дорогой станичник! Если я необдуманно сказала "ты" и "Петрусь", то это вовсе не значит, что начну опять гоготать, а ты будешь дразнить меня "Дурносмихом" и думать, как бы опять "позабавиться". То прошло и больше не придет. Ты и парубком, и когда встречался со мною позже, то у тебя на уме было толь-

ко одно: как бы... И не только на уме, а иногда и... на деле.

— Если бы того же самого не было бы и у тебя на уме, то не доходило бы и... до "дела".

— Гм... может и правда, иногда и у меня на уме было тоже, что и у тебя. Хи-хи! Но не всегда. Когда я, рискуя жизнью, на кладбище сообщила тебе о личности Закидальского, то разве об этом тогда думала?

— Правда, Ксюша, правда! Вот за такое твое доверие ко мне, ты мне и нравилась всегда. И раньше, и теперь. Но вот что: про Закидальского не напоминай здесь и слова. Никому! Ты знаешь в каком лагере мы находимся? Тут можно встретить даже сослуживцев полковника Токарева — Закидальского, могут поинтересоваться причиной его гибели, и тогда нам обоим не сдобровать. Понимаешь, Оксаночка?

— Понимаю, Петрусь, хорошо понимаю. Об этом знает только Ваня, мой муж, но он порядочный и добрый человек, я об этом уже говорила: его бояться нечего.

— Но все же и мужу ты не все рассказывала, хотя бы о нашем прошлом?

— А зачем ему это рассказывать? — вопросом ответила Оксана. — То нам с тобой, кое-что о прошлом приятно вспомнить. Помню, как ты с Николаем Шевченко заехал к нам при отступлении белых, как потом... Гы-гы-гы! Ха-ха-ха!

— Вот такой твой смех люблю, Оксаночка, честное слово! И, конечно, не забыла, как я за саженцами ехал в Ленинское лесничество, а очутился в твоей хатенке? Может и отцовскую коноплю в ночь под Ивана Купалы помнишь?

— У, лукавое наваждение, все помнит! Гы-гы-гы! Про коноплю отставим, а вот когда за саженцами в лесничество ехал и очутился у меня, то я тогда три года ждала тебя. Я была одинокой вдовушкой, и не старой еще. Ты еще на кладбище по нашему уговору обещал меня навестить, правда ведь?

— Правда, Ксюша, обещал. Я обязан был заехать к тебе и искренне поблагодарить тебя за твою смелость и риск из-за меня. Я всегда с благодарностью вспоминал тебя, бо кто знает, если бы не твой риск, то может меня и на свете давно бы уже не было. Ты была доброй для меня во всех отношениях...

— Поблагодарил! Гы-гы-гы! Ха-ха-ха!

— Да, поблагодарил так, как ты пожелала... Я и теперь, встретившись вот с тобою почти через двадцать лет, хотел бы повторить такую же "благодарность" тебе, но...

— Никаких "но"! — вдруг сразу переменявшись, строго сказала Оксана. — Что было, то прошло и былью поросло. Кто из наших не грешил в те молодые годы? Но больше об этом, Петр Тарасович, и не помышляйте! Если я загоготала, то это не значит, что я прежний "Дурносмих". Забудьте все прежнее. Я люблю своего мужа и он заслуживает того, чтобы я была только его и думала только о нем и в любых условиях. Вспоминать грехи юности, конечно, втихомолку можно, но только вспоминать, а не повторять. Ведь и молодость не повторяется. Останемся только добрыми друзьями, дорогой станичник, Петр Тарасович, и больше о мне никогда ничего не думайте! Прощевайте, — и повернувшись, она ушла от него без оглядки.

— Ты дывысь, яка стала! И где она так научилась ораторствовать? — с ехидцей проговорил про себя Петр, потом серьезно добавил: — А все же она очень правильно ответила мне и трезво рассудила о прошлом. Молодец! Хорошая баба!

Он еще раз с умилением посмотрел ей вслед, почесал за ухом и со скрытой улыбкой медленно пошел в обоз беженцев к своим станичникам...

ГЛАВА 2.

Весной 1944 года штаб Походного атамана полковника Павлова и люди Казачего стана находились в городе Новогрудок, хотя семейные размещались и в окрестности, до самого Барановичи.

В лесах и во всех районах Западной Белоруссии в то время развилось сильное партизанское движение против немецких оккупантов, а так как появившиеся казаки тоже оказались союзниками немцев, то партизаны стали бороться и против Казачего стана Павлова.

Однажды полусотня донских казаков под командой сотника Замулина, окружила небольшой отряд белорусских партизан, действовавший немного севернее Новогрудок. При интенсивной перестрелке огнем партизан

сразу же было убито два казака и около десятка ранено.

Казаки спешились, коней увели к лесной опушке, а сами залегли среди кустарников и открыли по партизанам сильный ружейный и пулеметный огонь. В то же время часть казаков незаметно приблизилась с другой стороны к партизанам, чтобы полностью взять их в кольцо и принудить к сдаче. Во время полуминутного затишья, казаки стали громко кричать партизанам:

— Сдавайтесь! Если не сдадитесь, мы вас сейчас всех как куропаток перестреляем! За кого вы, дураки, боретесь?

— Мы сражаемся за Родину и никогда вам не сдадимся! — послышался ответ партизан.

— Не за Родину, а воюете вы за Сталина, которому начхать на ваш Белорусский край.

— А вы за кого воюете? За Гитлера? Так ему еще больше начхать и на вас, и на всех славян. Вы предатели, изменники и сами не знаете за что и за кого вы воюете!

— Мы сражаемся не за Гитлера и не за Сталина, как это делаете вы. Как на советской стороне, так и на ваших всех плакатах только и красуется лозунг: "Вперед, за Сталина!" Но на казачьих плакатах вы нигде не увидите лозунга: "Вперед, за Гитлера", а только одно: "Вперед, за Край родной!" Сдавайтесь сразу же нам и будьте нам союзниками, а не врагами. Мы обещаем вам жизнь и свободу!

— Мы здесь в лесах никаких плакатов не читаем, ни ваших ни наших, но мы знаем за что боремся и погибаем. Мы до последнего будем бороться за свободную Белоруссию, за свободу всего советского народа, сражаемся против оккупировавших наш край фашистских насильников, грабителей и убийц. Вы союзники Гитлера и мы никогда не сдадимся гитлеровским прихвостням: вы тоже грабители и насильники...

Пока велась эта перебранка казаков с ничего не подозревавшими партизанами, сопровождаемая редкими выстрелами с обеих сторон, около взвода казаков "по-пластунски" незаметно подползли к партизанам с тыла и внезапно атаковали их. Оказавшись окруженными, партизаны и тогда не сдавались, а вступили в неравный рукопашный бой, что равносильно было самоубийству.

Партизан было всего десятка два и в основном стар-

шего возраста; больше половины их сразу же были убиты. Только пять из них было взято в плен живыми, из них один с большой крестьянской бородой старик. Всем пленным партизанам связали за спиной руки веревками и решили отправить их в штаб, в Новогрудок, для допроса.

Когда выходили из леса с места боя, партизан-старик с крестьянской бородою, оглянувшись на своих убитых товарищей, как-то торжественно сказал:

— Они сражались за Край Родной! Они погибли за волю и правду своего народа, царство им небесное!

Он поклонился в их сторону, потом дернул правую руку, чтобы перекреститься, но рука была связана за спиной и партизан грустно опустив голову, молча шел в окружении казаков.

Партизан привели в Новогрудок и заключили в отдельно стоявший на окраине города деревянный домик, служивший арестным помещением при штабе, с наглухо забитыми ставнями на окнах, и поставили охрану.

Увидев вталкиваемых в дверь домика партизан, начальник карательного отряда есаул Водянькин, сказал командиру полусотни:

— Зачем живыми привели сюда этих лесных бандитов? Надо там на месте всех их кончать, а не нянчиться с ними!

— Господин есаул! Мы думаем, что эти старики могут рассказать нашему следователю и про другие отряды здешних партизан, вот для этого мы их и сохранили живыми, — ответил сотник Замулин.

— Как не так! От белорусско-сталинских бандитов никогда не дождешься правдивой информации о красных партизанах, все они заядлые советские патриоты, — заметил с усмешкой Водянькин, потом немного подумав, добавил:

— Хорошо, пусть побудут в этом домике до расследования, а расправиться с ними мы всегда успеем. Только поставьте вокруг крепкую охрану, а то в лесах наверняка еще остались их товарищи и могут рискнуть ради их освобождения.

— Так точно, господин есаул! Охрану поставим крепкую...

В группе есаула Водянькина в это время находился и сотник Багачев, который пристально поглядел в сто-

рону домика с обреченными партизанами, но ни слова не сказал.

Сразу по прибытии Казачего стана в Новогрудок, при штабе полковника Павлова появился донской казак сотник Багачев. Он хорошо знал немецкий язык и служил как переводчик, кроме того имел еще специальность топографа. При каких обстоятельствах он появился среди казаков, мало кто интересовался. "Прибыл с Дона вместе с павловцами, — думали многие. В мае месяце у него оказалась, неизвестно откуда появившаяся, молоденькая жена, которая хорошо умела печатать на русской и немецкой машинках и тоже стала служить при штабе машинисткой. . .

17 июня 1944 года в районе Новогрудок случилось трагическое для всего Казачего стана событие. В этот день полковник Павлов и его помощник Доманов решили лично проверить дорогу от Новогрудок в сторону Белостока, чтобы убедиться, действительно ли в том направлении так много партизан. С двумя сотнями казаков и переводчиком Багачевым они вышли из Новогрудок и направились в ту сторону, где должны были встретиться с другими казачьими частями, но они совсем не знали, что кроме красных белорусов, там орудуют и антисоветские партизаны-белорусы Рагулевского полка, хорошо вооруженные немцами. Части белорусского Рагулевского полка боролись и против красных, и против немцев в последний год, а иногда и против казаков, но открыто против казачьих частей не выступали. Вернее они боролись за независимую Белорусскую республику.

По какой-то странной случайности отряд Павлова стал двигаться не по той дороге, что намечалось и попали как раз в то место, где находились в засаде части Рагулевского полка, ожидая появления своих земляков-белорусов красных партизан, чтобы встретить их огнем.

Когда павловцы стали приближаться к этому месту, засевшие впереди "рагулевцы", не зная, кто подходит, выпустили три сигнальных ракеты, на которые надо было немедленно дать такой же сигнальный ответ. Но ни ракет, ни ракетницы в отряде Павлова не оказалось. Через полминуты из засады раздался ружейный и пулеметный огонь рагулевцев.

Многие казаки в панике кинулись в рассыпную, бросились спасаться в "куветы", но полковник Павлов,

желая показать пример паникерам, один кинулся в атаку в сторону стрелявших и вмиг был сражен пулей, попавшей прямо в голову. И тут же рагулевцы, обнаружив свою ошибку, прекратили стрельбу, но было уже поздно: Походный атаман полковник Сергей Васильевич Павлов был мертв...

Похороны полковника Павлова в Новогрудок совершались весьма торжественные, с отдаением воинских почестей. Он был положен в алюминиевый гроб, который при отступлении из Белоруссии казаки закопали в лесу в секретном месте, надеясь на скорое возвращение. Посмертно полковник Сергей Павлов был произведен в генерал-майоры.

После смерти Павлова, Походным атаманом Казачьего стана был назначен его помощник войсковой старшина Тимофей Иванович Доманов, донской казак из станицы Мигуленской. Доманов до прихода немцев все время жил в Советском Союзе, но в Гражданскую войну служил офицером в Белой армии, в отряде генерала Гусельщикова, с которым и отошел к Новороссийску, но эвакуироваться не успел из-за болезни тифом. Его красные не тронули и по выздоровлении он вернулся на Дон, разумеется без погон...

При расследовании о причинах гибели атамана Павлова, обвинили сотника Багачева. Вначале ему вменили в вину только то, что он, будучи топографом и проводником, повел отряд не по той дороге, что намечалось. Потом произвели обыск в его квартире и нашли компрометирующие документы, указывавшие на его связь с советской разведкой. Его молодую карасавицу-жену заподозрили, что она вовсе не жена, а сброшенная на парашюте в тылу врага советская разведчица и сумевшая пристроиться при штабе Казачьего стана в Белоруссии.

Казачьи следователи признали обоих советскими шпионами, приговорили к смертной казни через повешение, но казнь отложили до следующего дня, надеясь что-то еще выведать от осужденных. Их заточили в тот самый домик, где томились пять белорусских партизан.

Окна и двери домика с арестантами были на крепких железных прогонах на ставнях снаружи, а вокруг стояла усиленная стража.

Немецкая армия на Восточном фронте терпела поражения и с боями отходила на запад, а Советская армия каждый день приближалась к району Новогрудок.

Не прошло и дня после осуждения Багачева и его жены, как весь Казачий стан, находившийся в районах Барановичи и Новогрудок, вынужден был спешно эвакуироваться на запад, опасаясь скорого появления красных.

При этом не забыли и про домик с арестантами. Не имея на этот счет никаких указаний от начальствующих лиц и не придумав больше ничего другого, группа исполнителей приговоров в Казачем стане окружила домик и всех там находившихся умертвили страшной казнью.....

ГЛАВА 3.

Движение Казачего Стана из Западной Белоруссии шло по дорогам Польши и дальше на юго-запад до самой Северной Италии, где немецким командованием была выделена территория, для расселения казачьих семей по итальянским городам и селам.

Километров на пятнадцать в длину был растянут по дороге обоз эвакуировавшихся с Северного Кавказа. В обозе были не только казаки и их семьи с Дона, Кубани и Терека, но и ставропольцы, горцы, калмыки и другие.

С обозом Казачего Стана шли и казачьи запасные полки, — два Кубанских, один Донской и один Терский, — но эти полки походили на "Бабское войско", как о них некоторые говорили в насмешку. И в самом деле: на подводах сидели старики, женщины и дети; кудахтали куры, мычали привязанные за возами коровы, а кое-где визжали даже поросята. На некоторых возах разногласо визжала гармошка и там же, возле бутылок и фляг с самогоном, сидели беззаботно мужчины и женщины, пили крепкое зелье прямо из горлышка и на все лады пьяными голосами тянули разные песни.

При движении обоза по Украине, Белоруссии и "Речи Посполитой", у многих беженцев заметно прибавился конский состав. Безлошадных почти не оставалось, а у некоторых "смекалистых" оказывалось и по четыре-пять лошадок, привязанных за поводья сзади и по бокам подводы...

Начальствующие лица в Казачем обозе всякие мажордерства строго пресекали и виновных наказывали, но

сопровождаявшие обоз немецкие офицеры, глядели на это сквозь пальцы и даже потворствовали этому...

Казачков со своими женами в Казачьем стане было сравнительно мало. В основном были молодые казаки-одиночки, которых проблема женского пола занимала все время. Не переставая хлестать самогонку, некоторые в то же время не глядели безразлично на любопытную и зазевавшуюся молодую полячку. Некоторые при этом сразу же сходили с возов, шли во двор, якобы по "малой надобности", потом обманом зазывали такую "зеваку" за постройки и там насиловали.

Петр Кияшко ехал во главе обоза из Уманского отдела и строго следил, чтобы никто из его казаков никого не грабил и не обижал мирного населения, но за все-ми углядеть, конечно, было трудно.

Однажды он заметил, как сидевшие на возах впереди него три казака сошли на землю и направились в ближайшую хату одного поляка, мимоходом буркнув, что "хотят воды напиться". Петру показалось это подозрительным и минуту подождав, он тоже пошел в ту же хату. Рывком открыв дверь, он увидел следующее: перед пожилыми мужчиной и женщиной в углу комнаты стоял с обнаженным браунингом один из бывших полицаяев, а два кругих казака тут же на полу силой стягивали нижнюю одежду с молодой кричавшей девушки, вероятно их дочери.

— Стой! — крикнул Петр и выстрелил вверх. — Вы люди или бандиты? Марш отсюда, иначе перестреляю всех здесь на месте! Вон!

— Господин хорунжий! Чего ты так кричишь, да еще и стреляешь? — подымаясь на ноги, огрызались насильники. — Чего это тебе вдруг этих " пше- пше " паняночек жалко стало? Они же наверняка и с партизанами водятся? Тебе што, постарел, и на ум, может, "это" и не приходит, а мы еще молодые, в походе "изголодались", как же нам дальше быть "без этого..."?

— Вон отсюда! Мы еще требуем, чтобы местное население на нас хорошо глядело? Их грабили, насиловали и убивали немцы, теперь появились мы, братья-славяне и тоже должны делать насилия? Можем ли мы потом рассчитывать на пощаду, если вдруг попадем в руки к ним, в другом месте и безоружными? Вон отсюда, идите впереди меня и не оглядывайтесь!

Три насильника подчинились и вышли из дома, а

хозяева ловили руки Петра, целовали его и благодарили доброго "пана козака".

Когда все шли со двора этого поляка, один из бывших полицаев, Игнат Балюк, приблизившись, сказал Петру:

— Чего ты станичник, Петр Тарасович, так взбеленился? Мы же не грабили и не убивали там никого, а только маленько хотели позабавиться паняночкой. Ты бы знал, что в обозе Донского войска творят казаки: серьги с ушами отрывают, шашками отсекают пальцы с золотыми перстнями, десятилетних девочек насилуют, стреляют всех сопротивляющихся. А мы, что? Взрослая паняночка, почти не сопротивлялась и не кричала. Может, она даже хотела "этого"?

— Не позволю! — прервал Петр оправдания Балюка. — То, что ты сказал сегодня же доложу Кубанскому атаману полковнику Лукьяненко, а то и самому Походному атаману Доманову и удостоверюсь: так ли в обозе другого войска творится, как вы сейчас сказали?!

— Петр Тарасович. Не надо никому ничего докладывать, не надо! Стали просить его мародеры. — То правда, многие так делают, но мы больше не будем и возвращаемся в полк, к своим возам. Честное казачье слово! Ты, вот недоволен и тем, что на наших возах много разного барахла лежит, и что по несколько лошадок у нас прибыло. Что ж удивительного? Так надо! Все это добре пригодится в станице в нашем хозяйстве...

Все равно Сталину скоро капут и тогда мы все вернемся на родную Кубань. И добытые лошади, и все что на возах, все это очень потом пригодится в нашем хозяйстве. Ведь и у нас в свое время сталинцы позабирали все тягло в колхозы.

— Все этим награбленным рыгать скоро будете и тяжелая кара падет на все наши головы. Больше говорить с вами не хочу, но предупреждаю: замечу еще раз то, что видел сегодня, перестреляю на месте без суда и следствия! Марш отсюда к своим подводам!

Три бывших полицаев ничего больше не сказали, повоенному повернулись кругом и казенным шагом пошли к своим возам...

Петр стоял пока они не скрылись, потом и сам пошел к возам в голову Уманского обоза.

Более порядочные казаки и младшие офицеры, такие как Петр Кияшко, не в силах были сдерживать раз-

незданность некоторых вырождающихся человеческого общества, для которых никакого правопорядка людского не существовало. Своими черными деяниями они накладывали черное пятно на все казачество. Они чувствовали себя весьма вольготно, ибо руководившие этим передвижением немецкие офицеры, никак не реагировали на бесчинства уголовных преступников.

ГЛАВА 4.

Казачьи запасные полки и нестроевая часть Казачьего стана прибыв в Италию, по распоряжению немецкого командования заняли территорию на севере страны, начиная от границы с Австрией и на юг до Адриатического побережья с площадью около двести километров в диаметре. В этой части Италии особенно была развита антинемецкая партизанщина.

Весь Казачий стан с его запасными полками вошел в непосредственное подчинение начальника области Триест, обергруппенфюрера Глобочкина, который приказал казакам вести активную борьбу со всеми партизанами: "титовцами", "бадольевцами", "гарибальдиевцами" и так далее.

По распоряжению Глобочкина ряд итальянских сел и городов были очищены от коренных жителей, а в их домах были размещены казаки и их семьи.

В той части Северной Италии, где расположились Кубанские и Терские казаки, местных жителей-итальянцев только немного потеснили, но полностью не выселяли. В районе же расположения Донских казаков все итальянцы были насильно выселены из своих домов, их имущество и земля были конфискованы и отданы в распоряжение атаманов донских станиц.

Итальянский город Олесо был переименован в "Новочеркасск" и там расположился штаб Донского казачества. И даже улицы в этом городе получили новое наименование, какое было на Родине в столице Донского войска: "улица Бакланова", "Платовский проспект", "Дворцовая площадь", и т. д.

Католический костел в городе Олесо тоже отобрали от итальянцев и переделали его в православный собор святителя Николая Чудотворца. Это было совер-

шено с благословения епископа Афанасия, в ведении которого тогда находилось все казачье духовенство...

Казачи и не казачи и их семьи, были расселены в следующих городах и районах Северной Италии: Олессо, Каваццо, Джемона, Удино, Толмеццо, Цеслянс и др. Штаб Походного атамана Доманова сначала находился в Джемона, затем переехал дальше к северу, в город Толмеццо.

В феврале и марте 1945 года боевые стычки казачьих охранных подразделений с местными партизанскими отрядами происходили очень часто.

Однажды полусотня есаула Васильева заметила итальянских партизан, внезапно появившихся из лесных зарослей севернее Олессо, вблизи Цеслянса. И те и другие были пешим порядком, сразу же залегли и между ними началась ружейная перестрелка.

Через несколько минут партизаны вдруг подняли белый флаг. Казачи перестали стрелять и молча глядели в сторону противника. Три партизана с русским переводчиком, подняв над головой белый флаг, прошли к середине поля боя и стали жестами показывать, чтобы и казачи подошли к ним туда же. Немного посоветовавшись с помощником, сам есаул Васильев и два казача с переводчиком направились к партизанам.

Подошли и в нескольких шагах от них остановились.

— Братцы, казачи! Зачем мы должны убивать друг друга? — сказал через переводчика, видимо командир партизанского отряда.

— Здорово сказано! Ваши партизаны-коммунисты будут стрелять по нас, а мы как овечки будем подставлять свой лоб под пули и никак не реагировать, — с иронией ответил Васильев.

— Мы не коммунисты, мы воины Бадольо и короля Эммануила! Мы боремся на своей земле против всех оккупантов, насильно захвативших нашу родину. Зачем вы пришли в нашу страну? Почему воюете на чужой земле и под чужим флагом, а про свою родину забыли?

— Мы не забыли своей Родины, но нас оттуда выгнали сталинцы.

— Вас никто не выгонял, вы сами ушли с немцами, но для чего вы к нам пришли? Кто вас просил? Зачем вы мешаете нам бороться с фашистами Гитлера?

— Нас направило сюда и дало эту землю немецкое командование, которому мы и подчиняемся. Если вы не будете совершать вооруженные нападения на нас, или стрелять из-за угла казаков, как вы это практикуете, то мы тоже не будем стрелять, а значит и не будем убивать друг друга, как вы в первых словах и сказали.

— Это пустой разговор, но с вами решились для того, чтобы сказать вот что: Вы должны немедленно очистить нашу итальянскую землю, иначе будет и вам тот же конец, что и всем немцам.

— Немцам конца еще нет и не будет, а мы их союзники.

— Какие же вы, братцы, слепцы! — зло усмехнувшись сказал партизанский командир. — Неужели вы не знаете, что советские танки уже под Берлином? И не сегодня-завтра здесь будут англичане. На кого вы надеетесь? Вот почему мы и сказали: "Нам незачем убивать друг друга". Мы не титовцы, не гарибальдовцы, не чернорубашечники дуче Муссолини! Мы обыкновенные патриоты своей родной страны и боремся за освобождение своей родины от оккупантов гитлеровского нацизма и их приспешников и от фашизма дуче, а свое внутреннее благоустройство будем потом улаживать сами, волей своего народа, без всякой опеки чужестранцев. И вот наше последнее слово: если до апреля месяца не уйдете добровольно со всей нашей территории, мы вас уничтожим. За нами сила всего нашего народа, наше дело правое, мы на своей земле, и будем сражаться за свою землю против всех, кто на нее посягает.

— Что ж, продолжим наше сражение? — спокойно сказал Васильев и положил руку на кобуру с наганом.

— Если вы не хотите принять наших предложений, то пеняйте на себя. В своей земле нам не страшно и даже приятно драться с кем бы то ни было чужим. И еще: всем известно, что парламентарии на месте переговоров не применяют оружия одни против других и, напрасно ваша рука на кобуре! Ведь с обеих сторон за нами следят сотни воинов, и ваших и наших, с направленными сюда винтовками и автоматами, и нас могут скосить в один миг. На этом кончим, но запомните: за каждого погибшего от вашей руки итальянского партизана, вы поплатитесь десятикратно, — и, резко повернувшись, партизаны пошли к своим.

Казачи молча посмотрели им вслед, потом тоже повернулись и пришли к своей полусотне. Несколько минут вокруг стояла полная тишина, потом со стороны казаков было произведено несколько выстрелов. Партизаны ответили точно таким же числом выстрелов и боевая стычка на этом закончилась. И казаки и партизаны повернули в свои стороны и вскоре скрылись.

Это происходило в марте 1945 года, когда поражение фашистской Италии и нацистской Германии считалось уже совершившимся фактом.

И в эти самые дни марта месяца в итальянский город Олесо, ставший казачим "Новочеркасском", были доставлены семена хлебных злаков, для засева четырехсот гектаров земли, отобранной у итальянских крестьян. По приказу немецкого командования и одобрения Главного управления Казачьих войск, донцам предлагалось засеять всю землю вокруг "Новочеркаска", как свою казачью землю.

Атаман донских станиц района Олесо, войсковой старшина Харитонов и его помощник Ротов начали было противиться такому своеволию на чужой земле, но они были немедленно смещены со своих должностей, а на их место назначены были старый генерал Фетисов, а его помощником полковник Тяжелников. Они то и приступили в конце марта к посевам на чужой земле, как на своей, и к подготовке больших площадей под огороды.

Полковник Тяжелников приказал своим донцам посадить пять гектаров картофеля и капусты только для своего штаба, и возделывать огороды всем для собственной надобности.

— Что посеем на этой земле, то и пожнем сами, — говорил Тяжелников. — Раз Германское правительство подарило нам эту землю, то она, земля, и останется нашей на веки вечные. Когда после победы Великогермании мы и вернемся на тихий Дон, все равно эта земля останется нашей, казачьей. Если же возвращение наше затянется, то мы и здесь будем жить многие годы безбедно. Сеять дружной надо, не обращая внимания на паникеров и врагов казачества...

Когда из Берлина в Италию приехал Петр Краснов со своим штабом, то во всем Казачьем стане воскресли все старые порядки дореволюционной России. Отменен-

ное в Гражданскую войну обращение к офицерам, как "Ваше благородие", "Ваше превосходительство" и т. п., при Краснове стало обязательным. В Школе юнкеров обучались по военным уставам царского времени, которые явно уже не годились. Был организован "Институт Благородных девиц", который в основном посещали бывшие колхозницы, вывезенные немцами на работы в Германию, а потом освобожденные из лагерей "Остарбайтер" и попавшие в Казачий стан.

К таким недалновидным приверженцам Краснова и его старых порядков принадлежали Фетисов и Тяжельников.

И вот, когда в начале апреля в свой городок Олесо пришли окрестные крестьяне и потребовали незаконно отобранную у них землю, чтобы засеять, так как началась весна, то их, угрожая оружием, просто выгнали из Олесо. Престарелый генерал Фетисов со своей очередной восемнадцатилетней "женой" и такой же престарелый полковник Тяжельников грубо заявили итальянским крестьянам:

— Какие посевы и на какой земле вы хотите сеять? Нет в этом районе вашей земли! Наши казаки все из хлеборобов и сами знают, что надо делать на земле весной. И земля эта наша, казачья! Вы же все красные партизаны — наши враги! Вон отсюда, иначе сейчас же всех перестреляем!

И вытолкали из штаба делегацию от итальянских крестьян, настоящих хозяев земельной площади и строений Олесо...

Обиженные крестьяне ушли, но в тот же день этот поступок казачьих атаманов в Олесо-Новочеркасске стал известен близко находившимся антифашистским партизанским отрядам итальянцев. Командование партизанами обратилось с соответствующей просьбой к Английскому командованию, с которым имели постоянную связь, и просили помочь им поскорее избавиться от непрошенных гостей.

И... в середине апреля, среди белого дня, город "Новочеркасск" (Олесо) был подвергнут интенсивной бомбардировке английской авиации, при которой были убиты десятки не только виновных и невиновных мужчин-казачей, но и женщин и детей.

И с этого дня "Казачья земля" в северной Италии

"пошатнулась". Не спрашивая своих атаманов, казачьи семьи самовольно стали бросать все и бежать с итальянской земли на север. Это бегство заразило и других поселенцев из Казачего стана. К беглецам из Олесо присоединялись находившиеся в Кавачцо кубанцы, терцы и ставропольцы, и через несколько дней после бомбардировки новоиспеченного "Новочеркаска", "Великий исход" из северной Италии охватил людей всего Казачего стана, к всеобщему ликованию итальянского населения, ненавидевшего всех, кто пришел к ним под гитлеровским флагом.

Английские войска приближались и немецкие части Адриатического района оставили свои позиции и бежали вместе с казаками на север.

Ехали на повозках и шли пешком остатки казачьих полков, легко раненные казаки, старики, женщины и дети. Все вслепую стремились на север, стараясь поскорее выбраться из враждебной к ним Италии.

Единственный путь отхода на север лежал через Кавачцо и Толмеццо, а тут как на зло все эти дни шел проливной дождь, но двигаться надо было без остановки, ибо из-за лесных склонов гор то и дело по бежавшим постреливали местные одиночные партизаны.

От села Тимау и дальше к Итало-Австрийской границе начинался крутой подъем, доходивший местами до 45 градусов и тянувшийся километров десять. На Альпийском перевале, на высоте двух километров повалил снег, подул сильный ветер и разбушевалась настоящая метель. Минут через десять образовались сугробы, в которые падали обессилевшие лошади и люди. Двигавшиеся длинной вереницей люди относились ко всему как-то безразлично...

В этом караване было много и безлошадных, прибывших в Италию не вместе с Казачим Станом, а позже, и потому не имевших возможности достать себе лошадей с подводами. Такие безлошадники, мужчины и женщины, шли по снегу пешком. Некоторые из них тянули ручные повозки, или детские коляски с грудными детьми...

Так происходило трагическое передвижение людей Казачего Стана из Северной Италии в Южную Австрию...

Но всех этих вольных и невольных беженцев, самое страшное испытание еще ожидало в ближайшие дни в самой Австрии, куда все так стремились...

ГЛАВА 5.

После эвакуации из Северной Италии Казачий стан прибыл в южную Австрию, в область Каринтии и в основном расположился в районе города Лиенц. Казачьи воинские части с обозом и группа Северо-Кавказских горцев расположились по левобережью Дравы от Лиенца и до Обердраубурга. Семейные же и чиновники, а также больные и легко-раненые разместились в пятидесяти четырех бараках лагеря "Пеггец", возле Лиенца. Штаб генерала Доманова занял большое здание в самом городе Лиенц.

Почти весь май месяц прошел в бездельи и частых митингах с "пророчествами" о дальнейшей судьбе, но продукты питания англичане давали хорошие и люди не очень беспокоились. Офицеры по-прежнему ходили с револьверами на боку, только сорвали с плеч немецкие погоны и нацепили старые казачьи и никто их не трогал. Тогда мало еще кто знал, а кто и слышал, то не верил, что по Ялтинскому соглашению всех их считали "военными преступниками", "уголовными бандитами", ибо на службу к гитлеровцам они пошли добровольно и конец войны застал их в немецкой форме в стане немцев, хотя это ко всем и не могло относиться.

Несомненно, что среди этой пятнадцатитысячной казачьей массы были и настоящие преступники, но английское командование не могло, вернее и не пыталось отделить виновных от невиновных, а решило избавиться от всех.

Первым долгом надо было избавить эту казачью массу от казачьего офицерского руководства. Обманным путем, под видом поездки на "конференцию" в штаб командующего Восьмой английской армией генерала Александера, комендант Лиенца майор Дэйвис посадил на военные грузовики более двух тысяч казачьих офицеров и военных чиновников, как из лагеря "Пеггец", так и из города Лиенц, и направил их в Шпиталь. Там они все были посажены за колючую проволоку и через

день были направлены в Юденбург, где и были переданы советскому командованию.

Среди старших офицеров переданных в Юденбурге были известные белые генералы, активно боровшиеся с советской властью в Гражданскую войну и продолжавшие эту борьбу и при Гитлере: Петр Н. Краснов, Андрей Г. Шкуро, Семен Краснов, Тимофей Доманов, Соламахин, Головки, Тихоцкий и другие. Позже попали к этой группе выданных горьц Кавказа генерал Султан-Гирей Клыч и командовавший в конце войны казачим корпусом немецкий генерал Гельмут фон-Паннвиц. Все эти видные деятели Белой борьбы и сотрудники Гитлеровской армии были приговорены в Москве к высшей мере наказания через повешение и вскоре приговор всем был приведен в исполнение. Менее виновные в военных преступлениях из офицеров бывшего Казачьего стана были приговорены к разным срокам заключения в советских исправительных лагерях...

В Европе и Америке написано очень много книг и брошюр на всех языках о Лиенцкой трагедии Казачества. И особенно много писалось о "Черной Пятнице" 1 июня, 1945 года в лагере "Пеггец", когда солдаты Королевского Величества Англии били палками, кололи штыками, давили танками и топили в Драве безоружных и незащитных женщин, детей, стариков и больных, и автор не желает повторять всем известное...

**

После прибытия из Италии Петр Кияшко хотя и жил в лагере "Пеггец", но при избиении англичанами казачьих семей 1 июня не присутствовал. Чуть стало светать, по присущей казаку привычке, он уже проснулся, взял удочку и пошел к озеру, находившемуся в километре на запад от Дравы, чтобы уединенно на свежем воздухе обдумать свое настоящее положение.

Еще в Италии он отказался исполнять какие бы то ни было обязанности, а когда началась бегство Казачьего стана в Австрию, он сорвал с себя погоны, оделся во все штатское и так и прибыл к Лиенцу. Поэтому он и на "конференцию" с казачьими офицерами не поехал, а всем стал говорить, что он рядовой казак и в Казачьем стане оказался случайно.

Сидя под деревом на берегу небольшого озера и

закинув в воду шнур с крючком от самодельной удочки, Петр почти и не глядел на поплавок, а мысленно перенесся в далекую Кубань, думая о жене и всех близких.

— Бедная Дашенька, — с грустью думал он, — и лагерь я отбыл, и война кончилась, а меня все нет и нет в родной станице. Может думает, что меня и живого нет, плачет и убивается, а я тут вот сижу и блаженствую над озером. И сынок Федя? Может в армии, может уже женился, ведь двадцать годков ему, кажется, уже миновало. Ах, как хочется видеть их! Но... На здешних чуть не ежечасных митингах, и атаман Кузьма и поп Василий говорят всегда что-то страшное. Конечно, особой вины за собой я не чувствую, в карателях не состоял, никого не убивал, не грабил, не насиловал, но все же...

По ясному небосклону солнце высоко уже поднялось на востоке, а он все сидел в задумчивости на одном месте и еще ни одной рыбешки не поймал.

И вдруг до его слуха донеслись выстрелы автоматов и пулеметов, идущие со стороны лагеря "Пеггец".

— Чтобы это могло значить? — с тревогой подумал он вслух и привстал.

Потом от реки послышался отдаленный гул танков и опять выстрелы.

Бросив свою удочку в озеро, Петр изо-всех сил побежал к лагерю. Подбегая к мосту через Драву, за которым сразу же начинался лагерь "Пеггец", он увидел бегущих от моста к нему навстречу знакомых казаков, карауливших до этого табуны лошадей, — Смагина, Качкина и Гамалия, — которые жестами показывали ему остановиться.

— Куда ты прешься? Назад, Назад! — кричали они издали. — Всех наших в лагере англичане бьют палками, стреляют и колют штыками. Назад!

— Как это бьют палками и колют штыками! Почему и за что?

— А это надо их спросить, почему и за что, — ответил Качкин. — Многотысячная толпа наших людей собралась на площадь и стали служить молебен с десятком священников, а вооруженные англичане молча подошли с трех сторон и не сказав никому ни слова, как звери ринулись в гущу людей и начали бить всех: женщин, детей и стариков и колоть штыками. Надо спасаться, назад!

С трудом веря небывалой версии, Петр все же послушался Качкина и все вместе побежали от моста в лес. В лесу они наткнулись на пустующий деревянный сарай, в которых обычно австрийцы сушат сено после покоса, и Смагин рассказал "рыболову" все, что начали творить английские вооруженные солдаты с беззащитными людьми, бывшими на богослужении...

Сидели они в этом сарае долго. Но когда солнце стало клониться уже к западу, Петр больше не вытерпел, вышел наружу, осмотрелся и прислушался. Стояла полная тишина.

Не слушая увещаний казаков, — "подождать еще хотя бы до ночи", — он сам быстро пошел к лагерю. Три знакомых казака неохотно следовали за ним, но около моста остановились.

Петр один перешел мост и никого из англичан не заметил, ни возле лагеря, ни в самом лагере. Направляясь к своему бараку мимо того места, где недавно происходило побоище, он увидел там рыдающую женщину, обнимавшую труп мужчины и голосившую.

— Дорогой Ванюша, милый голубочек, орел земли Кубанской! За что же тебя убили проклятые английские бандиты? Ты погиб в земле чужой, за что?

Подойдя тихонько к женщине, Петр сел рядом с ней на корточки и сразу узнал... Оксану. Он сразу догадался, что убитым казаком был никто иной, как ее муж, Иван Мищенко. Не зная, что сказать, да и возможно ли в данном случае сказать что-либо утешительное, он продолжал молча сидеть и глядеть на эту трагическую сцену.

Подняв голову, Оксана оглянулась и увидела Петра. Она не удивилась и не сказав ему ни слова, обхватила голову мужа обеими руками, еще больше заголосила:

— Боже мой, Боже мой! Что же такое случилось сегодня? Боже, почему я такая несчастная? За что же так по зверски английские варвары убили моего любимого Ванюшу? За что? Только вчера мы с ним мирно и мило говорили о нашем ближайшем будущем и вот.. его уже нет! Как же можно так рубить невинных людей? Да и только ли его? Посмотрите, Петр Тарасович, вокруг! — и она обвела взглядом всю площадь.

Петр оглянулся вокруг и почти рядом увидел два раздавленных младенца, а немного дальше лежали изуродованные трупы взрослых мужчин и женщин.

— Да, дела, — протянул с негодованием Петр. — И это совершила, так называемая "культурная нация Запада", воины Его Величества короля Георга Шестого? Кто же внушил в башку этих людоедов расправляться с нашими невинными людьми? Ничего не понимаю! Счастье мое, что я не был тут. И кто это мне внушил сегодня рано утром пойти на озеро рыбу удить? Ведь с меня рыболов, как с козла пономарь и вообще я не люблю с удочкой у воды сидеть!

— Бог вас надоумил, Петр Тарасович, и внушил вам уйти сегодня от этого страшного места, а вот меня грешную и моего бедного Ванечку, Бог забыл надоумить, — и она опять зарыдала.

— Ну, я тоже не безгрешен, просто, не пришел еще мой час. И... не надо так плакать, Оксана Терентьевна, слезами горю не поможешь. Согласен, что вы, и ваш муж были грешные в чем-либо, но разве эти невинные младенцы тоже были грешными? Ведь им на вид и по шесть месяцев еще не было от роду и они еще ни одного слова, не то греховного, а никакого не произнесли за свою краткую жизнь! Почему же Бог допустил их страшную смерть? Нет, не в грехах здесь дело, а в чем-то другом. Не сомневаюсь, что те уголовщики, которые заслуживали кары, все уцелели.

Оксана только жалко всхлипывала и молчала.

— Пойдем отсюда, Оксана Терентьевна, пойдем от этого страшного места в свои бараки!

— Никуда я от своего Ванюши не пойду! Если зверям проклятым еще мало крови невинных жертв, пусть и меня убивают вместе с ним...

Не найдя ни одного утешительного слова в данном случае, Петр молча постоял несколько минут и направился в свой барак. Вещи всех жильцов в бараках были раскиданы по полу английскими солдатами, а то что было ценным — исчезло.

Только в сумерках трупы с площади лагеря были убраны и погребены без всякого обряда в свежевырытых могилах на левом берегу Дравы, с западной стороны лагеря Пеггец. Духовенства при этом не было видно, так как англичане избивали и священнослужителей в полном облачении, кололи штыками и разбивали иконы и хоругви, топтали попадавшие на землю кресты, и это же не солдаты атеистической страны, а монархической христианской державы.

И только после погребения убиенного мужа, еле передвигая ноги и не переставая плакать, Оксана вернулась в свой барак с поникшей головою, не видя ничего и ни на кого не обращая внимания. Не раздеваясь, она повалилась на свои деревянные нары и так пролежала всю ночь.

На другой день рано утром Петр видел, как она опять пошла к свежей могиле на берегу Дравы, упала там на сырую землю и долго рыдала, не поднимаясь. Он несколько раз порывался пойти к ней и хоть добрым словом утешить ее в такой горе, но посчитал кошунством подходить к ней в такие неутешные минуты.

На второй и на третий день после побоища, от страха не убежавшие в лес и горы люди из бывшего Казахского стана, без принуждения садились в вагоны близко стоявшего на железно-дорожных путях поезда и направлялись в Советский Союз. Одни шли к вагонам как-то безразлично, а другие даже с радостью, со страхом оглядываясь на покидаемый лагерь "Пеггек", проклиная на веки вечные английских инквизиторов.

Но далеко не все пошли тогда к поезду возвращенцев. По разным причинам многие остались в лагере и в городе Лиенц, не надеясь на прощение своих грехов и чего-то выжидая. Воздержались тогда от возвращения также Петр Кияшко и Оксана Мищенко.

После этого Петр и Оксана хотя и встречались в лагере почти каждый день, но только здоровались как старые знакомые и обменявшись двумя-тремя словами о положении в лагере, молча шли к своим баракам, ни словом не вспоминая о чем-либо постороннем. Они как бы "растворились" в беженской и эмигрантской среде из Югославии, среди хорватов, сербов и белых русских, работали с обслуживавшим персоналом лагеря в разных местах лагеря и, откровенно говоря, не жили, а "существовали" среди чужих людей. И так продолжалось больше месяца...

ГЛАВА 6.

Интернированный англичанами Русский Белый корпус в первые месяцы после войны находился в районе Филлаха и Тигрина в юго-восточной Австрии, примерно в ста километрах от Лиенца.

Узнав об этом, Петр Кияшко решил поехать туда и попытаться узнать о судьбе брата Никифора и племянника Григория.

— А может Никифор и теперь находится в этом корпусе? — задавал сам себе вопрос Петр. — Ведь в корпусе в основном русские эмигранты из Югославии, а Никифор тоже находился в Белграде.

Чтобы как-то узаконить свое жительство в сербско-хорватском лагере "Пеггец", сразу же после июньского побоища, Петр зарегистрировался как старый эмигрант из Югославии, но регистрировали его эмигрантом неохотно, документов об этом он никаких не имел, да и по внешнему виду и по разговору советского человека легко было отличить от эмигранта. Как зарегистрировалась Оксана он даже не знал и ни разу не спросил, хотя знал, что она начала работать вместе с сербками на лагерной кухне. А так, как в кухонном мастерстве кубанских казачек не сравнить ни с какими другими женщинами в мире, то ее не только охотно держали там, но во многом и слушались.

Выпросив в комендатуре лагеря пропуск, для поездки на территорию Белого корпуса, Петр сел в поезд на станции Лиенц и поехал на юго-восток в сторону Виллаха и Клагенfurта. От Виллаха пришлось идти пешком до села Тигрин, где он и нашел остатки Кубанского полка Белого корпуса. Там он встретил много своих станичников, эвакуированных из Крыма с Врангелем еще осенью 1920 года. Один за другим подходили к нему станичники из родной Старо-Минской, как новому человеку со старой Родины, здороваясь целовались с ним, называя свои фамилии и имена: Георгий Бондарь, Радченко, Петр Кошель, Гавриил Кононенко, Романенко, Ганжула, Шавлачь, Пятак, Фоменко, Павел Булатецкий, Михаил Хайло и другие.

— Хайло Михаил Иванович? — удивленно спросил Петр здоровавшегося с ним маленького роста казака. — Не с вами ли регент хора Запорожского полка Рудько еще в Турции списывал у меня новую песню "Ты, Кубань, ты наша Родина"?

— Так точно, станичник Кияшко! — ответил Хайло. — Эту любимую песню о родной Кубани мы все время исполняли в Зарубежьи, как гимн, и до сего дня не забыли.

— Давайте сейчас споем эту песню-молитву, как

гимн нашему дорогому гостю-станичнику Петру Тарасовичу Кияшко, — сказал только что подошедший к ним высокий и сравнительно молодой казак.

Петр оглянулся:

— А, Иван Николаевич Кирилленко! Какими судьбами и ты здесь, ты же не эмигрант? — и Петр крепко расцеловался с ним.

— В наше время всякое случается, — сказал Кирилленко, — война куда только не забрасывает наших людей. Да, я не старый эмигрант, жил все время при советах в Старо-Минской и в Ростове на-Дону, а теперь вот у них ветеринаром состою. Ведь я закончил в Советском Союзе ветеринарный институт, но война помешала быть ветеринаром на Родине. Э, что вспоминать, споем любимую для всех нас песню! Это приятнее...

Хайло, как регент, дал тон и Петр, как и много лет назад зятянул:

"Ты, Кубань, ты наша Родина, вековой наш Богатырь".

И десятки певцов-станичников дружно подхватили:

"Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь..."

И полилась над открытой Австрийской степью сугубо-патриотическая Кубанская казачья песня, родившаяся в Кавказском полку на Турецком фронте в 1916 году:

"О тебе здесь вспоминаючи,
Дружно песню мы споем:
Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом...
Мы тебе, как дань покорную
От прославленных знамен:
Шлем тебе, Кубань родимая
До сырой земли поклон..."

Староминцы дружно исполнили эту молитвенную песню и все сразу замолкнув, грустно опустили головы. Минуты две длилось какое-то непринужденное молчание, потупив головы все глядели на землю и у некоторых закапали слезы.

— Да, песня хорошая, — прервав молчание и глубоко вздохнув сказал Петр. — Пели мы ее и в горах Турции и Персии, и на фронтах Гражданской войны, и на привольных степях Кубанских и, вот, оказалось, и

тут, в эмиграции вы ее не забыли. И не забыли эту песню и теперь у нас на Родине: поют и по сей день, и парубки и женатые.

— Ну, это ты, станичник, уж ерундишь, — сказал Хайло. — Мы слышали, что за эту песню на Кубани по десять лет тюрьмы давали при Ежове, а если где и исполняли потом, то вместо слов: "Вековой наш богатырь", пели "Наш колхозный богатырь" . . . И все слова в песне переиначены.

— Я не слышал, чтобы по десять лет за эту песню давали, а что вставили туда отсебятину и исполняли "Наш колхозный богатырь", то это верно, сказал Петр, — но мы всегда ее исполняли по-старинному, без изменения.

И желая переменить тему разговора, он спросил то, ради чего собственно и приехал в корпус к станичникам:

— Чи не знаете, станичники, где теперь мой брат Никифор Кияшко? Он эвакуировался из Крыма и был с вами на Лемносе, потом жил в Югославии. Мы имели несколько писем от него из Белграда.

— Верно, сотник Никифор Тарасович Кияшко был и на Лемносе и в Югославии с нами, — сказал Есаул Бондарь. — Был он с нами и в корпусе, но воевал неохотно, а еще раньше все помышлял о возвращении на Родину. Еще в прошлом году он заболел и был отправлен из корпуса в Белград, и оттуда к нам больше не возвратился. Он не верил в то, что в России скоро наступит реставрация и все станет по-старому. Тут у нас еще есть два станичника из подсоветских, которые тоже самое бормочут.

— Наши станичники из подсоветских, кто такие?

— Два брата Чепурные, Петр и Анатолий. Хорошие хлопцы, но тоже не верят, что скоро в России станет все по-старому. Они, правда, работяги оба, не бездельничают в корпусе, и сейчас пошли на работу к какому-то австрийскому бауэру.

— А вы, Георгий Иванович, разве верите в возврат старого?

— А как же! — живо выговорил Бондарь. — Иначе мы бы и не сидели за границей. Все равно совдепии скоро капут, мы все вернемся и заживем в родном краю по-старому . . .

Петр с трудом удерживая улыбку, посмотрел на собеседника и опять меняя тему разговора, сказал:

— Меня еще интересует один важный вопрос: никто из вас не знает и не слышал о судьбе моего племянника, Григория Кияшко, сына Никифора? Мне еще в Новогрудок, Западной Белоруссии говорили, что он с полусотней казаков ушел в казачью дивизию фон-Паннвица, а эта дивизия тоже ведь орудовала в Югославии и против тех же партизан, что и ваш корпус.

— Как же не слышали, — сказал Булатецкий. — Помощник командира сотни из Кубанского полка дивизии фон-Паннвица погиб ни за что, ни про что: он надумал было спасти какую-то советскую парашютистку-шпионку, попавшую в немецкий эсэсовский отряд, побил нескольких немцев и действительно освободил эту девушку, но потом когда вернулся, то эсэсовский офицер собственноручно застрелил его без суда и следствия...

— Бедный Гриша! Как же так он попал впросак из-за какой-то девушки! Не знаете ли, Павел Иванович, кто была эта девушка и где это случилось.

— Не могу знать, — ответил Булатецкий. — Слышал только, что это произошло возле хорватского городка Сунь.

— Жаль, очень жаль! — вздохнул глубоко Петр. — Выходит, что из породы Кияшковых я один тут теперь. Я ехал сюда сегодня узнать что-либо хорошее и точное о брате и племяннике, а узнал мало, да и то не точно. Шо ж, такая наша "планида", — и он замолчал, грустно опустил голову.

— Что же ты, тезка, собираешься делать теперь? — спросил его Петр Петрович Кошель.

— Даже затрудняюсь ответить вам, что именно предприму в ближайшее время. Не знаю, на что и решиться. Скорее всего вернусь в привольные степи Кубанские, о которых мы тут только что пели, поеду в родную станицу...

— Да ты с ума спятил!? Тебя же сразу там шлепнут! Разве не слышал о приказах Сталина? Раз попал в плен к немцам, значит "изменник родины", со всеми вытекающими отсюда последствиями. У тебя же не одна вина: бывший белогвардеец, сидел в лагере НКВД политической статьи, попал в плен к немцам, да еще и служил у немцев в Казачьем стане! И ты не один раз, а подлежишь четверократному расстрелу, как только ступишь ногами на родину. И не помышляй о скором воз-

вращении! Оставайся и живи с нами, а дальше видно будет, что делать. Командир нашего корпуса полковник Рогожин и один английский офицер в его штабе говорили, что Сталину и всей сталинской системе скоро все равно крышка, и в этом мы надеемся на помощь Великобритании и Америки. Вот тогда то мы все вместе и возвратимся в край родной.

— Слишком сомневаюсь я в том, чтобы заморские державы выполнили ваше многолетнее желание, но если бы это и случилось, то, собственно, что бы я сейчас у вас тут делал? Хорошо и по-дружески вы со мной сейчас разговариваете, но все равно я для вас чужой человек, а по духу и вы для меня чужие. Если за двадцать пять лет из вас еще не вытряслась старая дореволюционная закваска, то за эти годы и ко мне что-то "прилипло" от советской закваски, хотя я и бывший белогвардеец, и вытрясти из меня скоро тоже это вам не удастся. Что-то останется навсегда: у меня советское, у вас старое и югославское... Это первое. Второе то, что хотя в нашем лагере я и зарегистрировался, как старый эмигрант из Югославии, но фактически ведь у меня об этом нет ни одного официального документа. И не сегодня-завтра меня могут более детально проверить, разоблачить и приписать даже те грехи, которых я и не совершал. Так ведь?

— Нет не так, — сказал Фоменко, и ты для нас не чужой, а родной станичник и нас не надо считать чужими. Мы все дети одной Матери-Кубани и не наша вина, что мы родились в такую эпоху.

— Согласен, Петр Емельянович, что мы все дети одной Матери-Кубани, но нехорошо, когда дети бросают свою мать, а мы именно так и сделали, — серьезно сказал Петр. — У вас в Старо-Минской возможно и по сей день живут два брата, которых я хорошо знал.

— Вы знали моих братьев? Ну как они там, что делают?

— Знал. Самый молодой из ваших братьев, Тимофей Емельянович служил бухгалтером в потребительской кооперации, а старший — Яков Емельянович был мастером на сыроваренном заводе. У вас, кажется, и еще был брат?

— Да, есть и сейчас в эмиграции, Григорий Емельянович, но он все время живет в Париже, во Франции.

— Вот видите, как вы все, даже родные братья,

разбежались в разные стороны и вряд ли тут только наша эпоха виновата. Ну, ладно, не будем об этом мудрствовать. Все же без официального документа я не буду спокойным...

— Документ сейчас будет, — сказал Фоменко и куда-то ушел.

— Раз Петро Мудрый сказал, значит зробрэ, — подмигнул Хайло.

Как и везде, в эмиграции казаки тоже имели свои дополнительные прозвища. Петра Фоменко прозвали "Петро Мудрый", Кривича — "Денис Хитрый" и т. д.

Не прошло и полчаса, как Фоменко принес и вручил Петру Кияшко официальный документ, написанный по-сербски и по-немецки, в котором значилось, что он с 1921 года все время жил в Белграде (Югославия). Печать и подпись бургомистра какого-то городка в Югославии, при немцах. Видно было, что у кого-то в корпусе хранились разные готовые бланки с печатями для разных надобностей.

Петр с удивлением посмотрел на документ, попросил старожилов-станичников из Югославии прочитать, так как сам не понимал ни по-сербски, ни по-немецки и когда те прочитали, самодовольно усмехнулся и спрятал документ.

— Вот такого документа у меня как раз и не хватало, — сказал он, потом немного подумав, спросил:

— А нельзя ли вам еще один такой документ соорудить, только на другое имя? — Почему нет? — вопросом ответил "Петро Мудрый". — То, что в наших возможностях, для родного станичника все сделаем. Напишите имя и фамилию для другого документа и мы сейчас оформим.

Петр взял листок чистой бумаги и написал: "Ксения Терентьевна Мищенко". Потом подумав, зачеркнул "Мищенко" и поставил "Кияшко". Через несколько секунд, сердито что-то буркнув, он опять зачеркнул написанное и поставил: "Оксана Терентьевна Кислая", обозначив дату рождения сходную со своей.

— Шо, Петр Тарасович, уже бабенку наметил? — смеясь, спросил Хайло. — Ничего удивительного: живой человек о живом и думает.

— Как сказать, Михаил Иванович, давно с ней знаком, еще когда парубком был. Станичица наша. Ее му-

жа забили англичане 1 июня в Пеггее и она бедная сейчас на том же положении, что и я. Не только о повторении "греха" думаю, но впервые очередь, как спасти от неприятностей знакомую станичницу.

— Очень похвально, станичник! Что же касается "греха", то... Я когда был инструктором в Персии еще перед Первой войной, то в Тегеране у хана в гареме половину его жен...

— Ну, это уж выхватили слишком, жен хана!

— Мне и самому теперь с трудом верится, а ведь ей-Богу было...

Пока они "со смаком" говорили о женах-красавицах из ханского дворца в Тегеране и в Тавризе, Фоменко принес Петру и другой "официальный" документ на имя Оксаны, что она с 1921 года жила в Белграде и все прочее.

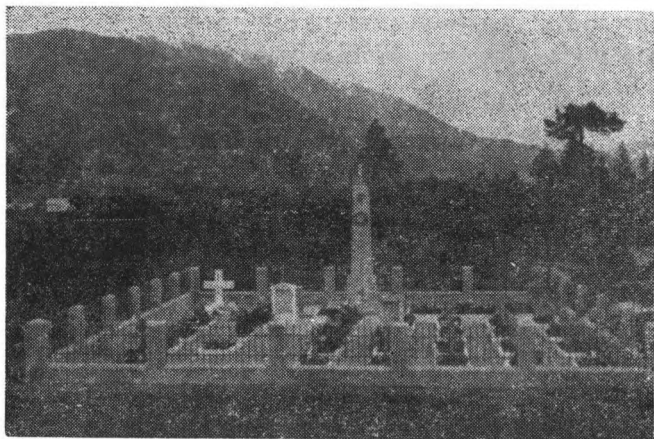
Петр искренне поблагодарил войскового старшину Петра Емельяновича Фоменко за документы и его "мудрость", потом подумав, внимательно оглядел всех станичников, и сказал:

— А все же я тут с вами теперь не останусь. Сегодня же поеду в Лиенц, передам станичнице документ, а потом видно будет, что дальше делать. Не обижайтесь, станичники, — и он попрощавшись, ушел на вокзал Виллаха.

ГЛАВА 7.

Вернувшись от станичников интернированного Белого корпуса в лагерь Пеггеец, Петр сразу же не передал документ Оксане. Встречаясь с нею, он обращался с нею, как со старой знакомой, даже не заикаясь о чем либо постороннем. И все же он не оставлял мысли выехать из Английской зоны Австрии, точнее из Лиенца, ибо проходя через площадь лагеря, он всегда с содроганием вспоминал жуткую картину английского варварства. Вскоре он более достоверно узнал, что в Американской зоне Австрии, в частности в Зальцбурге тоже находится много казаков и живут они в беженских лагерях лучше и спокойнее. И он решил любым способом переехать в Зальцбург, но не сам один, а... с Оксаной.

Однажды, — вскоре после того, как англичане поставили памятник на берегу Дравы тем жертвам, которых они же и убили в лагере 1 июня, — закончив рабо-



**РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИИ СОЛДАТ
АНГЛИЙСКОГО КОРОЛЕВСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
В АВСТРИИ (1 июня, 1945 г.)**

**Кладбище убитых и заколотых штыками англичан
на месте кровавого побоища в бывшем Казачьем
лагере «ПЕГГЕЦ», Лиенц — Австрия...**

ту в лагерной кухне, Оксана не спеша шла в свой барак. Ее встретил Петр и сказал:

— Оксана Терентьевна! Мне нужно срочно поговорить с вами по очень серьезному делу.

— Шо ж, говорить со мной всегда можно, — сказала Оксана, подумав, вероятно, что он опять начнет напоминать ей "проказы юности". — Смену свою на кухне я закончила и теперь до утра свободна. Только... если будет серьезный разговор, то это надо делать не здесь на узкой дорожке и не в бараке, где много чужих людей.

— Разумеется не здесь и не в бараке, где десятки чужих людей шныряют беспрерывно сюда-туда. Лучше всего я пойду сейчас на опушку леса, возле речки, а ты минут через десять тоже придешь туда. Хорошо? Я буду стоять за ближними деревьями и ждать тебя...

Не успел Петр стать за деревьями на опушке леса и оглядеться, как Оксана уже пришла на то же самое место и быстро нашла его. Они прошли дальше в лес и сели рядом на толстое бревно.

— Дорогая, станичница! — немного помолчав, сказал Петр. — Тяжелая доля в последние годы преследует многих, в том числе и нас с тобой. Мы очутились в чужом краю и остались совершенно одинокими. После войны я хотел было сразу же ехать на Родину, но потом раздумал и решил немного обождать. Я до сего дня ничего тебе не говорил о нашей горькой доле, бо ты и сама это знаешь, но я никогда не забывал твоей преданности мне. Ты не только никогда не противоречила мне, но даже рисковала собственной жизнью из-за меня. И вот теперь ты осталась здесь среди чужих людей, и я... тоже одинокий. Ты для меня здесь есть единственно близкий человек и, думаю, что и я для тебя самый близкий среди этого чужого табора. Правда?

— Правда, Петрусь, — и она машинально прижалась к нему, забыв о недавних строгостях при встрече с ним.

— Так вот, Оксаночка, не лучше ли нам быть неразлучно вместе? — мило глянув в ее лицо, сказал Петр. — Только мне не хочется больше здесь оставаться, где этот Пеггец всегда напоминает страшную пятницу июня.

— Мне тоже не хочется здесь быть, — прошептала Оксана. — Каждую ночь во сне мне мерещится первое июня, стоны раненых и жертвы невинных людей. И среди жертв мой... Ванечка, — и она всхлинула.

— Очень похвально, что ты не забываешь его и помнишь всегда, но его нет и не будет. И в этом ты ни капельки не виновата. Так тому быть. Так вот, милая Ксюша, давай вместе уедем отсюда в Американскую зону, в Зальцбург и будем там коротать свои дни, как муж и жена!

— Милый, Петюнька! Твои слова, чудесная сказка для меня, которую я видела во сне еще на Кубани. И не по нашей вине эта сказка сбывается, но возможно ли это? Как мы можем куда-то ехать, когда у нас с собой нет ни одного настоящего документа, да и перебраться в Американскую зону без пропуска нашего коменданта нельзя? Тут многие хотели туда переехать, но пропусков не дают.

— Все это я хорошо знаю и без нужных бумажек не забавлял бы тебя сейчас. Вот документы! — и Петр показал ей документы на свое и ее имя, которые он добыл в Белом корпусе от своих станичников.

— Пропуска мы возьмем завтра, вот посмотришь, — добавил он.

— Лукавым пронырой ты всегда был и тут же остался таким, — засмеялась Оксана. — Вот только непонятно почему в документе написано "Кислая"? Я же была законным браком за Иваном Мищенко и моя фамилия теперь Мищенко!

— Откровенно говоря, то мне так захотелось. Твой Мищенко, ни по своей ни по нашей вине, ушел туда, откуда никто не возвращается. И мне крайне не хотелось его фамилией тревожить твое сердце и покой. Твоя же девичья фамилия мне всегда нравилась и хорошо запомнилась еще от юности нашей.

— Ишь, ты, запомнил мою фамилию от юности нашей! Но если уж не хотел ставить мою настоящую фамилию, то почему же не поставил... Оксана Кияшко?

— Дорогая Оксаночка, я так вначале и думал, но потом раздумал. Видишь ли, если бы я поставил свою фамилию и тебе, то это было бы не совсем правильно. Ты знаешь, что у меня на Родине есть живая и милая жена Даша, которую я никогда ни на кого не променяю. И только у Даши может быть моя фамилия.

— Не понимаю! Ты же сейчас сказал, что хочешь отсюда поехать вместе со мной, коротать нашу жизнь вместе и жить мы будем вместе. Следовательно, ты уже променял свою Дашу на меня?

— Нет, Оксаночка, не променял, никогда не забуду ее и все равно когда-нибудь поеду к ней. Временно мы вынуждены жить вместе и если позже Даша и узнает об этом, она не обидится. Разве мы виноваты, что в нашу эпоху с нами все так случается? Откровенно говоря, ведь мы грешили еще и раньше, просто так, для развлечения, да еще и оглядывались вокруг, чтобы про наши "грешки" никто ничего не узнал. Теперь же здесь на чужбине мы только вдвоем, остерегаться нам больше некого и нам приятнее всего будет вместе. Хорошо? Согласна?

— Еще спрашиваешь! Хоть на день, хоть на миг, даже из-за этого я согласна с тобой хоть на край света, — и она крепко поцеловала его. — Делай, как хочешь, и что хочешь, я на все согласна. Когда же придем на новое место, тогда я вся твоя, — и на этом они разошлись.

На второй день они пошли к другому, русскому

коменданту лагеря полковнику Шелехову, показали свои "настоящие" документы и зарегистрировались у него, как "настоящие" эмигранты из Югославии.

— Собственно, нам до Шелехова идти и не надо было, раз мы тут не собираемся оставаться, — сказал Петр. — Идем лучше сейчас же за пропусками в английскую комендатуру. Слушай меня: что я буду говорить, то и ты требуй для себя.

Они подошли к окошку комендатуры и у секретарши-переводчицы стали просить пропуск в Русский Белый корпус.

— В Тигрин или в Виллах? — спросила секретарша.

— Нет, корпус переместился теперь в другой район, — сказал Петр.

— Куда, говорите, я же не знаю!

— Парш! — не мигнув глазом выговорил Петр.

Секретарша выписала ему пропуск "Лиенц-Парш-Австрия", комендант подписал и приложил печать.

— И вам туда же? — спросила она Оксану.

— Да, мне тоже в корпус, поеду к дяде, в то же самое место, что и этому господину, — сказала серьезно Оксана, кивнув в сторону Петра.

И секретарша тоже оформила и ей такой же самый пропуск.

Больше им ничего и не требовалось. Местечко "Парш", являлось пригородом Зальцбурга, в Американской зоне Австрии, и совсем в противоположную сторону от корпуса, который им и не нужен был. Русская секретарша хотя и знала английский язык, но вряд ли знала элементарную географию Австрии, иначе пропуска в Парш не выписала бы...

Никому ничего не говоря, в полной тайне от всех, Петр и Оксана готовились к отбытию в Зальцбург в самые ближайшие дни. Они решили оставить "Пеггец" с югославами внезапно, чтобы никто не заметил и не помешал бы. И им это удалось осуществить вполне благополучно...

ГЛАВА 8.

Купив билеты на вокзале в Лиенце и приехав на станцию Шпиталь, Петр и Оксана сделали пересадку на другой поезд, шедший до Зальцбурга. В пути была двойная проверка пропусков, — английская и амери-

канская, — на границе обеих оккупационных зон. Прошло благополучно. И без особых приключений к вечеру они прибыли в Зальцбург.

В пригороде Зальцбурга Парше был русский беженский лагерь, но за неимением свободных мест их туда не приняли, а указали на другой лагерь за рекой Зальцах.

Они сразу же трамваем и направились туда. Этот зальцбургский лагерь за рекой Зальцах был чисто украинским и назывался "Лэгэн Казэрнэ", но это их не испугало, так как все черноморцы знали по-украински.

Едва они вошли в большое каменное здание, построенное под военные казармы еще при императоре Франце-Иосифе, как встретили знакомого кубанца Юрченко, бывшего тоже в Казачем стане в Италии, а теперь тут ставшего "щирым украинцем и даже помощником коменданта.

Поздоровавшись с ним по-казачьи на русском языке, Петр объяснил причину его появления здесь.

— Тсс, тише, — предупредил Юрченко, — нэ забувайтэ дэ вы зараз знаходьтэсь, — сказал он, — Розмовляйтэ лыше по-українські, бо галычанэ страшно не люблять "москалив" и вам могут пришить ярлык "москаля". И про Кубань нэ згадуй! Украинець з Днипра и всэ. Балакать же мы можем и по-русски и по-украински, ведь черноморцы-потомки запорожских казаков, значит украинцы.

— То всэ добрэ я знаю, пан Юрченко, — стараясь говорить на польско-галичанский лад, сказал Петр, — но у меня документ, и притом единственный, где указано, что я старый русский эмигрант из Югославии, то есть "москаль".

— Тут много есть таких же "старых эмигрантов". Я вот зарегистрировался, как украинец из Польши, и даже свидетельство о рождении достал от одного униатского попа-галичанина, что я и родился в Польше. Но ты то мою станицу Роговскую на Кубани хорошо знаешь, как и я твою Старо-Минскую, но об этом ни слова здесь. То хто, жинка твоя? — кивнув в сторону молча стоявшей тут же Оксаны, спросил Юрченко.

— Мабуть жена раз пришла со мной и стоит рядом с вещами. И не какая-нибудь чужая, по дороге найденная, а родная станичница.

— Повезло тебе, пан Кияшко, шо свою станичницу

имеешь! Только тут не говори другим слова "жена", а "дружина", так польские магистры любят. Ну, добрѣ, пошли до пана коменданта!

Комендантом украинского лагеря "Леген-Казерне" был американский поляк Роговский, но когда в его кабинет зашли кубанцы его там не было, а сидел его помощник от украинцев, пан профессор Левченко.

— Що вы так запізно приходите сюды, панѣ Юрченко? — сказал Левченко. — Вже вечірній час и пана коменданта нѣма. Та вы й так добрѣ знаете, що без посвідки Украинського Допомогового Комитету, нікого в наш табір приймати мы не можемо. Якщо вы цих людей добре знаете, то дозволты йим дѣ-нібудь переночувать у нас, а завтра нѣхай принесуть посвідку от Украинского комитета, який е тут же в Зальцбургу, й тоді мы й их зареєструємо на постійнѣ мешкання...

— Добрѣ, пане профессоре, дякую! — сказал Юрченко и они сейчас же вышли в коридор.

— Так вот що, пановѣ старые эмигранты, — усмехнувшись сказал Юрченко и начал по-русски, но негромко:

— Левченко сказал правильно, такой порядок и есть в нашем лагере, то бишь, в таборе и выход из вашего положения есть такой: моя "резиденция" находится на втором этаже в уголку одной большой комнаты и уголок этот завешан двумя старыми одеялами. Не смущайтесь, что в той же самой комнате ютится теперь несколько семейств, но каждая отгорожена от другой тоже одеялами или брезентовыми палатками. Так вот, в том моем уголку стоит и маленькое "ліжко", — запомните, не кровать, а ліжко, то по-галичански. Занимайте этот уголок и ліжко на эту ночь, а я по холостяцки переночую и на кухне. Там, кажется, еще и суп остался... Он привел новых "таборян" в комнату, показал свою "резиденцию" и "ліжко" и ушел.

Петр и Оксана, не обращая внимания на разношерстных людей в комнате, стали разглядывать свою "квартиру". Под стенкой стояла односпальная деревянная кровать ("ліжко") пана Юрченка. На ней полотняный, набитый соломой матрац и одна подушка без верхней наволочки; в ногах скомканное старое одеяло и рядом скамейка. На стене — ряд больших гвоздей, для вешания одежды и была половина окна, выходящего на улицу. (Другая половина принадлежала другим за одеяловы-

ми перегородками). Вот и все. Этот завешанный одеялами треугольник "резиденции" Юрченка имел всего по два метра длиной каждая из трех его сторон.

Но прибывшая из Лиенца пара ничуть не огорчилась. Сняв верхнюю одежду и достав висевший на гвозде котелок, Петр сошел вниз на кухню и принес оттуда полкотелка хорошего горохового супа и поставил на скамейку. Но ложек не было у них, а просить у соседей не захотел, то они хлебали густую гороховую жидкость прямо через край котелка, благо суп был почти холодным.

"Поужинав", они разделись по домашнему, развесили всю одежду на торчавшие в стенке гвозди и начали укладываться на ночь на узеньком "лижку". Но так как такое стеснение явилось вроде как бы их первой брачной ночью, то разные неудобства и узость кровати были даже приятными для них.

— Вот ты, Оксаночка, и опять прижалась ко мне так же близко, как и двадцать-двадцать пять лет тому назад, — посмотрев в ее полузакрытые глаза и натягивая на ноги одеяло, сказал Петр. — И не на пять минут, и не на одну ночь. Эх, если бы мы с тобой оказались в таком положении и на таком лижку двадцать лет тому, а то шо ж, старик я стал, пятьдесят годочков не шутка!

— Таких стариков побольше бы, то и наши бабочки никогда не скучали бы, — улыбаясь, но не открывая глаза, сказала Оксана. — Впрочем, кто же виноват был, что мы еще от юности не соединились вместе? Разве я когда-либо раньше была против тебя? Помнишь, как еще в тринадцатом году твой батюка прислал тебя свататься ко мне, а ты как обошелся со мною тогда? Оскорблял свякими непристойными словами, сукой называл, грозил "искарежить, как Бог черепаху" если соглашусь замуж за тебя. Так ведь было, помнишь? Я позже узнала, что то сватовство было помимо твоей воли, но я и тогда любила тебя не меньше, чем и позже.

— Ну и память же у тебя, моя галочка, ничего не забыла. Обижаетесь?

— И не думала! Я тогда же поняла, что насильно мил не будешь, а у тебя уже была милая дивчина.

— Да, тогда уже была у меня милая дивчина, Даша Костенко, с которой я любился со школьной скамьи, дал слово жениться, и женился на ней. И моя Дашенька останется милейшей для меня на всю жизнь.

— И теперь?

— Тоже и теперь, и навсегда.

— А кто же я тебе? Ведь ты же лежишь сейчас со мною и сам захотел так устроить, чтобы я была с тобою. Значит, ты просто так...

— Милая Оксаночка! Ты тоже любимая и с добрейшей душой и сердцем, и мне приятно быть с тобою, но все же ты... не Даша. А... зачем об этом будем говорить в такой приятный час? Ты и теперь хочешь ласкать меня также, как и на вашем хуторе Токарева за речкой Ея. И... такая же.

— Ич, як запомнил, усадьбу Токарева! "Такая", говоришь? Нет, уже старухой стала. Может, еще вспомнишь и наше прядево в ночь под Ивана Купалы? Ах, ты, милое лукавое наваждение! Гы-гы-гы! Ха-ха-ха!, — и гогоча, Оксана страстно стала его целовать.

— Тише, не сильно гогочи, "Дурносмих"! Мы же не одни в этой комнате.

— Опять дразнишься "Дурносмихом"? Называй меня, как хочешь, но уйти от меня ты теперь не уйдешь. И если я "такая же", то держись старик, я тебя замучаю сегодня!

— Шо ж, моя старушка, можешь мучить меня как угодно по этой части, сегодня твое полное право...

На второй день "молодожены" пошли в Украинский комитет, получили за десять шиллингов удостоверения, что они украинской нации, вернулись в "Леген-Казерне" и зарегистрировались на постоянное пребывание в лагере. Других свободных мест не было и они так и остались в прежнем уголку, на узеньком "ліжку", а Юрченко пристроился в другой комнате...

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ГЛАВА 1.

Отбыв из Белого корпуса на лечение в Белград, Никифор Кияшко назад не вернулся, хотя через месяц был уже здоров. Так он и остался в Белграде до прихода Красной армии.

Уже после выздоровления он узнал, что его сын Григорий, служивший в казачьих частях у немцев, немецким же офицером и убит. После многолетней разлуки, он только один раз и встретился с ним в корпусе, после боя с сербскими партизанами.

Такая печальная весть слишком повлияла на Никифора: он как-то осунулся, сразу постарел и смотрел на всех с ненавистью. Лютая ненависть появилась у него не только против немцев, но и против Белого корпуса, и против всех, кто сотрудничал с немцами, но в то же время он боялся репрессий и со стороны красных.

Через несколько дней после занятия Белграда Советской армией и Освободительной армией Югославии, Никифор решил навестить Кубанского генерала Белой армии Михаила Фостикова и спросить у него совета: что же теперь делать старым эмигрантам, оставшимся в Югославии?

Как известно, генерал Фостиков учительствовал в сербских школах, в политических группировках эмиграции почти не участвовал и новая власть его не беспокоила.

В квартире Фостикова, Никифор увидел и другого Кубанского генерала, Вячеслава Матфеевича Ткачева, командовавшего авиацией в Добровольческой армии Деникина, а затем у Врангеля в Крыму, до Гражданской войны бывшего русским летчиком-испытателем. Ткачев тоже не был на службе Белого корпуса и у немцев не служил, поэтому тоже не стал уходить из Белграда при приближении красных.

Первое, что весьма удивило Никифора это то, что генерал Ткачев уже взял советский паспорт и собирался ехать в Советский Союз.

— Надо нам всем возвращаться на Родину, Никифор Тарасович, и послужить родному народу, сказал он Никифору. — Довольно уже скитаться на чужбине!

— Простите, ваше превосходительство . . .

— Теперь я не "превосходительство", — перебил он Никифора.

— Но как же вас теперь разрешите именовать?

— Мои советские коллеги, с которыми на днях я отправляюсь в распоряжение воздушного флота СССР, величают меня "товарищ генерал". Если это вам, может, не нравится, то лучше называйте меня по имени и отчеству, как и я вас назвал.

— Слушаюсь! Я только хотел спросить вас, Вячеслав Матвеевич, вот о чем: неужели вы не боитесь советских репрессий? Ведь вы же бывший генерал Белой армии и в эмиграции чего-то выжидавший двадцать пять лет!

— Если до сего дня меня не тронули, то я не буду репрессирован и позже. И если честно буду служить авиации, которую хорошо знаю, авиации советской России, то ничего плохого со мной большевики не сделают. Хотя я в эмиграции уже и двадцать пять лет, но ни в каких политических авантюрах против Советской России не участвовал, а "там" все это хорошо известно. Мне стукнуло уже шестьдесят лет, надо же послужить Родине хоть в последние годы моей жизни. . .¹⁾

Никифор ничего ему больше не сказал и обратился к генералу Фостикову.

— А вы, Михаил Архипович, простите, ваше превосходительство! Я теперь уж совсем запутался и не знаю, кого и как величать.

— Можете обращаться ко мне, как хотите: и "ваше превосходительство" и просто — Михаил Архипович.

— Покорно благодарю, Михаил Архипович! Может

1) Бывший начальник авиации в Добровольческой армии генерала Деникина и у Врангеля до самой эвакуации из Крыма, в 1945 году, генерал-майор Вячеслав Матвеевич Ткачев вернулся из Югославии в Советский Союз и стал служить преподавателем и инструктором в учебных заведениях воздушного флота СССР. Им были написаны и изданы две похвальные книжки о советской авиации. Умер он в Краснодарском крае (Кубань) в 1964 году . . .

Ф. К.

вместе с Вячеславом Матвеевичем и вы решили ехать на Родину?

— Никуда я отсюда не поеду, — ответил Фостиков. — Хотя я в эмиграции в основном только учительствовал и к немцам служить тоже не пошел, но и на Родине теперь мне делать нечего. Я не специалист-авиатор, как Вячеслав Матвеевич, а мне уже за шестьдесят и в моем учительстве вряд ли там нуждаются. Тут я буду опять учительствовать, пока силы есть и это, думаю, тоже доброе дело...

Поговорив еще немного и не добившись от обоих генералов ничего для себя подходящего, Никифор повоенному простился с ними и ушел, глубоко задумавшись...

ГЛАВА 2.

Как только война в Европе была закончена, из Советского Союза в Белград, помимо военных и политических деятелей, прибыла и группа комсомольцев на конференцию югославской молодежи.

В числе советской молодежи была и Екатерина Шевченко.

Кроме присутствия на конференции каждому из прибывших из Советского Союза было дано и особое задание. Так, например, орденосноске Шевченко и одному студенту из Ростова на-Дону было поручено точно узнать о Русской эмигрантской библиотеке в Белграде и о Кубанских войсковых регалиях, вывезенных из Екатеринодара еще в 1920 году. Последнее особенно поручалось Кате, как Кубанской казачке, хотя она последние годы и не жила на Кубани, но всегда интересовалась историей казачества.

По некоторым данным было известно, что Кубанские регалии хранились в Белградской крепости в Сербии, ставшей потом королевским музеем. Туда и направились Катя и ростовский студент, но никаких регалий из Кубани там не оказалось. Также не оказалось в Белграде и книг в бывшей большой эмигрантской библиотеке.

— Эвакуировавшиеся белые эмигранты все вывезли на Запад, — сказал русский сотрудник библиотеки. — Когда к Белграду стала приближаться Советская армия, то Кубанский атаман генерал Науменко вытребовал

вал от немцев шесть товарных вагонов, погрузил в них почти все книги библиотеки, а также и двенадцать длинных ящиков с Кубанскими войсковыми регалиями, штандартами, старинными знаменами и другими историческими ценностями и все это было отправлено на Запад в Германию . . . *)

Так Катя Шевченко и ростовский студент специального задания и не выполнили: ни Кубанских войсковых регалий, ни русской эмигрантской библиотеки в Белграде не оказалось.

Вечером Катя пошла в городской клуб. Там она увидела не только своих комсомольцев, прибывших с нею из Советского Союза, но заметила и много старых эмигрантов, которые при отступлении немцев не захотели никуда эвакуироваться и остались, как они говорили, "на милость победителя".

Некоторые подходили к ней и расспрашивали о жизни на Родине. Ей показали на видного бывшего офицера, сидевшего с какой-то пожилой дамой возле стола и рядом стояли два советских офицера.

— Кто это? — спросила Катя своего собеседника.

— Это бывший начальник авиации Белой армии, Кубанский генерал Ткачев. Из Крыма эвакуировался вместе с Врангелем и все время живет в Югославии.

Слыша, что это генерал с Кубани, Катя неуверенно подошла к нему и немного стесняясь, спросила:

— Простите за нескромный вопрос: правда, что вы Кубанский генерал?

— Так точно, милая соотечественница! Бывший летчик и бывший генерал Белой армии Ткачев! — ответил сидевший, привстал и слегка поклонился ей.

— Я тоже с Кубани и мне приятно встречаться с

*) Вывезенные Кубанским правительством в 1920 году из Екатеринодара в Сербию Кубанские войсковые регалии, хранились все время в Югославии . . .

В 1944 году, когда немецкая армия стала поспешно отступать и к Белграду приближались советские войска, все двенадцать больших ящиков с Кубанскими регалиями и историческими знаменами и прочим, стараниями генерала В. Г. Науменко были вывезены в Германию.

В 1949 году все эти ящики с регалиями были отправлены в Соединенные Штаты Америки, где находятся и теперь . . .

Ф. К.



Кубанские офицеры в Нью Йорке в 50-х годах возле знамен своих Казачьих предков.

Слева: Полковник Ф. И. Елисеев

Справа: Полковник М. И. Зарецкий

любыми кубанцами в любом месте, кто бы они в прошлом ни были, — сказала Катя.

— Похвально, своих земляков никогда чуждаться не надо. С кем имею честь говорить, красавица?

— Екатерина Николаевна Шевченко, родом из станицы Старо-Минской, но жила больше в Донбассе. Скажите, — она немного замаялась. — Простите, как вас лучше всего величать?

— Лучше всего по имени и отчеству. Мое же полное имя Вячеслав Матвеевич Ткачев, а о генеральском чине упоминать, пожалуй не стоит.

— Спасибо, — и Катя тоже слегка поклонилась ему. — Скажите, Вячеслав Матвеевич, что вы намереваетесь дальше делать в эмиграции?

— Ничего не собираюсь делать, потому что и эмигрантом больше не желаю быть. Имею уже советский паспорт и на днях возвращаюсь в Советский Союз. Хочу хоть на старости послужить Родине, передать свои знания авиатора воздушному флоту и его молодым ге-

роям-летчикам. Хочу честно послужить родному народу, а не бездельничать на чужбине всю жизнь...

— Поздравляю, товарищ генерал! Теперь я смело могу вас так именовать, а вначале сомневалась, — и Катя искренне пожала ему руку. — Такие люди на нашей Родине всегда будут нужны. Меня интересует один маленький вопрос к вам: мой родной дядя тоже бывший белогвардейский офицер, покинул Кубань с Врангелем и в эмиграции жил тоже в этом самом Белграде. Может слышали о нем и знаете, где он может быть теперь?

— Только не говорите здесь "белогвардейский офицер", а "офицер Белой армии", тут это более приемлемо. Ну, не важно. Как фамилия вашего дяди?

— Кияшко Никифор Тарасович.

— Есаул Кияшко Никифор? Как же не знать! Очень хорошо его знаю и на днях встречался с ним у генерала Фостикова. Честный кубанец! Не захотел долго оставаться среди монархистов Белого корпуса и служить под немецким флагом, вернулся в Белград и так тут и остался. И правильно сделал. Он здесь тоже бывает, ведь по существу это русский клуб. О, легок на помине, вот и он шагает!

Катя с волнением стала смотреть на подошедшего к Ткачеву и вежливо поздоровавшегося с ним уже стареющего, но со стройной походкой мужчину в штатском, с улыбкой и глазами похожими на глаза ее мамы.

— Что ты, красавица, так пристально глядишь на меня, старика? — повернувшись от Ткачева и видя ее немигающий взгляд, спросил подошедший.

— Простите, я... кто вы такой и откуда? — шагнув к нему ближе, волнуясь спросила Катя. — И вы... меня не признаете?

— Не могу признать, красавица, первый раз вижу. И даже любопытство твое не могу удовлетворить, потому что и сам не знаю, кто же я теперь? Родом казак с Кубанской области, по фамилии Кияшко, бездействующий белый эмигрант с двадцатого года, вот и все. А ты же, кто такая будешь, что так интересуешься моей особой?

— Никифор Тарасович Кияшко? Я... ваша племянница, Екатерина Николаевна Шевченко. Моя мама, Агафья Тарасовна, ваша родная сестра...

— Что, что, шо такэ? Катерина моя племянница? — впившись в нее взглядом удивился Никифор. — Да,

Гашка, или Агафья Тарасовна, моя родная сестра, но откуда же ты взялась? Впрочем, что же я! Ведь уже двадцать пять лет прошло, как я покинул Родину, и Гашка стала женой Шевченко и значит ты... Все естественно. Так ты, значит, с Родины, и моя родная племянница? Ну, здравствуй, здравствуй родненькая, — и взяв протянутую руку, он привлек ее к себе и крепко поцеловал в губы. Еще раз поглядел ей в глаза с умилением, потом вдруг сразу стал серьезным, отступил на шаг и почти грубо сказал:

— Пстой, пстой! Не ты ли была во время войны в сербском партизанском отряде и мой Гриша погиб из-за тебя?

— Да, я была в сербском красном партизанском отряде, меня поймали немецкие эсэсовцы, я встречалась с ним сначала как с врагом, а потом как с нашим другом. Он освободил меня от расстрела и привез в наш партизанский отряд и больше я его не видела. Позже узнала, что он погиб по своей собственной глупости и никто другой в этом не виноват. Зачем он опять подался к фашистам? Вернее, он и сам не понимал, кому надо и как служить. Стоял на перепутье и так и погиб. По своей вине...

— То верно, двойственность его я и сам видел. Я однажды встретился с ним в нашем полку, когда я еще был в корпусе. Он не очень хотел служить и под фашистским флагом и также ненавидел сталинизм. От своих отошел и к чужим не пришел. Мне, конечно, очень жаль его, сын ведь родной!

— Мне тоже очень и очень жаль его, дядя, но я не виновата, я бы его таких скоропалительных действий не допустила и спасла бы, но в те дни меня опять посылали на задание в дальний район. Теперь говорить об этом поздно, Гриши нет, — и она всхлипнув прильнула к плечу Никифора.

Никифор ничего не говорил больше и молча гладил ее пышные темные волосы, выбивавшиеся из под косынки на обе стороны ее плеч.

— Никифор Тарасович! — слыша их диалог, сказал Ткачев. — Не надо обвинять девушку, да еще и племянницу в том, что прошло. Я тоже слышал о гибели вашего сына и Катя тут не при чем. На войне, на любой, чего только не случается...

Никто ему ничего не ответил и несколько минут все молчали.

Потом Катя, вытерев слезы и просительно глянув в глаза Никифору, сказала:

— Дядя, родненький! До каких пор вы будете околачиваться на чужбине? Почему не возвращаетесь на Родину? Тетя Наташа, ваша жена, все время плачет и плачет за вами, всю жизнь свою мается, бедная, одинокой. Она говорила, что в письмах из Югославии вы много раз обещали ей вернуться в край родной, но до сих пор так и не вернулись. Почему? Кто и что вас тут удерживает?

— Правда, в письмах не раз обещал. "Плачет", говоришь? Бедная Наталочка, она действительно всю жизнь без меня мается. Меня здесь, никто и ничто не удерживает, но, откровенно говоря, боюсь я возвращения. Как никак, офицер Белой армии, двадцать пять лет был в эмиграции за границей и прочее.

— Ну и что же, что вы бывший белый офицер? Вы же не добровольно пошли к Деникину, а по мобилизации! Вот сидит здесь не какой-то офицеришка, а Кубанский генерал Ткачев, генерал Белой армии Деникина и занимал там должности посолднее вашей, но и он не боится возвращаться в Советский Союз и на днях выезжает на родину. Правда, ведь, Вячеслав Матвеевич? — обратилась она к Ткачеву.

— Так точно, Екатерина Николаевна! — ответил генерал. — Не отставайте от вашего дяди, пока он не образумится.

Никифор ничего ему не ответил, а опять сказал Кате:

— Есть основания бояться, племянница. Слышал я, что всех офицеров Казачьего стана вывезли из Лиенца и передали советскому командованию, а те всех их арестовали и увезли под стражей.

— Знаю, но тех офицеров англичане отправили в Советский Союз, как военных преступников, они были захвачены в немецкой военной форме, добровольно пошли служить Гитлеру и по общесоюзному соглашению должны быть наказаны. Но и казачьих офицеров не всех накажут: кто не служил в эсэсовских карательных отрядах, не грабил и не убивал мирных жителей, тех освободят. Вот, например, тот же ваш Русский Белый корпус, в котором и вы немного служили, только разоружен, но свободно пребывает в той же английской оккупационной зоне Австрии, что и Лиенц. Англичане нико-

го из них принудительно не передают советским властям, так как уголовщиной и бандитизмом корпусники не занимались, карателями мирных жителей не были и никогда не являлись советскими гражданами, следовательно настоящими военными преступниками считать их нельзя.

— Хотя твои разъяснения почти совпадают с действительностью, но все же они мало меня убедили, — сказал Никифор. — Однако я все же серьезно подумаю и скажу тебе завтра или послезавтра. Приходи сюда вечером и мы еще раз обо всем поговорим...

И на этом они в тот вечер расстались...

ГЛАВА 3.

На второй день вечером, как и было условлено, Катя Шевченко пришла в городской клуб, но Никифора там не было. И на третий день тоже в клубе она его не видела.

Катя уже стала волноваться: не пореубедили ли дядю его сослуживцы? Она узнавала его адрес и собиралась даже пойти к нему на квартиру, так как через два-три дня должна была выехать из Югославии в Советский Союз, но когда она пришла в клуб через три дня после первой встречи, то сразу же увидела Никифора, стоявшего в стороне с кем-то незнакомым.

Она сразу же подошла к нему, любезно поздоровалась и с улыбкой спросила:

— Ну, что, дядя Никифор, вы еще до сих пор не приняли моего предложения о возвращении?

Вместо ответа, Никифор вынул из внутреннего кармана пиджака советский паспорт и показал племяннице.

— Bravo, bravo, дяденька! — захлопала в ладоши Катя и обняв за плечи, поцеловала его. — И когда же вы так быстро успели получить паспорт?

— Только сегодня, Катюша! Позавчера подал заявление, а сегодня уже и получил. Без всякой волокиты и длинных расспросов, так просто и быстро. Генерал Ткачев с небольшой группой уехал вчера, а я выеду один через несколько дней. Надо кое-какие дела здесь закончить, рассчитаться со всеми и попрощаться с остающимися кубанцами, хотя они на меня и косо глядят теперь. Я понимаю их, но мне надоела чужбина. Главная же,

единственная цель моя теперь, это увидеть всех своих живых родных и близких, обнять, поцеловать, вздохнуть хоть раз родным кубанским воздухом, а потом пусть хоть стреляют, хоть вешают, согласен.

— Никто вас там не будет, ни вешать, ни стрелять и вы будете свободным гражданином своей великой Родины. Это я говорю вам с полной ответственностью и гарантией. Вот обрадуются и тетя Наташа, и моя мама, и все, все!

— О встрече с ними, я только и думаю. Вот еще что я хотел тебя спросить, Катенька: не знаешь ли, где теперь может быть мой брат Петр, дома или нет? И живой ли он вообще?

— Про дядю Петю ничего не могу сказать, где он и жив ли вообще, — пожав плечами, сказала Катя. — Из-за глупой пьяной компании он попал в НКВД, был осужден и находился в Ухто-Ижемском исправительном лагере. Потом его освободили и направили на фронт. В сорок третьем году мы имели от него письма с Волховского фронта, а потом он словно в воду канул: ни слуху, ни духу. Тетя Даша послала розыск о нем, но ответа еще нет.

— Печально. Единственный брат и тот в неизвестности. Что ж, всякая война, как война и есть, жертвы неизбежны. А может он и жив еще?

— Вполне возможно! Ведь и военнопленные еще не все вернулись, война то в Европе только-только закончилась. Ну, счастливого пути, дядя!

Я завтра, наверное, выезжаю со своей группой молодежи. Ждите меня в гости в родную Старо-Минскую! — и крепко по-родственному поцеловал Никифора, она пошла к стоявшей в клубе своей группе молодежи...

Через несколько дней Никифор действительно уехал, но за пределами Югославии случайно попал в тот поезд, шедший в Советский Союз, в котором находились под охраной попавшие в плен к англичанам в немецкой форме несколько десятков казаков и офицеров из дивизии генерала фон-Паннвица. В Каменец-Подольске он хотел пересест в другой поезд, чтобы ехать в сторону Ростова на-Дону и дальше на Кубань, но его задержали, отобрали все документы и привезли в Кировоград. Там его посадили в камеру предварительного заключения вместе с другими и начали вызывать на допросы.



ЗНАМЕНА И ШТАНДАРТЫ КУБАНСКОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДИВИЗИИ, НАХОДИВШИЕСЯ НА ХРАНЕНИИ В БЕЛГРАДЕ, ЮГОСЛАВИЯ. (17 знамен и штандартов от 1813-го до 1913-го годов...)

Никифор правдиво рассказал всю свою биографию, чем он занимался в Югославии, доказывал что он абсолютно непричастен к дивизии фон-Паннвица и потребовал назад свой советский паспорт и освобождения.

— Никакого вашего советского паспорта в нашем деле нет, гражданин Кияшко, — сказал следователь, — а разыскивать у нас нет времени. Вы белогвардейский офицер, долголетний эмигрант. Если вы утверждаете, что не были в Казачьей дивизии фон-Паннвица, то сами же не отрицаете, что были в Белом корпусе под тем же фашистским флагом. Все! Завтра получите окончательный ответ...

Такое спешное разбирательство спецследователей было потому, что сотни настоящих военных преступников были на очереди для расследования. Скорее всего, что Никифор попал к несерьезному и свежее испеченному военному следователю и это привело к тому, что он был причислен к военным преступникам и осужден на десять лет заключения в лагере НКВД, или как оно стала именоваться после войны — "МВД".

"Где же твоя гарантия, Катрюся, — думал Ники-

фор, находясь в поезде осужденных, направлявшихся на восток. — Не ты ли уговаривала меня и ответственно гарантировала мне свободное возвращение на Родину? Вот оно, какое возвращение.

Все же ему удалось отправить подробное письмо в Старо-Минскую, о всем с ним случившемся. Это письмо сразу же стало известно Кате.

Она немедленно помчалась в Москву, явилась в нужный отдел Министерства Внутренних дел и в сильном возбуждении заявила:

— Вы о мне должны знать! Я красная партизанка, Катя Шевченко дважды орденоска. Обо мне писалось в газетах. Осужденный Никифор Кияшко мой родной дядя, которого я лично уговорила к возвращению на Родину, когда недавно была в Белграде. Его сын расстрелян немецкими эсэсовцами и он и капельки не подходит к военным преступникам. Белый генерал Ткачев вернулся почти разом с ним и никто его не тронул, почему же Кияшко осудили?

— Не волнуйтесь, товарищ Шевченко, послевоенные ошибки вполне возможны, — сказал сотрудник МВД, записывая все данные. О вас мы хорошо знаем, но все же произведем проверку. И если все сказанное вами, подтвердится нашими органами расследования, а в этом я не сомневаюсь, то ваш дядя будет немедленно освобожден. Вы правы: если он был в Белой армии и в эмиграции, то это еще не основание для его осуждения. Тем более, что вы лично его уговорили к возвращению. Ваш адрес и все данные о Никифоре Кияшко вы уже мне оставили. Не волнуйтесь! Все уладится...

И Катя уехала из Москвы к месту своей работы в Харьков, написав в Старо-Минскую о своем посещении Москвы.

Не прошло и двух месяцев, как Катя получила письмо из Старо-Минской непосредственно от самого Никифора Кияшко. Он благодарил ее за, хотя и с приключениями, но все же выполненное обещание о благополучном возвращении. Приговор ему был отменен, обвинения в военных преступлениях сняты и он, наконец, пришел в родную станицу, к своей семье.

Таким образом, после двадцати пяти лет эмигрантских скитаний, Никифор Кияшко вернулся на Кубань в родную станицу, где с несказуемой радостью был встречен, хотя уже и поседевшей, но такой же милой супру-

гой Наталкой и всеми родными и близкими станичниками.

После войны мужчин в станице было мало и его сразу же пригласили на ответственную работу в тот же колхоз, где работала и его жена.

— Ты, Наталочка, хоть через столько лет дождалась своего, — всхлипывая, говорила Даша. — Когда же я дождусь своего голубочка, Петюньку.

— Дождешься, Дашенька, дождешься, — утешали ее и Никифор и Наталка. — Если жив, то хоть поздно, но дождешься.

— Но жив ли он? — и она опять горько плакала.

Никто ей на это ничего не отвечал, так как никто ничего и не знал...

ГЛАВА 4.

...А "голубочек" Петюнька, которого так оплакивала Даша, безмятежно находился в Зальцбурге и мило проводил "медовые" месяцы с Оксаной Кислой. Всем украинским лагерникам казалось, что эта милая пара уже лет двадцать в законном и неразлучном супружестве.

Приварок на лагерной кухне хотя был и неважный, но кроме этого они получали еще консервированные продукты и от Красного Креста, и от Папы Римского и еще от кого-то. Кроме этого Петр научился промышлять еще и среди австрийских "бауэров" (крестьян), выменивая у них на сахарин и старую одежду "шпэк" (копченное сало), яйца, масло и хорошую, из яблочного соку ("мосту") самогонку.

Так и коротали они дни и месяцы в украинском лагере "Лэгэн Казэрнэ", чего-то ожидая и каждый день надеясь на завтрашнее "авось".

Глядя на других, они вскоре тоже записались на выезд за океан — в Аргентину, Соединенные Штаты Америки, Канаду и еще куда-то.

В 1947 году несколько украинских семей перевели в другой, рядом с Зальцбургом расположенный лагерь "Глазенбах", в основном заполненный беженцами из Прибалтики: латышами, литовцами и эстонцами. Но были там небольшие группы и других "дипистов": русских, украинцев, мадьяр и т. д. В это перемещение из Лэгэн Казэрнэ попали и Петр с Оксаной.

В лагере Глазенбах было больше жилой площади и им предоставили в бараке хотя и небольшую, но совершенно отдельную комнату, с настоящей кроватью, столиком, двумя стульями и железной печкой для дров. Они были очень рады и такой "роскоши".

К получаемому обеду на лагерной кухне, Петр добавлял еще обмененные за сахарин и старое барахло продукты от австрийских крестьян ("бауэров").

Австрийская полиция усердно охотилась за такими новыми "промышленниками" из "Ди-Пи" (Перемещенными Лицами), которые сотнями привозили от бауэров яйца и прочее, в то время, как в магазинах в продаже этого ничего не было и только к Пасхе отпускали по карточкам по... одному яйцу...

В лагеря, находящиеся под американским флагом, австрийские полицейские войти не имели права, но если таких беженских "спекулянтов" они встречали за пределами лагеря, на вокзале или в другом месте, и обнаружив в их корзинах больше десятка яиц и килограмма жиров, то не только все отбирали, но еще и штраф налагали.

Однажды, прибыв от бауэров на станцию Глазенбах, Петр сошел с поезда и укрепив за спиной рюкзак с яйцами и копченым салом, по узкой тропинке направился к недалеко находившемуся своему лагерю. Но едва прошел он метров двадцать, как ему перегородили дорогу два австрийских полицейских.

— "Вас ист дас? Айер унд шпэк?" — язвительно спросил один из них, хватая обеими руками за рюкзак.

— "Дас ист майн"! — откидывая руки полицейского, сердито сказал Петр. — Не прикасайтесь, это мое. — Я это не украл, а честно купил у крестьян...

Такой ответ ясно не имел никакого значения и полицейские силой стали отнимать у него рюкзак. Петр не давал и вступил в неравную борьбу с ними.

Борьба была рискованная, ибо в случае их увечья они могли применить и оружие. Видя, что они не отпускают и все равно заберут себе весь рюкзак, он со всей силой бросил его на землю и стал топтать ногами, пока из всех яиц не получилось лужа сырой яичницы.

— Раз для меня нет, то и вам, гады, не будет, — Процедил он сквозь зубы и, вырвавшись из их рук, побежал к своему бараку.

Полицейские грозно кричали, но не стреляли и гнаться за ним тоже не стали...

— Дай стакан самогонки! — едва вскочив в свою комнату в бараке, крикнул Петр Оксане.

— Боже мой, Петенька! Что с тобой случилось? Чего ты такой взволнованный? И рубашка разорвана и лицо в крови! — поспешно наливая и подавая ему полный стакан самогонки, со страхом говорила Оксана.

Петр почти вырвал из ее рук стакан и залпом осушил до дна.

— Проклятые фашисты, перекрасились теперь в демократических полицаев, а повадки все эсэсовские, нападают и грабят по-прежнему унтэрмэншей! Напали на меня недалеко от лагеря, стали отнимать, но тоже не попользовались, гады, — и он рассказал ей о встрече с полицейскими и о судьбе тех яиц, что он нес в рюкзаке.

— Ну, чорт с ними, и с яйцами и с полицейскими! Не надо так волноваться, Петрусь! Это не только с тобой, а и с другими нашими лагерниками они также поступают. Их право, что ж поделаешь? Пусть подавятся этим шпэком! Слава Богу, что вернулся невредимым, — и она стала ласкать его и утешать.

Петр выпил еще самогонки, поел приготовленный Оксаной ужин и махнув рукой, успокоился...

Помня, высказываемую на фронте "теорию вероятности", что второй раз бомба не попадает точно в то же самое место, он решил, что и полицейские не могут появиться скоро на том же самом месте и на второй день опять поехал к австрийским бауэрам за яйцами, вместо того, чтобы "покаяться" и больше не "спекулировать". И поездка его увенчалась полным успехом: до сотни яиц, килограмма три сала, масла и жирную живую курицу благополучно доставил он в свою комнату в лагерь и никто его нигде не встретил и не мешал...

Оксана была довольна тем, что она с любимым "лучкавым наваждением" и ни о чем не думала, но Петр начал грустить все больше и больше. Грустные мысли о судьбе его близких в родной станице не покидали его и он скучал за домашними, хотя на ласки и преданность Оксаны он не мог жаловаться, но чего-то нехватало. Наконец он написал подробное письмо Даше в Староминскую, разумеется, умолчав о сожительстве с другой, а обратный адрес указал не свой, а станичника Скубака, находившегося в соседнем лагере "Парш". Во-первых

это нужно было, чтобы в концелярии своего лагеря не дознались, что он не "старый эмигрант", как он записан, а бывший советский, а во-вторых, боялся, что при получении ответа Оксана может не показать ему письмо.

Оксана знала об этом письме, но ничего не препятствовала, а только однажды сказала:

— Раз ты написал письмо Даше, значит мыслишь меня оставить и уехать на Родину к жене?

— Я тебе еще в Лиенце говорил, что мою Дашу я ни на кого не променяю, — сказал Петр. — Если мы сошлись здесь и живем вместе по обоюдному согласию, то это временно и вынужденно, потому что мы остались в одиночестве и нам вместе приятнее. О Дашеньке я всегда думаю, но и тебя жаль и я тебя тоже не хочу оставлять.

— Ничего не понимаю: и Даша и я, что-то ты мудришь.

— Я и сам не понимаю, но это так. Сосет у меня под ложечкой, милая голубушка, не могу я привыкнуть к чужбине. И что это за жизнь в бараках, среди скученных и чужих людей, в чужой стране, на положении бесправных "унтэрмэншей"? Нет, надо что-то думать другое. Как получу благоприятный ответ из дому, так и уеду. Да и ты езжай со мной!

— Зачем? Ведь мы же подали прошение о выезде в Америку и еще куда-то, а ты что говоришь? И никуда я отсюда не поеду, разве только за океан, если пустят. Мне даже странно, когда ты сказал: "Езжай и ты со мной". Куда и зачем? Ты поедешь к родной жене Даше, будете счастливы вдвоем навсегда, а я к кому поеду? Никого у меня родных и близких не осталось на Родине, а жить в одиночестве и наблюдать, как ты милуешься с другой, мне будет тяжело. Пусть нас тут считают хуже собак, кругом скученность чужестранцев, но я счастлива тем, что ты со мной, мой милый, ненаглядный голубочек. Страшно подумать, что же я буду чувствовать, если ты и на самом деле уедешь? Петюньчик, дорогой! Никуда не уезжай, будь со мной! — и она со слезами крепко обняла его.

— Да я же и так с тобой сейчас! И пока не получу ответа от Даши, притом ответа благоприятного, ясно, что вслепую я никуда не поеду.

"Как бы я была рада, если бы ты как можно дольше

или и совсем не получил ответа, — подумала про себя Оксана, но сказала вслух другое:

— Как тебе хочется, так пусть и будет! Для твоего счастья я готова пожертвовать не только своим счастьем, но и собственной жизнью...

— Милая конопляночка, Оксаночка, какая ты добрая и жертвенная для меня! — и Петр прижал ее к своей груди и крепко поцеловал...

Вскоре их вызвали на медицинское освидетельствование, которое должны проходить все, подавшие заявление о выезде за океан. Никаких физических недостатков и болезней у них не было и комиссия признала их вполне пригодными для эмиграции в дальние страны.

После прохождения медицинской комиссии, Петр больше не стал ездить по бауэрам с сахарином и прочим за яйцами и "шпэком", потому что если таковые попадали в руки полиции, то имена их записывали и передавали американским властям, а это позже служило преградой для получения визы за океан. Чувствуя себя здоровым, он не стал околачиваться без дела, а поступил чернорабочим на строительство бумажной фабрики в Галяйне, недалеко от Глазенбаха и за эту работу имел всегда минимум средств для существования...

И вдруг, в такой обыденной жизни Петра Княшко случилась страшная трагедия. Недалеко от барачков лагеря Глазенбах проходила железная дорога из Зальцбурга на Галяйн, Инсбрук и другие места Австрии. Переходя в густом тумане полотно железной дороги напротив лагеря, Оксана попала под быстро мчавшийся пассажирский поезд и была на месте раздавлена на смерть...

Никогда в жизни Петр Тарасович не был в таком отчаянии и так не плакал, как при похоронах бедной и доброй станичницы Оксаны Терентьевны. Даже при похоронах отца и матери в лагере высленцев в Надеждинском районе, он так не убивался и не горевал, как теперь. Многократно на его тернистом пути Оксана унижалась перед ним, терпела насмешки и оскорбления, рисковала ради него даже жизнью и всегда старалась угождать ему буквально во всем. И последние два года, она была хотя и незаконной, но фактической женой, и женой милой, доброй и преданной ему до конца.

Горе его было неопишимо. Он сразу потерял ин-

терес ко всему окружающему, перестал работать, как-то осунулся и постарел и чтобы хоть на миг затмить свое горе, стал чаще прикладываться к самогонке....

ГЛАВА 5.

После трагической смерти Оксаны, Петр стал с еще большим нетерпением ждать ответа от Даши, но ответа не было. Он написал еще одно письмо ей, указав свой собственный адрес, но прошло несколько месяцев, а ответа никакого не было.

Он стал чаще ездить в Зальцбург, прислушивался к последним новостям в лагерях беженцев, появлялся в бараках частной фирмы некоего Розенберга, где жила целая "армия" его станичников: Кирилленко Иван, Дадыка Семен, Волик Иван с женой Анной, Кононенко Пантелей, Чепурной Петр и Анатолий, Ганжула Яков, Кривич Георгий и другие. В праздники приходили в бараки Розенберга и другие станичники, жившие в лагерях Зальцбурга: хороший певец-бас Белозор Григорий, Янценко, Костенко Григорий, Костенко Федор, Шавлач Александр, Скубак Иван, Романенко и другие.

Все перечисленные станичники были настроены антисоветски и как можно скорее старались удалиться подальше от советских границ, выехать на Запад в другие страны. Однажды Петр, находясь в их общей компании, заикнулся о возвращении на Родину и его чуть не избili, пригрозив прикончить, если он среди них повторит подобные предложения.

После этого он перестал к ним появляться, но все же знал, что там делается. Он знал, что некоторые станичники начали эмигрировать на Запад.

Первым выехал в Англию Кривич Егор, потом эмигрировал в Бразилию Кирилленко и там вскоре умер. Кононенко Пантелей отправился в Бельгию и погиб на работах в шахте. Волик и Дадыка попали в Соединенные Штаты, но через несколько лет оба умерли, хотя были еще средних лет. Белозор попал в Голландию, но вскоре разочаровался и вернулся на Родину в свой Краснодарский край, то-есть на Кубань.

Собирались эмигрировать на Запад и другие его станичники и, конечно, по сфабрикованным документам...

Все кандидаты на выезд за океан часто тревожили и давали взятки разным эмигрантским комиссиям и это помогало их скорейшему выезду. Но Петр, после очередного медицинского освидетельствования, даже ни разу не показался в переселенческом бюро и не интересовался своим выездом. Откровенно говоря, ему и выезжать никуда не очень хотелось.

Однажды, в тайне от своих станичников, он сам решил пойти в советскую репатриационную миссию в Зальцбурге и поговорить о возможности возвращения на Родину. Там его приняли очень любезно, подробно расспрашивали обо всем, записали все данные им объяснения и предложили прийти к ним через несколько дней еще раз.

Но некоторые представители советской миссии, показывавшие по лагерям "Ди-Пи" хорошие пропагандные фильмы, иногда говорили необдуманные и плохо подготовленные речи. И такие доклады не возбуждали интереса к возвращению, а наоборот, разочаровывали многих.

Через несколько дней после того, как Петр Кияшко был в советской миссии в Зальцбурге, в лагерь Глазенах (недалеко от Зальцбурга) прибыл докладчик от советской репатриационной миссии и в большом бараке при большом числе собравшихся "диплистов", сказал буквально следующее:

... "Дорогие соотечественники! Советское законодательство сурово карает всех военных преступников, изменников Родины и всех так или иначе сотрудничавших с гитлеровцами во время Отечественной войны и, несомненно, всем им наказание одно — расстрел! Но вы, здесь собравшиеся, не бойтесь! Если вы не были военными преступниками, не участвовали в эсэсовских карательных экспедициях, не грабили мирных граждан и не убивали советских патриотов, партизан и военнопленных, а попали в число беженцев случайно, то вы и не будете приговорены к смертной казни. Но надо примириться с тем, что вам только и дадут по пять или десять лет заключения в исправительных лагерях и все. Отбудете это ничтожное, почти детское наказание и станете свободными гражданами на родной земле. Поэтому нечего здесь чего-то выжидать, все возвращайтесь на Родину!..."

Это говорилось советским представителем репатриа-

ционной миссии Зальцбурга в лагере Глазенбах, весной 1948 года.

С тяжелым угнетенным чувством расходились "перемещенные лица" с Востока из зала лагерного собрания. Для всех оставалось загадкой: почему и для чего так сказал докладчик? И десятки лиц, собиравшихся было возвращаться на Родину, после такого выступления советского представителя, распаковали приготовленные чемоданы и отложили на неопределенное время свое возвращение.

Тяжелое впечатление произвело это выступление и на Петра Кияшко.

— Я был уже в таком "исправительном" лагере НКВД, но тогда был молод и здоров и все "прелести" лагерной жизни перенес почти безболезненно, — говорил он некоторым. — Но если теперь, даже если признают меня абсолютно невиновным, но все же всучат десять лет опять таких же лагерей, то я не выдержу. Выходит, что все равно по возвращении я не увижу ни родного края, ни своей семьи, так лучше уж прозябать здесь и ходить без окрика стрелка НКВД, не всегда разрешавшего даже оправиться и постоянно грозившего оружием. Ничего я не понял из слов этого непонятого докладчика: если человек признан невиновным, то почему же его надо осуждать на пять или десять лет? Что за чепуха!

И он тоже отложил свое возвращение и больше в советскую миссию не пошел. Это решение еще больше укреплялось от того, что на его два письма до сих пор никакого ответа не было.

Вскоре Петр Кияшко прошел еще одну проверочную комиссию, получил визу на выезд за океан от американского консула в Зальцбурге и с группой других невозвращенцев выехал в Соединенные Штаты Америки.

ГЛАВА 6.

В Соединенные Штаты Америки Петр Кияшко прибыл весной 1950 года и на второй день по прибытии был уже в Пеннсилвании, на ферме одного богатого квакера-немца. Наступал июнь месяц, на ферме требовались дополнительные рабочие руки и он был рад, что ему прислали дарового батрака.

В первый день пребывания на ферме Петру было предложено вывозить на тачке навоз из большой конюшни, но перед этим фермер решил показать ему все его владения и объяснить то, чего этот "мальчик" никогда не видел и наверняка ничего не знает. Хотя и с натяжкой, но хозяин мог говорить по немецки, а Петр немного научился этому языку в Австрии, поэтому разговорная речь не представляла больших трудностей.

Сев с Петром на трактор и проезжая с ним по дороге между своих полей, хозяин увидел проходивший недалеко по железной дороге обыкновенный паровоз, из трубы которого валил черный дым, он остановился. Показав рукой на паровоз, он с особенным пафосом, сказал:

— Видишь, как мчится? Это только в Америке такая техника, в Европе таких паровозов нет, там только на лошадях...

И после этого что бы он ни показывал, неизменно повторял: "Это только в Америке и нигде больше нет..

"Унтерменш" только внутренне улыбался и молчал.

Когда после полудня сели за стол обедать и хозяйка налила в тарелки суп, а в отдельные небольшие мисочки положила обваренные куски картофеля с фасолевым подливком и перед каждым положила вилки и ложки, хозяин поучительно сказал Петру:

— Гляди, Пит, учись! Суп надо есть ложкой, а картофель вилкой, но не наоборот. Это только в Америке так культурно обедают. В Европе же, а тем более в России нет совсем ни вилок ни ложек и все обедающие берут из кастрюли пальцами и едят...

Петр и на этот раз промолчал.

После обеда фермер пошел с ним в глубь двора и подойдя к уборной, тоже начал давать свои "объяснения":

— Не забывай Пит, что ты в Америке и для всяких естественных надобностей тут есть уборные. Когда будешь садиться здесь по "большой надобности", то перво-наперво надо расстегнуть и спустить штаны, — и на личном примере он стал показывать, как это надо делать.

Тут уж Петр не мог больше сдержаться и расхохотался до упаду.

— Эх, вы, туполобые янки! — смеясь, сказал он. — Кто вас так надоумил, что только в Америке есть па-

ровозы, ложки и уборные, а в Европе нет? И неужели же вы думаете, что в Европе я в штаны...

После этого хозяин показывал ему только то, что надо в его хозяйстве делать и что подавать на корм лошадям, коровам и т. д.

И начал Петр тянуть у него лямку батрака по четырнадцать часов в сутки, не исключая воскресных и праздничных дней. Ведь кормить и поить скот и птицу надо и в праздник!

Прошел месяц и Петр стал просить у него хоть один доллар, для мелких расходов.

— О, нет! Как же я тебе буду давать доллары, когда ты проел больше чем заработал? — сказал фермер. — Вот поработаешь у меня годик, тогда может и дам немного. Зачем тебе? Ведь штаны и рубашку рабочую я дал тебе и даже за свои деньги соломенную шляпу купил...

Петр хотел тут же избить его, но благоразумно сдержался, зная, что полиция будет за фермера. Вечером он пошел к одному по соседству жившему югославу, выпросил у него два доллара и бросив все, уехал в Филадельфию. Там он снял первую попавшуюся комнату и через несколько дней поступил работать на рыбную фабрику. И хотя на этой небольшой фабрике выматывали из него все жилы, и платили только 75 центов за час, но все же он каждую неделю аккуратно получал заработанные деньги и мог как-то "сосуществовать"...

В том же 1950 году из Германии в Америку прибыл и Кубанский войсковой атаман, генерал-майор Вячеслав Григорьевич Науменко.

Незадолго перед своим отбытием в Америку генерал Науменко отправил в Филадельфию на имя полковника Черешнева Кубанские войсковые регалии, знамена, штандарты и куренные значки Запорожской Сечи, некоторые из них имели пятисотлетнюю давность. Это те Кубанские исторические ценности, которые в 1920 году были вывезены из Екатеринодара в Сербию, потом из Югославии в Германию, и наконец попали в Америку...

Немного обжившись в Филадельфии, где оказалось много русских и украинцев, как "старожилов", так и из "новых", Петр встретился однажды с бывшим командиром Запорожского полка в Гражданскую войну, полковником Вячеславом Васильевичем Черешневым, прибывшим из Константинополя в Америку еще в 1923 году.

— Ну, как дела, козаче? — здороваясь и широко улыбаясь, спросил его Черешнев.

— Дела, как сажа бела, — сказал Петр.

— С чего ради, так чернишь свои дела?

— Условия жизни для нашего брата здесь неважные, привыкать трудновато. Тяготит меня не столько тяжелая работа на фабрике и грязные улицы вашего большого города, сколько одиночество. Тоска по Родине сосет под ложечкой. В родной станице остались жена и дети, и что с ними — не знаю, а я тут один оказался на далекой чужбине.

— Ничего, привыкнешь. Мы все тоже вначале так тосковали по Родине, а потом махнули на все рукой, поустраивались, женились и вот живем. И ты тут не одинок: тут много наших, и казаков и не казаков. Больше надо знакомиться с нашими людьми, тогда и спокойнее почувствуешь себя. Вот в воскресенье пойдем в нашу церковь и там познакомишься со многими русскими. Кстати, в нашей церкви и настоятелем то наш Кубанский казак, протоиерей отец Алексей Гугнин. Он прибыл в Америку еще до Первой мировой войны, шестнадцатилетним парубком, да так и остался тут навсегда. Ты верующий?

— Как сказать, откровенно говоря, не очень. Хотя против церкви и духовенства я никогда не выступал, но и молиться почти не ходил туда. И пренебрегал всякими воздержаниями. Но в вашу церковь русскую, могу пойти. Почему нет? И любопытно и собственно, я уже лет десять не был в настоящей церкви, даже больше, если не считать однажды нашей лагерной, да и то по случаю трагической смерти станичницы. И особо мне интересно, что наш кубанец тут священствует.

— Конечно, интересно, — подтвердил Черешнев. — Оно, правду говоря, я тоже не богомол и не очень верующий, но церковь посещаю иногда. Даже если не молиться, то для встречи с земляками и то интересно. Меня даже выбрали членом церковного правления, потому что многие старожилы почти неграмотные. Иногда пою в хоре. С батюшкой нашим, я в самых добрых отношениях. Кстати, он пьет не хуже, чем пили казаки в Запорожской Сечи, как же не уважать такого попа?..

В ближайшее воскресенье, одевшись как можно лучше Петр пошел в русскую православную церковь Нико-

лая Чудотворца, находившуюся не так далеко на Седьмой стрит, где священствовал кубанец Алексей Гушнин.

Церковь, довольно вместительная, красиво выглядела и снаружи и внутри, с мастерски сооруженным богатым иконостасом и иконами, большими паникадилами. Рассматривая всю эту внутренность храма, Петр с удивлением обратил внимание на следующее: с обеих сторон амвона, почти у самого иконостаса стояли два больших флага: слева — государственный американский флаг, справа — советский красный с серпом и молотом. Первый раз он видел в церкви флаги вообще, а тем более коммунистические.

Подойдя к столу, где продавались свечи, он спросил стоявшего там продавца, уже престарелого, с большими усами и прихрамывавшего на одну ногу мужчину:

— Простите, пожалуйста, я новый здесь человек и ничего не понимаю: разве в церкви полагается устанавливать мирские флаги? — и он показал на советский флаг.

— А в чем дело? — удивился продавец свечей. — Это новый русский флаг и мы чтим его, как святыню. Этот флаг принадлежит народу-победителю, русскому народу и мы чтим его, как икону Христа.

— Вот это здорово! Я бежал в Америку, чтобы быть подальше от советского флага, а тут оказывается даже в церкви красуется красное коммунистическое полотнище.

— Если вы бежали от флага своей Родины, то значит у вас "рыльце в пушку": вы изменник и фашист!

— Религия и коммунизм несовместимы! Вы коммунист и служите в церкви? Как это понимать?

— Никак нет! Я бывший ротмистр Гренадерского полка, бежал от царского произвола в Америку еще в двенадцатом году, но люблю русский народ и то знамя, под которым он победил Гитлера. Наш батюшка торжественно освятил этот новый русский флаг, так что же, по вашему и наш отец Алексей коммунист? Вижу насквозь, кто вы. С фашистом я говорить больше не желаю. Оставьте меня в покое и не мешайте...

Посмотрев на ротмистра с удивлением, Петр отвернулся от него в сторону алтаря, но в это самое время, перед началом литургии протоиерей Алексей Гушнин, не-

сколько раз преклоняя голову усердно кадил красный флаг, окутав его дымом от ладана.

Окончательно сбившись с толку и не веря своим глазам, Петр поспешил выйти из церкви на улицу, и направился домой, бормоча:

— Больше десяти лет не ходил в церковь и еще сто лет не пойду!

— Что ты тут бормочешь и чего так скоро идешь от церкви? — встретившись с ним, сказал Черешнев. — Ведь еще рано и служба только будет начинаться в церкви.

— Мне в такой церкви делать нечего, — сердито сказал Петр. — Я думал, что в церкви будет только все церковное, святое, как и было в России и всей Европе, а тут не то. Кубанский православный священник кадит ладаном и поклоняется советскому красному флагу, бывший царский ротмистр назвал меня фашистом, за то, что я усомнился в русскости красного флага. Если бы я знал, что тут и в церкви молятся советскому флагу, то чего бы я сюда приехал? Не лучше бы мне было сразу поехать на Родину, где такой флаг развеивается по праву, там где это нужно, но не рядом с иконой Христа.

— Напрасно ты так удивляешься и волнуешься! Все старожилы выходцы из России и некоторые американцы восторженно приветствовали победу Красной армии над гитлеровским фашизмом, а значит приветствовали и тот флаг, под которым эта победа совершилась. И чтобы как-то выразить симпатии русскому народу победителю, наши люди назвали международный коммунистический красный флаг Русским новым флагом и вывесили его даже в церквях.

— А в Европе распространено мнение, что Америка и Советский Союз не в очень большой дружбе сейчас.

— Это правительства Америки и советской России чего-то не всегда стали ладить, а люди в обеих странах остаются прежними. И в других церквях есть флаги. Только в одной вновь организованной церковной группе, состоящей из монархистов и недавно приехавших из Европы и находящейся в каком-то доме, не может быть и речи о флагах. Там священником недавно приехавший из Европы некто Лызлов, но где эта церковь, я даже не знаю. Ты еще мало знаешь Америку и нашу эмиграцию, в том числе и казачью. Не знаешь, что тут сколько людей с Востока, столько и политических организаций и

партий, и каждая доказывает свою правоту. И это не только в Филадельфии. Если имеешь желание, то через две недели поедем со мной в Нью-Йорк на Кубанский войсковой съезд и там много узнаешь.

— Войсковой? Откуда же в Америке могло быть Кубанское войско? И из кого же оно состоит?

— Вот когда поедешь со мной и посмотришь, тогда сам ответишь на свой вопрос. Тут в Филадельфии имеется так называемая "Заокеанская казачья станица" и я в ней атаманом.

— Казачья станица в таком громадном городе? Да станицы на Кубани состоят сплошь из казачьих хат и построек, а ваша станица, наверное, на сороковом этаже небоскреба! И... атаман... в Америке! Ничего не понимаю. Вы, Вячеслав Васильевич, совсем сбили меня с панталыку.

— Ничего, подожди! Поживешь больше, все сам поймешь. В общем я дам тебе мандат от станицы и ты будешь полноправным делегатом на Кубанском съезде. Из Филадельфии поедем вместе на моей машине. Хорошо?

Петр согласился поехать на съезд в Нью-Йорк, но в церковь вернуться категорически отказался и зашагал опять на Маршалл стрит в свою однокомнатную квартиру...

ГЛАВА 7.

Через две недели после посещения Николаевской церкви в Филадельфии, Петр Кияшко и полковник Черешнев прибыли в Нью Йорк, в так называемый "Дом свободной России", принадлежавший князю Сегрею Белосельскому-Белозерскому, где и проходил Кубанский войсковой сбор.

Сбор открыл генерал Науменко, избранный войсковым атаманом на Лемносе еще в конце 1920 года и с тех пор не переизбиравшимся, благодаря чему, часть кубанцев не хотела считать его атаманом.

Все встали и исполнили молитву "Царю небесный". После этого, кубанский офицер Борис Ткачев затянул войсковую песнь "Ты Кубань, ты наша Родина", в эмиграции считающуюся гимном Кубанцев.

— Господа, стойте, обождите! — перебив пение, крикнул вдруг небольшого роста, с усами, полковник

Михаил Зарецкий, — Казаки всегда были верными слугами царю Российскому, поэтому я, как монархист-легитимист предлагаю исполнить гимн "Боже царя храни"!

— Что вы, Михаил Иванович, тут выдумываете? — возразил ему высокий и худой есаул Яков Безценный. — Какого же царя Бог должен хранить? Сталина? Так он не царь, а глава советского правительства и партии. Даже наш митрополит Анастасий никогда не разрешает теперь исполнять старый гимн "Боже царя храни", потому что это просто кощунство со стороны монархистов, насмешка над покойным императором. Ведь последний русский царь Николай Романов расстрелян в Екатеринбурге еще в 1918 году и, кажется, не воскресал.

— Если нет его императорского величества государя Николая Александровича, то есть сегодня его императорское высочество великий князь Владимир Кириллович, — не унимался Зарецкий.

— Какой же это царь и откуда он взялся? Владимир Кириллович Романов выдвинут претендентом на несуществующий трон в России и то только одной частью монархистов, другие его не признают. Он троюродный внук двоюродного дяди последнего императора и прямой линии к династии Романовых не имеет. Притом в гимне воспевался царь коронованный, но как же можно считать царем не коронованного князя, да еще и сомнительного претендента на престол?

— Сегодня еще не царь коронованный, но завтра наверняка будет!

— Вот если будет живой коронованный царь в России, тогда и будем петь "Боже царя храни". Скорее же всего, что вашего "завтра" никогда в России больше не будет, — и Безценный замолчал.

— А почему бы нам не исполнить гимн "Аллах храни людей Магомета"? — слышался голос одного Кубанского черкеса.

Некоторые засмеялись, но сразу же смолкли.

— Почему смеетесь? — почти выкрикнул черкес. — Аллах, означает по-русски Бог, то-есть одно и то же. Мусульман же в России почти столько же, сколько и русских православных. Великий Магомет был вождем и пророком многих миллионов людей на Земле. Правда, он умер и не воскрес, но ведь и царя Российского нет в живых!

— Господа казаки! Мы занялись ненужными и лиш-

ними разговорами, — сказал один стройный в черкеске кубанец, полковник Федор Елисеев. — Кубанская войсковая песнь-молитва родилась на Кавказском фронте в Первую войну в 1-ом Кавказском полку, в котором тогда уже я имел честь быть офицером. В эмиграции, за неимением своего национального гимна, особым приказом нашего войскового атамана генерала Науменко, при всех случаях, где полагается исполнять гимн, предложено впредь исполнять песнь "Ты Кубань, ты наша Родина", таким образом эта песнь приравнена к гимну.*) И говорить об этом больше незачем, — и не дожидаясь согласия, он сразу же начал высоким тенором: "Ты Кубань, ты наша Родина". Все дружно подхватили и исполнили три главных куплета этой песни.**)

Петр с большим воодушевлением пел вместе со всеми. Ведь эту песнь он начал петь в числе первых кубанцев еще в 1916 году, в районе Сарыкамыша, на Кавказском фронте, когда после Ефратской операции его 1-ый Запорожский полк был там на отдыхе...

Исполнив Кубанский гимн, все уселись и началась деловая часть. Усаживаясь, Петр обвел внимательным взглядом собравшееся "войско".

Всего собравшихся было десятка три делегатов. Нескольким было на вид примерно по шестидесяти лет, остальным по семьдесят-восемьдесят годков, все сугубо седые, с трясущимися руками и изогнувшись еле переступали ногами.

"Боже мой! И у этих дряхлых стариков хватает совести называть себя войском? — внутренне смеясь, подумал Петр. — Один мой взвод, которым я когда-то командовал, вмиг бы раскромсал все это "войско". Да и любой взвод любой нынешней армии! И даже царевы слуги среди них сохранились. Что ж, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало..."

Сбор кубанцев продолжался несколько часов. Вы-

*) Приказ генерала Науменко № 14, от 25 февраля, 1921 года, подписан им и председателем Кубанского правительства Д. Скобцовым в Белграде, об исполнении «Ты Кубань, ты наша Родина» — вместо гимна...

**) Подробно о возникновении Кубанской войсковой песни «Ты Кубань, ты наша Родина, — смотрите 2-ю книгу трилогии «ОРЛЫ ЗЕМЛИ РОДНОЙ», часть 3-я, глава 7-ая.

Ф. К.

рабатывали и утверждали новое Положение (устав) для кубанцев за границей, выбирали членов "Войскового совета" (ряды), произносились речи и принимались резолюции в том духе, что советская власть в России не сегодня-завтра рухнет и эмигранты должны возглавить жизнь в Кубанских станицах, как было и прежде, и т. д.

После собрания к Петру подошел не участвовавший в дискуссиях высокий казак, и приветствовал его так.

— Слава Казачеству! Не обращай внимания на эту болтологию, станичник! — сказал он.

— А вы разве тоже из Старо-Минской?

— Нет, я из Уманской, — ответил подошедший. — Сотник Георгий Еременко! Это только "русофилы" называют друг друга "господами", а мы, казаки-националисты — все станичники. Это по-казачьи. Казаки не русские, и не украинцы, а отдельная казачья нация. Государство "Казакия" существовало на Кавказе еще до Рождества Христова, когда Московии и в помине не было. Мы боремся за свою независимую державу "Казакию" и она несомненно скоро возродится. Учи историю, не забывай, кто ты. Слава Казачеству! — и Еременко поспешил уйти оттуда, так как некоторые стали на него глядеть враждебно и угрожающе.

Петр стоял и ничего не понимал: что тут происходит? "Монархисты", "казакийцы" ... Ничего подобного он на Родине не слышал...

К одиноко стоявшему и недоумевавшему Петру, подошел генерал Науменко, стал любезно расспрашивать о жизни на Кубани в последние годы, а потом пригласил его и еще нескольких кубанцев "во дворец Кубанского войскового атамана", причем, последнюю фразу сказал с явным сарказмом и широкой улыбкой.

Науменко, его зять Назаренко и еще кто-то сели в одну машину, а Петр, Безценный и Зарецкий поехали с Черешневым в машине последнего.

Петр серьезно думал увидеть настоящий дворец войскового атамана, но вскоре они подъехали к небольшой куриной ферме и остановились..

— Вот это и есть мой "дворец", — смеясь сказал Науменко, выйдя из автомобиля и приглашая всех приехавших в курятник.

Оказалось, что Генерального Штаба генерал-майор Науменко, с громким именем Кубанского войскового атамана, жил и работал обыкновенным чернорабочим на

куриной ферме одного католического монастыря, в нескольких десятках миль на север от Нью Йорка. Старый генерал чистил ежедневно куриный помет из под тысячи несушек, собирал из под них в ящики яйца, поил и кормил кур в положенное время. В уголку того же курятника, рядом с птицей и кучами помета, но только отгороженным редкими нетесанными досками, была и "резиденция" войскового атамана, "войсковая канцелярия", там он спал и жил. За эту тяжелую лямку его кормили в монастырской столовой.

— Удивляюсь и ужасаюсь! Неужели так должны жить и работать в Америке в курятниках старые русские генералы, да еще и войсковые атаманы? — не вытерпев, сказал Петр.

— Ничего не поделаешь, Петр Тарасович, есть то хочется, а даром в Америке никто ничего не дает, — как бы оправдываясь сказал Науменко. — Среди наших эмигрантов, это не диво. Князья, графы, генералы и другая знать старой России тут ценится ни во что: все вынуждены работать на унижительных грязных работах, чтобы как-то существовать. Конечно, таким как князь Белосельский работать не надо: он женился на американской миллионерше и теперь сидит и в потолок плюет. А вот другие, такие же известные князья, как например Голицын, то тот вынужден работать простым рабочим на спичечной фабрике в Нью Йорке по 75 центов в час, генерал Гетьманов — конюхом где-то возле Филадельфии, известный полковник Елисеев моет посуду в ресторанах, профессора и инженеры навоз чистят на фермах. Здесь мы им не нужны, у них миллионы своих безработных. Вот так и прозябаем.

— Скажите, Вячеслав Григорьевич, — меняя тему разговора, сказал Петр, не желая его называть "ваше превосходительство", как другие и "господин атаман", — скажите, вы тоже монархист?

— Прежде всего я кубанский казак и офицер Русской армии. Служил царю и отечеству, потом был в Белой армии. Хотя против монархии и монархистов я никогда и не выступал, но я не монархист и тем более — не реставратор старого.

— Да разве можно сейчас даже говорить о возрождении какой-то монархии в России?

— Говорить никто не запрещает, но вряд ли это осуществимо.

— Почему неосуществимо, ваше превосходительство? — вмешался в разговор полковник Зарецкий. — В среде верных сынов святой Руси в Зарубежье есть готовый царь для Российской империи, а ведь народ в советской России день и ночь ждет того благословенного часа, когда православный царь на белом коне въедет в Петербург и торжественно войдет в Зимний дворец.

— Кто же и где этот зарубежный царь, Михаил Иванович? — спросил Безценный.

— Как "кто" и "где"? Его императорское высочество, великий князь Владимир Кириллович, временно проживающий в Мадриде. Я об этом уже говорил на собрании.

— Но как же это возможно? Я уж не говорю о том, что никто в России не думает о каком-то царе и советский народ никогда этого не допустит. Но представим, что там действительно захотели царя: может ли Владимир Кириллович короноваться и стать законным царем, когда он женат на разведенной, до него бывшей замужем за евреем и имевшей от первого мужа детей? Разве законы царской России позволяли наследнику престола жениться на разведенной?

— Нет, нельзя было, но мы создадим новые законы и Владимир Кириллович будет иметь право короноваться и быть законным императором, как и его августейшие предки.

— "Свежо предание, да верится с трудом". Ваши доказательства ничто иное, как заговор мертвецов и от них даже грудные младенцы гогочут, — и Безценный пошел прочь от "монархиста-легитимиста".

После их спора, Петр спросил Черешнева:

— Что это за личность, Владимир Кириллович, о котором так спорят?

— Это внук дяди последнего императора России, Николая Романова. Родился Владимир Романов за границей и России никогда не видел. Женился недавно на разведенной княгине Леониде Георгиевне, бывшей до этого замужем за американским евреем и имевшей от него детей.

— Почему же ваши монархисты его избрали претендентом на престол?

— Они "наши" такие же, как и "ваши", Петр Тарасович: я не монархист. Остановились же на нем потому, что больше не на ком: "На безрыбьи и рак рыба..."

— Очень прискорбно, Вячеслав Васильевич, что вы старый казачий офицер, а не монархист, — сказал опять подошедший к ним Зарецкий.

— Неужели вы, Михаил Иванович, серьезно верите, что в России опять может быть монархия? — сказал ему Черешнев.

— Несомненно! Россия не может быть без царя. Реставрации мешают коммунисты. И как только коммунистическая власть в России падет, а это уже не за горами, так там сразу же во главе станет наш император из династии Романовых.

— Скажите мне, пожалуйста, хоть об одном случае в Европе или в других частях света, чтобы павшая монархия опять была реставрирована? Нигде! Например, на Французский престол тоже есть претендент, но Франция давно уже без короля, а ведь у власти там не коммунисты. В Италии тоже правят страной не коммунисты, но после последней войны там тоже сам народ не захотел монарха-короля, ни старого Эммануила, ни его сына Умберто, а принял республиканский строй. В Германии о другом кайзере после Вильгельма и не думают. В Египте коммунистическая партия совсем запрещена, но короля Фарука убрали давно уже. И можно продолжить этот перечень еще на десяток стран. Значит не коммунисты мешают в России восстановлению монархии, а таков ход истории. Кстати, самодержавие в России свергнуто было почти за год до Октябрьской революции. И перечисленные страны населены более или менее однородной нацией, а Россия — государство многонациональное, с разными религиями, разными нациями и даже расами. Слышали, как один черкес на сборе выкрикнул: "А почему не петь — "Аллах храни Магомета"? И он прав. Я уж не говорю о манархах в Югославии, Болгарии, Румынии и Албании, которые до недавнего времени "милостию Божией царствовали", но история убрала и их. Как же можно мечтать о каком-то едином православном царе всей России? Вы, Петр Тарасович, верите в это? — спросил он вдруг Петра.

— Если бы я поверил в то, что мне сейчас не пятьдесят с лишним, а двенадцать лет (чего бы я очень хотел), то и тогда я не поверил бы в это, — сказал серьезно Петр и добавил: — Скажу вам правду: никто в советской России ни о каких царях и не помышляет и колесо истории назад не станет вертеться. Да и сами мо-

нархисты не верят в это, а так, просто тешатся. Будет ли вечно в России коммунистический строй, или может как неизменится, не знаю, но монархии никогда не будет..

Зарецкий злобно глянул на Петра и отошел от них.

— Вы, Вячеслав Васильевич, скажите, вы шибко грамотны? — спросил Петр Черешнева.

— А как ты думаешь? И для чего это тебе?

— Да так. Я вот только закончил в станице пять отделений двухклассного училища и не могу так спорить с монархистами.

— Немножко побольше. Еще в России я имел достаточное образование, а в Америке закончил университет и теперь служу адвокатом.

— О! — издал Петр восторженно. — Тогда Вы можете и объяснить и то, что мне торочил после сбора в Нью-Йорке Уманский казак Еременко.

— А что он говорил?

— Та, шо мы не русские, и не украинцы, а особая казачья нация. И что должно быть опять государство "Казакия". Верно это?

— Уже поздно, давай ехать домой в Филадельфию, — сказал Черешнев. — Я вам по дороге все расскажу.

— Да, верно, уже солнце зашло и темнеть начинает, — согласился Петр. — А завтра ведь рано на работу надо идти.

Простившись с генералом Науменко и со всеми другими, Петр сел в автомобиль Черешнева и вместе с ним уехал назад в Филадельфию.

ГЛАВА 8.

Некоторые бывшие "Ди-Пи" через год-два после прибытия в Америку, начали писать родным или знакомым в Советский Союз и получать от них письма одно другому противоречащие. Так, работавшему с Петром на фабрике донцу Коснину было письмо из Ростова на-Дону, в котором его старый знакомый писал:

"...Мы теперь живем гораздо лучше, чем раньше... Все вернувшиеся из плена живут дома и свободно работают по своей специальности. Магазины полны всяких продуктов. Любой мужчина среди ростовских красавиц на вес золота, потому что война погубила много миллионов молодых мужчин и у нас каждый день веселые

свадьбы. Зачем ты до сих пор окалачиваешься на чужбине? Возвращайся немедленно в родной город и будешь счастлив...“

Но были письма и другого содержания. Например, Ивану Зайченко пришло такое письмо из Тимошевской: ...“Все у нас хорошо и так же свободно, как и прежде. Разве тебе плохо было в 1938 году?...“

А как раз в 1938 году Зайченко был в лагере НКВД в Княж-Погосте, со сроком заключения десять лет (!)

Станичник Петра, Семен Дадыка, получил из Старо-Минской письмо от дочки, в котором были такие строчки:

...“У нас теперь большое изобилие продуктов и также все сыты и довольны, как и в тридцать третьем году...“

А как были “сыты и довольны“ на Кубани в тридцать третьем году, всем хорошо известно.

Конечно в этих письмах была неточность: и преувеличение и преуменьшение действительного положения вещей. В годы после войны не могло быть того, что было в тридцать третьем году, так же как и не могли быть все магазины “полны разных продуктов“. Но писали “оттуда“ знакомые люди и совсем не верить им, тоже было нельзя... .

Но Петру никакого письма “оттуда“ не было. Не зная, что это значит, он написал почти анонимное письмо своей соседке, активистке Евдокии Петренко, указав обратный адрес не свой, а рядом жившего старого эмигранта Скубака. В письме он спрашивал о судьбе якобы “своих знакомых“ Петра и Даши Кияшко (то есть самого себя), их родственников и т. д.

И на это письмо он получил ответ. Соседка Петренко писала, что Петр Кияшко во время войны “пропал без вести“, а его жена Даша и сын Федя живут благополучно... Никифор Кияшко вернулся из заграницы и теперь живет со своей Наталкой. Их сын, Григорий, тоже “пропал без вести“... .

Такое письмо было большим праздником для Петра.

“Даша и Федя живы и живут благополучно! с радостью думал он. — И даже Никифор дома! Но почему же от Даши нет никакого ответа?

Целый месяц он жил сильно волнуясь, не зная: что же ему дальше делать? Остаться на чужбине, или... .

**

Весной 1953 года весь мир узнал потрясающее известие: 5 марта умер Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин!

Если по официальной версии советской печати вся страна была в трауре, то среди всех антисталински настроенных людей, особенно тех, что очутились в Зарубежье, была необыкновенная радость и веселие. Против Сталина были настроены не только все невозвращенцы послевоенных дней, но и почти все жители в Советском Союзе и даже большинство членов коммунистической партии. Редко можно было встретить семью в Сталинскую эпоху во всех слоях населения, в которой кто-то не был бы репрессирован. И это относилось не только к интеллигентам и семьям командиров Красной армии, но и к рабочим и колхозникам. Со своими сатрапами Ежовым и Берия, Сталин не щадил никого: ни старую Ленинскую гвардию, ни полководцев и героев, ни ученых и писателей, ни своих ближайших друзей и родственников: миллионы расстрелянных, замученных в лагерях и тюрьмах, умерщвленных искусственным голодом в 1932-33 годах — таков итог деспотического правления Сталина...

На фабриках и заводах в Америке, где работали недавно приехавшие из Европы бывшие граждане Советского Союза, при получении известия о кончине Сталина, радость была больше, чем у православных верующих в день Пасхи, или у молодоженов в день свадьбы. Многие целовались друг с другом, как на Пасху, поздравляя один другого с великим праздником для всех — избавления от страшнейшего тирана нашей эпохи. Вместо черных, все нацепили на свои рукава белые повязки и когда их спрашивали "почему белые", отвечали, что это не траур для нашего народа, а величайшая радость. Все точно определяли: кто бы ни стал вместо Сталина, все равно будет для народа лучше, ибо перед небывалой тиранией Джугашвили, бледнеют фигуры Нерона, Иоанна Грозного и ... Гитлера ...

Умер ли Сталин своей естественной смертью, или был умерщвлен "кем-то", как об этом усиленно трубила за границей, история уточнит это не скоро.

Характерно следующее: незадолго до своей кончины по приказу Сталина были арестованы девять видных врачей-орденоносцев профессоров, и даже такой видный специалист по медицине, как профессор Виноградов.

Пятеро из девяти арестованных кремлевских врачей были евреями. Причем, министру Государственной Безопасности Игнатьеву было приказано добиться признаний от арестованных "любыми средствами", то-есть пытками.

Некоторые ближайшие сотрудники Сталина были в родственных связях с евреями или даже женаты на еврейках и боялись за свою собственную судьбу, ибо анти-семитизм "вождя" был на лицо.

По некоторым печатным сведениям за границей, Иосиф Сталин был убит на заседании Политбюро 28 февраля 1953 года. Участниками расправы с "отцом народа" были его ближайшие соратники: Молотов, Каганович, Микоян, Хрущев, Ворошилов и Маленков, при поддержке маршала Жукова и командующего Московским военным округом Москаленко. Через три дня было сообщено в печати о "болезни" Сталина и только потом ТАСС опубликовал сообщение о смерти.

Достоверных источников для подтверждения указанного выше нет, но нет надлежащих оснований и для отрицания версии о насильственной смерти "генералиссимуса".

Показательно то, что в дни "официальной" кончины диктатора, его начальник личной охраны генерал Поскребышев с ближайшими помощниками: командиром Кремлевской охраны Спиридоновым и другими, были внезапно арестованы и исчезли в подвалах Лубянки. А все девять видных врачей, арестованных по приказу Сталина, были освобождены и реабилитированы сразу же после похорон "вождя".

Через несколько лет началось развенчание и критика "культы личности" кремлевского самодержца Джугашвили, уничтожение бесчисленных памятников "отцу народов", переименование городов, каналов и промышленных предприятий, названных его именем и развенчание кончилось удалением его трупа из мавзолея Ленина. Инициатива в таких смелых действиях против культа личности Сталина, принадлежала Никите Сергеевичу Хрущеву и Анастасу Микояну, которых поддержали большинство членов центрального комитета партии.

Исходя из такой политической ситуации в Кремле, можно поневоле прийти к заключению, что Иосиф Виссарионович вряд ли скончался естественной смертью.

Вряд ли является секретом и то, что ближайшие сотрудники Сталина всегда носили внутри себя лютую

ненависть к нему, но просто боялись его и до поры до времени молчали. Один лишь Лаврентий Берия искренне был предан своему единоплеменнику-грузину, ибо у грузии национальное чувство часто стоит выше политических и идейных убеждений.*)

И Хрущев, и Молотов, и Каганович, находясь в почетном карауле у гроба Джугашвили, старались изобразить скорбные, печальные лица, но в уголках их глаз незаметно проскальзывала тайная радость.

Печален был лишь Берия. И немудрено: ведь на такой высокий пост выдвинул его никто иной, как его земляк Джугашвили. Лаврентий Павлович некоторыми считался естественным наследником Сталина, имел в своем распоряжении могучий аппарат насилия и армию МВД, но на верхах его никто не любил за кровавую деспотичность. С лицом старой бабы он и женщинам не нравился, хотя великосветские дамочки и заискивали перед ним; просто боялись его гнева...

Как мог Берия радоваться, когда он точно знал, что его вернейший защитник и благодетель в гробу? Сможет ли он удержаться теперь в должности главного жандарма, каким был до сего, сможет ли перехитрить других претендентов на трон Иосифа Первого, или упадет в ту же яму, какую мысленно копал для других? Если на его лице старой бабы некоторым показывалась улыбка, то это вовсе не говорило о его веселости, а скорее о его тревожном настроении.

И если некоторые впоследствии шутили, что Хрущев, чтобы выдать влажность на своих глазах имел в рукаве несколько луковиц, как сказано в поэме Пушкина "Борис Годунов", то Лаврентий Павлович искренне был печален...

После кончины Джугашвили председателем Совета Министров стал Маленков, заместителями Молотов, Булганин и Берия. Политбюро центрального комитета партии составили Хрущев, Булганин, Каганович, Микоян, Сабуров и Первухин. Маршал Жуков был назначен

*) Даже до сего времени в Тифлисе и по всей Грузии чтут Сталина, как «великого вождя» и не признают его развенчания, а приезжающие в Грузию очередные вожди Кремля стараются о Сталине или умалчивать, или говорить только хорошее...

Ф. К.

заместителем Министра Обороны, а позже Министром Обороны. (При Сталине он был в опале).

Но Берия по-прежнему распоряжался мощным аппаратом и специальными войсками МВД и новые вожди партии и правительства побаивались, как бы он по методу Сталина не захватил всю власть в свои руки. И он в те дни действительно мог это осуществить, но этого... не произошло.

Многие и до сих пор ломают голову над тем вопросом, почему Берия в мартовские дни 1953 года не захватил всей власти в Кремле, на что имел полную возможность, как по реальной силе введенных в Москву по его распоряжению войск МВД, так и по своему интеллигентному уровню, которым он превосходил некоторых других правителей СССР, за исключением разве инертного Молотова и волевого Кагановича.

Скрытно и умело была подготовлена акция против Берия. Хитрого грузина перехитрили не грузины.

Самоуверенный и ничего не подозревающий Лаврентий Павлович пришел 23 июня 1953 года на заседание Политбюро ЦК ВКП(б) и там единогласно был обвинен, как "буржуазный ренегат", нарушивший заветы Ленина, имевший тайные связи с министрами Англии и Франции, письменно оскорблявший Булганина и Хрущева, и т. д. Там же он был исключен из Политбюро, а по выходе из помещения арестован его заместителем генералом Кругловым, подготовленным к этому раньше.

Официально позже сообщалось, что Берия сознался во всех предъявленных ему обвинениях, приговорен к расстрелу и 23 декабря 1953 года приговор был приведен в исполнение. По другим, неофициальным источникам, Берия был ликвидирован сразу же после ареста.

В 1955 году Маленкова принудили отказаться от должности председателя Совета Министров СССР и на его место стал маршал Булганин. Но и Булганин долго не продержался: вскоре Хрущев избавился и от него, и, по примеру Джугашвили, стал единовластным правителем в стране: Премьер-Министром и председателем Президиума коммунистической партии Советского Союза — КПСС. (Эта должность была введена взамен генерального секретаря ВКП(б)).

И Хрущев начал действовать. Вскоре сумел развенчать "культ личности" Сталина, дал новые наименования всем городам, каналам, совхозам, колхозам и предприя-

тиям, названных раньше "именем Сталина" и добился даже удаления трупа Сталина из мавзолея Ленина на Красной площади. Разъезжал по многим странам Запада и считал себя неуязвимым. Но и его перехитрили: когда Никита Сергеевич был на курорте возле Черного моря в 1964 году, тайно собравшийся Президиум Коммунистической партии в Москве отстранил его от всех должностей и образовал триумvirат: Леонид Брежнев — глава коммунистической партии, Алексей Косыгин-председатель Совета Министров и Николай Подгорный — председатель президиума Верховного Совета СССР. Звезда Никиты Хрущева закатилась и он стал "почетным пенсионером" ...*)

Однако, нельзя не засвидетельствовать того факта, что как при единовластии Хрущева, так и позже при триумvirате, народы Советского Союза сразу же почувствовали заметное облегчение. Число незаконных арестов прекратилось, ибо над действиями органов МВД был установлен строгий правительственный контроль. Тысячи невинно осужденных при Сталине, были реабилитированы и многие заключенные в лагерях вернулись к своим семьям. Люди стали свободно переписываться с родственниками за границей и обмениваться с ними посылками, а вскоре были разрешены взаимные посещения близких, находившихся за границей, а те могли приезжать в Советский Союз и свободно возвращаться назад...

ГЛАВА 9.

После кончины Джугашвили-Сталина и ликвидации его соратника Берия, в Советском Союзе наступила заметная "оттепель". Многие ранее осужденные были реабилитированы и таких арестов и репрессий, как при "отце народов" не стало. Начало улучшаться народное благополучие и более доступное общение граждан с заграницей. И об этом сразу же стало известно среди бывших советских людей, оказавшихся после войны на чужбине.

Петр написал в третий раз письмо Даше, лично на ее адрес, и через месяц получил, наконец, долгожданный ответ.

*) Н. С. Хрущев умер в 1971 г. и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В сильном волнении вскрыл он драгоценный конверт.

"... Милый голубочек мой, Петюньчик, — писала Даша. — Я только недавно узнала, что ты жив и здоров и не перестаешь думать про нас... Теперь у нас все переменялось к лучшему и бояться тебе нечего. Многие осужденные за связь с врагом после войны, теперь освобождены и живут в станице со своей семьей. Я сама встречалась с Тимофеем Пятак, который был с казаками в Италии, видел он и тебя там, но он давно уже вернулся в станицу и свободно работает трактористом в колхозе "Хуторок". Есть и другие, такие как ты, Или, вот, Никифор, бывший белый эмигрант, твой родной брат, тоже дома в станице, живет с Наталкой и никто его не упрекает за долгое сиденье за границей. И я с открытой совестью зову тебя домой, ничуть не опасаясь за последствия. Довольно нашей многолетней разлуки, довольно тебе, Петюньчик, скитаться на чужбине! Лети ко мне через океан мой соколик, расправляя крылья, орел земли Кубанской, и лети! ... Федюша закончил машинно-строительный институт и работает инженером на заводе в Ростове на-Дону. Почему же мы на старости должны быть и дальше в разлуке с тобой? Лети же, родненький, лети орел земли родной к своей Дашуньке, которую ты приворожил еще на школьной скамье. Я хочу еще и еще раз обнимать и целовать тебя без конца, как и прежде было в юности нашей. Жду...

Твоя и только твоя до последнего издыхания. Даша...

Несколько раз Петр перечитывал драгоценнейший листок с милейшими строчками, целовал его и слезы умиления падали на исписанный знакомым почерком лист бумаги.

На второй же день он написал подробное письмо в Вашингтон в советское посольство и стал ждать ответа. Почти месяц не было ответа, наконец получил приглашение лично приехать в посольство. Петр заколебался: "Не ловушка ли там уготована"?

Это же самое повторяли и некоторые его знакомые, не собиравшиеся и не думавшие о Родине.

— Это ловушка! Ничего на Родине не изменилось и Дашу твою под угрозой заставили написать такое письмо, — говорили псевдодрузья. — Только зайдешь в

посольство, чекисты сцапают тебя и на Колыму. И поминай, как звали...

Два дня он колебался, ехать или не ехать, но на третий поехал.

В советском посольстве Петра встретили весьма любезно и сотрудник, выслушав просителя, сказал:

— Раз вы не участвовали ни в каких эсэсовских карательных действиях во время войны, не дезертир и вообще военным преступником не числитесь, то бояться вам абсолютно нечего.

— Но некоторое время я был в Казачьем стане в Белоруссии и в Италии, как известно находившемся под немецкой опекой...

— Мы это уже давно знаем, — перебил его сотрудник посольства, — и хорошо знаем, как вы вели себя в этом казачьем сборище. И знаем о вашей семье на Родине и о том, что ваш брат вернулся уже давно в свою станицу. Теперь на нашей Родине все изменилось к лучшему, нет и в помине, что было год тому назад. Даже те белогвардейские офицеры, которые не только в Гражданскую войну, но и при немцах участвовали в борьбе против Советского Союза и в 1945-46 годах были вывезены из Лиенца, из Австрии и осуждены советским судом, теперь многие освобождены. Вы быть может знали в Казачем стане в Италии кубанского генерала Соламахина?

— Михаила Карповича? Как же не знал, — сказал Петр. — Он был в Казачем стане Доманова начальником юнкерского училища, потом его англичане увезли из Лиенца с другими офицерами Казачего стана.

— Верно! И вот этот генерал Соламахин, доставленный к нам из Лиенца вместе с другими казачьими офицерами, за сотрудничество с врагом во время войны был приговорен нашим судом к десяти годам заключения в лагерях. Срок он отбыл, освобожден и мог даже возвратиться в Югославию, где он много лет жил до Второй войны, но он... отказался. Приняв советское подданство, он совершенно добровольно уехал на постоянное жительство в свой родной Кубанский край, где вскоре начал работать на пасеке одного колхоза, оказавшись неплохим пчеловодом. Ничего удивительного: разве русские генералы и профессора, бежавшие из новой России не мыли посуду в ресторанах Нью-Йорка? Или вот другой генерал Белой армии, Вячеслав Ткачев,

еще в 1945 году добровольно вернулся на Родину, а ведь в Гражданскую войну он был начальником авиации в армиях Деникина и у Врангеля. И он не только не был осужден за прошлую деятельность, но получил ответственную должность в авиации Советского Союза, где и теперь честно служит...

Хотя рассказ советского сотрудника о двух белых генералах был близок к истине, но Петр все же начал колебаться.

— Вот вам анкета на русском и на английском языке, заполните ее, приложите свои фотографические карточки и мы без особой задержки оформим ваше возвращение на Родину.

— Я до сих пор не научился по-английски, ни писать, ни читать.

— Что ж, мы можем помочь вам заполнить анкету. Хотите? — спросил сотрудник посольства.

— Уже поздно, и мне надо возвращаться, — сказал Петр. — Да и нужных фотокарточек со мной нет. — Давайте мне эту анкету и через несколько дней я верну ее вам заполненную и с фотокарточками.

— Как хотите, вас никто не неволит. Желаю успеха! — и передавая анкету, посольский сотрудник крепко пожал ему руку.

Вернувшись в Филадельфию Петр никому не сказал о своей поездке в Вашингтон, а хотелось кому-то сказать и от этого он очень волновался. И при одной очередной выпивке с друзьями, он сам проболтался...

Первый раз после прибытия в Америку Петр пошел к доктору. Это было нужно ему не только для получения визы, но и для проверки самого себя.

— Сердце у вас не в порядке, — сказал доктор, — частые перебои, артериосклероз, да и давление крови повышенное. Пьете спиртное?

— Да как же казак не будет пить спиртное? — с некоторым удивлением заметил Петр. — Казаки всегда пили и будут пить водку. Что же касается моего сердца, то я только удивляюсь: как оно за мою жизнь сто раз не разорвалось.

— Так то так, но пить спиртное вам опасно, сердце не позволяет.

— Совсем не пить?

— Лучше, конечно, совсем! Ну уж если сразу не мо-

жете отвыкнуть, можно одну рюмочку за обедом, но не больше. Говорю вам серьезно.

— Добре! Но вы, доктор, в справке о моем здоровье ничего не упоминайте о сердце. Напишите: "здоров, как бык". Мне это важно!

— Хорошо, я не буду писать о болезни вашего сердца, но скажу откровенно: быка из вас уже не получится, — улыбнулся доктор и выдал Петру бумаги о "хорошем состоянии" его здоровья...

Хотя окончательного решения о возвращении на Родину он еще не принял, но анкету заполнил, приложил фотографии и все справки, и отправил в советское посольство.

Когда волнения его достигали апогея, он доставал письмо Даши и перечитывал, вероятно, в десятый раз милые строчки:

"... Милый Петюньчик, довольно тебе скитаться на чужбине! Лети ко мне, орел Земли родной, земли Кубанской, лети к своей Дашеньке, которую ты приворожил еще со школьной скамьи! И я, и дети наши, и все родные ждем тебя, ждем!..."

— Только так и могла она писать, — повторял вслух Петр. "Ждем тебя!"... Еще бы! А я ли не жду радостной встречи с тобой, Дашуня, да и с другими? И кому нравится вечно скитаться на чужбине? Она права! Но...

Вот это "но" не оставляло его даже тогда, когда он получил визу в Советский Союз.

Тайно от всех, он все же стал готовиться к отъезду, хотя о тайне этой друзья его давно догадывались.

В последний вечер перед отъездом, приготовив стол с бутылками и закуской, Петр пригласил близких друзей повеселиться с ним, быть может, в последний раз. И даже расставляя бутылки, он повторял сам себе:

— Еще не поздно все изменить...

Как ни косились на него приятели, но от выпивки не отказались.

— То правда, Петр Тарасович, что ты собираешься покинуть нас? — спросил один из сидевших за столом.

— Не знаю, может правда, может и нет, — уклончиво отвечал Петр. — Последнее слово будет в этот вечер.

Потом, забыв предупреждения доктора и поднимая очередной стакан "смирновки", он почти выкрикнул:

— Пейте хлопцы, пейте черти со мной, быть может в последний раз! Быть может завтра меня и не будет уже с вами!...

И он наливал и наливал, пил и пил...

Совсем пьяного его полураздели друзья, уложили в кровать и ушли...

И случилось никем непредвиденное: на второй день хозяин дома обнаружил в постели Петра... мертвым. Вызванный полицейский доктор, определил: "Скончался от сердечного припадка во сне..."

Так закончил свой земной тернистый путь один из орлов Земли родной, Земли Кубанской, Петр Тарасович Кияшко.

Его похоронили весьма скромно на ближайшем к Филадельфии кладбище...

Так и не удалось этому Орлу Земли Родной вернуться в свою родную станицу. Его прах остался покоиться на чужбине далекой, вдали от **Привольных степей Кубанских**, в заокеанской стране Вашингтона.

Но сколько было и есть еще по белу свету подобных **Орлов Земли Родной**, которые "не по своей, ничьей вине", рассеялись далеко от родного Края? Многих уже нет, а другие — ожидают своего печального конца. Вряд ли и будущая история в состоянии установить это число. Кто виноват в этом? Пусть судит сам читатель...

Этой 4-ой книгой об **ОРЛАХ ЗЕМЛИ РОДНОЙ**, скромный автор — из той же Земли Кубанской и заканчивает свое **СКАЗАНИЕ** о любимых **ОРЛАХ**...

Конец.

США — 1976.

Федор Ив. Горб-Кубанский.

КНИГИ ФЕДОРА ГОРЬ-КУБАНСКОГО

1. «В ГОРАХ ДАГЕСТАНА» — повесть. Австрия — 1947. Разошлась.
2. «НА ПРИВОЛЬНЫХ СТЕПЯХ КУБАНСКИХ» — повесть 444 стр. Нью Йорк — 1955. § 4,00.
3. «НЕ ЗАБУДЕМ!» — сборник очерков о Казачестве. Нью Джерси. Разошлась.
4. «ЧЕРНЫЙ УРАГАН» — три повести в одной книге. Филадельфия — 1957. Разошлась.
5. «НА ПАМЯТЬ» — сборник очерков и рассказов. Нью Йорк — 1958. Разошлась.
6. «A MEMENTO FOR THE FREE WORLD» (по-английски). Разошлась.
7. «ОРЛЫ ЗЕМЛИ РОДНОЙ» — исторический роман. Аргентина — 1960. Разошлась.
8. «КОНСТИТУЦИЯ КУБАНСКОГО КРАЯ» — сборник документов. 1961. Разошлась.
9. «СТЕПИ ПРИВОЛЬНЫЕ — КРОВЬЮ ЗАЛИТЫЕ», исторический роман. Нью Йорк — 1962. § 4,00.
10. «ПО ВОЛНАМ МОРЯ ЖИТЕЙСКОГО» — сборник рассказов. Сиракузы. Разошлась.
11. «ГОД 1999-й» — научно-фантастический роман. Аргентина — 1971. § 4,00.
12. «СКАЗАНИЕ ОБ ОРЛАХ ЗЕМЛИ РОДНОЙ» — исторический роман. Аргентина — 1977. § 10,00.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА ГОРЬ-КУБАНСКОГО:

1. «А Т А» — научно-фантастический роман. (Продолжение «ГОД 1999-й»).
2. «РОБИНЗОН КРУЗО В СИБИРСКОЙ ТАЙГЕ» — приключенческая повесть.
3. «ЧЕЛОВЕК ИЗ ВОРОНЕЖА» — повесть.
4. «В ГОРАХ КАВКАЗСКИХ» — приключенческая повесть.
5. «НА ДОСУГЕ» — сборник повестей и рассказов.

С ЗАКАЗАМИ НА ОСТАВШИЕСЯ КНИГИ И ДЕЛОВЫМИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

Rev. Fedor GORB, P.O. Box "K",
Jackson, New Jersey 08527. U.S.A.



ПАМЯТНИК ЗАПАРОЖЦАМ В ТАМАНИ

Ц Е Н А
10 долл.